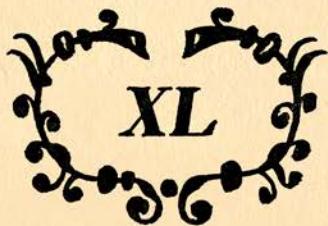


Новый Журнал



THE NEW
REVIEW

Нью-Йорк

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

Книга 36-я. Содержание: ПРОЗА: Гайто Газданов — Пилигримы. Борис Зайцев — Чехов. Галина Кузнецова — Поцелуй свидания. Т. Петровская — Интеллигенция. СТИХИ: В. Злобина, В. Корвин-Пиотровского, С. Маковского, Н. Моршена, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, М. Толстой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов — После Бунина. А. и Т. Фесенко — Язык войны и послевоенного периода. В. Седуро — Истоки белорусского искусства. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Бердяев — Выдержки из писем к г-же Х. Ф. Степун — Россия накануне войны 1914 года. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Ранние годы Ленина. Е. Двойченко-Маркова — Американско-Философское общество и Россия. Д. Анин — Перспективы и внутренние противоречия большевизма. Н. Бурназельский — Хартия вольностей. Д. Далин — Американская политика и Россия. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: М. Вишняк — Памяти друга, С. Васильев — В. М. Зензинов, Н. Калашников — Из воспоминаний о В. М. Зензинове. БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Андреев — G. Vernadsky. The Mongol and Russia. М. Карпович — L. C. Stevens. Russian Assignment. М. Вишняк — I. Steinberg. In the Workshop of the Revolution. Ю. Денике — Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». Прот. А. Шмеман — «Православная мысль». Роман Гуль — И. Елагин «По дороге оттуда».

КНИГА 37-я. Содержание: ПРОЗА: Б. Зайцев — Чехов. П. Ершов — Нинель. В. Набоков — Другие берега. СТИХИ: В. Брюсова, Л. Алексеевой, Н. Бернера, З. Гиппиус, В. Злобина, Н. Моршена, И. Одоевцевой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Роман Гуль — Цветаева и ее проза. Н. Ульянов — Еще об историческом романе. Ю. Елагин — Мейерхольд и Коммисаржевская. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Ф. Степун — В русской провинции. М. Вишняк — З. Н. Гиппиус в письмах. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Ленин в Симбирске. Г. Аронсон — Е. Д. Кускова. Н. Лосский — Какой идеал противопоставить коммунизму? М. Карпович — Комментарии. СО-ОБЩЕНИЯ И ФАКТЫ: А. Давыдов — «Государственные банкиры». Подп. В. Ершов — Работа НКВД в госпиталях во время войны. БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Струве — Чехов в советской цензуре. Б. Гершун — Courts, Lawyers, and Trials under the last three Tzars by S. Kucherov. В. Р. The Secret History of Stalin's Crimes by A. Orlov. С. Петров — Н. Клюев. Плач о Есенине. М. Г. Э. Бок. Как я стал американцем.

Новый Журнал

**THE
NEW REVIEW**

Основатель М. ЦЕТЛИН

Четырнадцатый год издания

**Кн.
XL
1955**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

NEW REVIEW, March 1955.

Quarterly, No. 40

223 West 105th St. New York 25, N.Y.

Publisher: New Review, Inc.

Subscription Price \$7. — for one year

*Second Class Mail Privileges authorized at
New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

<i>М. Алданов</i> — Бред	5
<i>А. Величковский</i> — Старики	50
<i>Н. Невский</i> — В окружении	72

СТИХИ:

• <i>Вл. Корвин-Пиотровский</i> (92), <i>С. Маковский</i> (94), <i>Ю. Одарченко</i> (95), <i>И. Одоевцева</i> (96), <i>В. Смоленский</i> (99), <i>И. Чиннов</i> (101), <i>П. Фатянов</i> (152)	
--	--

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<i>М. Коряков</i> — Подстриженный Версаль	102
<i>Р. Плетнев</i> — «Отец Сергий» и Четыри Минеи	118
<i>Н. Ульянов</i> — По Испании	132
<i>Ю. Иваск</i> — «Подлипки» К. Леонтьева	142

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Б. Вышеславцев</i> — Мои дни с К. А. Коровиным	153
<i>Б. Погорелова</i> — «Скорпион» и «Весы»	168

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>П. Бурышкин</i> — Филипп — предшественник Распутина ..	179
<i>Н. Валентинов</i> — Ранние годы Ленина	200
<i>М. Новиков</i> — П. А. Лебедев	217
<i>Ю. Денике</i> — Два года без Сталина	226

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Евг. Кулишер</i> — Памяти Г. О. Бинштока	244
<i>Прот. В. Зеньковский</i> — Б. П. Вышеславцев, как философ	249

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Н. Зернов</i> — Православная Индия	262
<i>А. Евреинова</i> — Записи под чертой	269

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>М. Карпович</i> — о. Георгий Шавельский. Воспоминания. <i>Рене Веллек</i> — D. Cizevsky. Outline of Comparative Slavic Literatures. <i>А. Тыркова-Вильямс</i> — А. Толстая. Отец. <i>Вера Коварская</i> — The Moscow Kremlin, by A. Voyse. <i>Глеб Глинка</i> — Прот. А. Шмеман. Исторический путь Православия. <i>Петр Ершов</i> — О романе В. Каверина «Открытая книга». <i>М. Л. Гофман</i> — Новая книга о балете. <i>Роман Гуль</i> — Об «Оттепели» Эренбурга	275
---	-----

Б Р Е Д *

XVI

Полковнику был дан адрес лучшей гостиницы Венеции. Деньги Шелль просил внести в швейцарский банк, в котором имел с давних лет счет. Теперь на счету оставалось девяносто пять франков, — почему-то вышла некруглая цифра.

В Неаполе вечером, накануне отъезда, когда Наташа ушла в ванную, он вынул бумажник и пересчитал все, что у него было. Оказалось: сто два доллара и несколько тысяч лир. Он записал цифры в книжку: несмотря на свою расточительность, все расходы за день записывал; старался делать это в отсутствии жены. Но как раз Наташа вышла из ванной в пенюаре.

— Забыла вынуть мыло, — сказала она застенчиво и, увидев, что он что-то записывает, догадалась. — Расходы? Я тоже в Берлине всё записывала. Скажи, мы не слишком ли много тратим? Теперь у тебя ведь гораздо больше расходов, чем было до меня. Я тебе много стою, правда? У меня своих пока нет.

Он никогда с ней о денежных делах не говорил; но всякий раз после их женитьбы, когда упоминалось о деньгах, лицо у нее становилось испуганным. В эти минуты ему особенно хотелось стать богатым человеком. Он улыбнулся, посадил ее к себе на колени и нежно поцеловал.

— У тебя волосы без блеска, я это так люблю... Конечно, ты меня разоряешь. Я истратил на тебя тридцать шесть миллионов золотых франков, как Людовик XV на маркизу Помпадур. Не беспокойся, расходы не имеют значения.

* См. кн. 38 и 39 «Нов. Журн.».

Copyright 1955, by "New Review Inc." All rights reserved.

— Ну, вот, ты всегда шутишь, а это мне неприятно. Теперь все женщины работают. Я тоже должна что-то зарабатывать.

— А мне было бы неприятно, если б ты что-то зарабатывала. Это дело мужа. Я человек старых взглядов.

— Допотопных! Но я тебя обожаю!.. А ты меня любишь? Правда? Как кто? Как Лаврецкий Лизу? Как Санин Джемму? Я отлично знаю, что мне до них, как до звезды небесной!..

— Как Шелль Наташу.

— Как Шелль Наташу! Да, это лучше всего!.. Знаешь, ты немного похож на слона.

— Мне говорили, будто я похож на китайского палача.

— Господи! Что за вздор! Скажут же этакое люди! На палайского китача... Видишь, как я глупо острю... А ты сказал, будто я остроумна... Сказал? Я очень глупа, — говорила она, осыпая его поцелуями.

Он часто читал в ванне, Наташа тоже стала брать с собой книгу, — какую-нибудь подешевле, непереплетенную, потерную, — вдруг, задремав, уронит в воду. Но она не читала, всё думала. «Конечно, я обожаю его! Может быть, еще больше, чем прежде... Нет, не больше, только теперь по-иному. Наверное, так бывает всегда? И не прячет он ничего от меня, он просто не говорит, это не то же самое. Но мне так хотелось бы войти в его жизнь, целиком войти, всё знать, всё разделять».

Наташа не могла привыкнуть к тому, что ничего для мужа не делает. Всё осталось как было. Они жили в гостиницах, обедали в ресторанах, никаких забот по хозяйству у нее не было, так как не было хозяйства. Не могла она помогать мужу и в его делах; ничего о них не знала; быть может, у него не было и дел. «Хоть бы письма мне диктовал. У него хороший почерк, но странный: твердый и вместе с тем изменчивый, точно разные люди пишут... И как всё-таки жене не знать точно, чем занимается муж? Такого случая верно никогда не было! Правда, он сказал, «эпизодические посреднические дела», но сказал уклончиво, даже сухо. Что такое «эпизодические посреднические дела»?

ские дела»? Спросить его? Да, я спрошу, только немногого позднее».

Шелль даже свои вещи вынимал из чемоданов сам. Она ему сказала, что недурно штопает белье, он ответил, что всё чуть порванное выбрасывает; и действительно при ней оставил лакею в гостинице несколько пар носков и шелковую рубашку, в которой было бы очень легко починить еле надорванный воротник. «Разумеется это вздор!.. За что он полюбил меня, просто не понимаю! Он говорит, будто я остроумна» (она часто старалась придумывать для него шутки, и у нее в глазах тогда бегали лукавые огоньки). «Совсем я не остроумна. Что я делала бы без него? Разве я не знаю, что никто в меня не влюблялся? Я никогда не имела у мужчин *успеха*». Слово это ей не нравилось. Прежде, еще так недавно, предположение, что она мало нравится мужчинам, было одним из самых тяжелых в ее жизни. Теперь она думала об этом почти весело. «Да, я буду работать. И никаких платьев себе заказывать не буду, пока не отложу из своего заработка. И не нужны мне все эти Деры или как их там».

Она считала богатство грехом и была убеждена, что надо жить бедно. Но были вещи, которые она теперь оценила: прежде всего, собственную ванну с горячей водой круглые сутки, — этого у нее никогда в жизни не было. «Хорошо бы, если б *это* осталось. Хорошо еще, что можно иногда путешествовать, вот Венецию увидим. Хорошо, что можно будет купить книг. А больше мне ничего не нужно. Как жаль, что ему нужно так много... Лишь бы только он меня не разлюбил!»

Наташа и прежде всегда молилась, даже в советской России, даже на немецком заводе. Теперь молилась больше, усерднее, каждый день благодарила Бога за посланное ей небывалое, неслыханное счастье. От Шелля это скрывала, хотя думала, что ему это было бы приятно.

Легко было сказать: «Расходы не имеют значения». Легко было говорить себе, что после той ночи бреда не должны иметь значения и деньги вообще. «Но ведь это именно был

бред, бессмысленный бред, никакого Майкова я не видел, ничего он мне не говорил, всё было вздором», — думал он. Однако, в мыслях упорно возвращался к тому же. «И ничего нового нет в этой идее возвращения от зла к добру, я сам об этом думал и до того... То есть, именно поэтому мне и померещился Майков со своими идеями, что это были *мои* идеи, и не самые интересные даже из моих идей. Нет, верно, негодяя, нет и преступника, который хоть изредка, хоть раз в жизни, не мечтал бы о так называемой честной жизни»... Слова «так называемой» он и теперь, как прежде, еще ставил в иронические кавычки, но знал, что это уже удается ему с трудом. «Да, да, банальная история: влияние Наташи, «духовное возрождение человека», слышали!» — с досадой говорил себе Шелль. Впрочем, так ли еще моя история банальна? Будут у меня *les hauts* и *les bas*, и без *bas* я выпутаться сейчас не могу, просто не могу. Вся философия Майкова, какова бы ей ни была цена, ничем помочь не может, когда у меня — теперь с Наташей — не остается денег, чтобы заплатить по счету в гостинице»...

Действительно, несмотря на свои новые чувства, он всё тревожнее себя спрашивал: «Что, если полковник денег не послал? Мог решить, что заплатит лишь на месте в Берлине. По своему он был бы и прав: он не обязан меня знать, хотя, конечно, он слышал, что я в денежных расчетах аккуратен. Если не пришлет аванса, то вопрос кончен: не буду с ним работать... Это тоже легко сказать. А что тогда делать?» По давнему правилу (впрочем, допускавшему исключения), он у знакомых денег взаймы не брал. В Венеции же у него и знакомых не было. «Да и в других местах люди не очень раскошелились бы».

Впрочем, если б он и не надеялся на аванс от полковника, Шелль всё-таки остановился бы в лучшей гостинице. По его мнению, для небогатых людей были две манеры существования. Одна, которую он терпеть не мог и называл мелко-буржуазной, заключалась в том, чтобы жить скромно, да еще — предел пошлости — откладывать на черный день. Другая, давно

им принятая, основывалась на убеждении, что у настоящего человека деньги всегда, рано или поздно, появляются, а для этого не только не следует их беречь, но надо ими сыпать, всячески показывать, что их есть сколько угодно. Правда, многое тут зависело именно от «рано или поздно»: если появление денег очень запаздывало, вторая манера могла привести к скандалу или даже, при невезении, к тюрьме. Однако, в его сложной, путаной, полной приключений жизни этого не случалось: деньги в последнюю минуту всегда появлялись.

Теперь предел «рано или поздно» был точный: две недели. Эффектная внешность Шелля, дорогие костюмы, превосходные чемоданы с наклейками знаменитых гостиниц и пароходов («first class»: наклейки с «cabin class» и «tourist class» — всякое бывало, — были соскоблены) производили впечатление на швейцаров и управляющих. После первого недельного счета можно было небрежно сказать: «Я уезжаю в будущую пятницу, заплачу всё сразу». Но после второго счета дело становилось трудным.

Он и теперь неуверенно говорил себе, что его в той гостинице знают: действительно он несколько раз в ней останавливался, в такие периоды, когда денег было достаточно. Предусмотрительно и тогда платил не очень аккуратно и, расплачиваясь, оставлял огромные начи: так создавал себе кредит. Однако, положиться на это было трудно: управляющие и швейцары менялись, да и старые, несмотря на их профессиональную — как у сыщиков — замечательную память, не всегда помнили его обычай; были между ними и скептики, на которых чемоданы с наклейками не действовали: через две недели они грустно-почтительно требовали уплаты по счету.

Главное же было не в этом. Он твердо решил в Москву не ехать. Таким образом аванс полковнику необходимо было бы вернуть очень скоро. Невозвращение аванса, при отказе от поручения, было бы гораздо хуже, чем неоплаченный счет в гостинице: оно означало бы бесславный конец карьеры разведчика. Означало бы также переход той не очень ясной, но существующей, черты, которая отделяет авантюриста от мо-

шенника. Тогда хоть выдавай чеки без покрытия! Как все *настоящие* авантюристы, Шелль чеков без покрытия никогда не выдавал.

Он попрежнему совершенно не знал, чем заняться, как обеспечить себе шесть-семь тысяч долларов в год, которые были ему уж совершенно необходимы с Наташей, даже при образе жизни, грозно приближавшемся к мелкобуржуазному. Как-то купил парижскую американскую газету и внимательно прочел объявления: «Help wanted», «Situations wanted». «Есть что-то унизительное в этом робком самохвальстве, во всех этих «dynamic, reliable», «great experience», «fluent French», «good appearance», «first class references»... И хуже всего то, что Наташа считает меня богатым человеком!» Не было бы ничего ни странного, ни неделикатного, если б она после свадьбы спросила о его средствах. Он сам удивлялся тому, что она не спрашивает, и заранее что-то придумывал в ответ.

Формальности по браку были проделаны им очень быстро. Шелль сказал о них Наташе на утро после тарантеллы. Ее смятение было так велико, что она его слов почти не понимала. Плохо понимала и то, что происходило в следующие дни.

Они женились в Неаполе: Капри стал почти страшен Шеллю после той ночи бреда. Он сказал Наташе, что они поедут в Венецию, — «свадебное путешествие». Невольно улыбался: так эти слова не подходили, особенно после такой свадьбы, — свидетелем был швейцар гостиницы. Наташа выразила восторг, но в душе была не очень рада. Ей было бы приятнее поскорее устроиться прочно, всё равно где, лишь бы устроиться.

— Чудно!.. Где же мы будем жить? В Берлине? — решилась, наконец, спросить она.

— Посмотрим, подумаем. Я сам еще не знаю, это зависит и от моих дел, — ответил он неохотно и, опасаясь, что она спросит о делах, поспешно прибавил: — А ты где хотела бы жить?

— С тобой мне всё равно, где. Но я хотела бы, чтобы у нас уже была какая-нибудь постоянная квартира. Увидишь,

как я буду хорошо вести хозяйство. Всё будет чисто как стеклышко!

Он ничего не ответил, и это немного ее огорчило. Узнав, что в Венеции они остановятся в одной из самых знаменитых гостиниц мира, Наташа встревожилась: «Как же туда сунуться с моими тремя платьями!» На Капри Шелль купил ей кольцо и сказал, что платья здесь заказывать не стоит, да нет и времени.

— Какие там платья! Зачем? У меня в Берлине остались еще вещи, — робко ответила она.

— Вот побываем в Париже, и у тебя будут платья от Диора.

— От какого Дьера? Это какой-нибудь дорогой портной? Не нужно мне таких платьев. Я в них была бы и смешна.

— Ты будешь одинаково прелестна и в платьях от Диора, и в лохмотьях, — сказал он совершенно искренно. И подумал: «Положительно, Ромео!»

Его слова ее кольнули: «Правда, он говорит фигурально, но я, после завода, в лохмотьях никогда не была. За это платье заплатила на распродаже двадцать две марки! Лишь бы он меня не стыдился, — мне всё равно».

Они приехали в Венецию поздно вечером. Волшебный город ее поразил, она ахала всю дорогу по Большому Каналу. «Просто и представить себе такого не могла!» — говорила она и сама не вполне понимала, говорит ли о Венеции или о своем счастье.

Управляющий в гостинице оказался прежний. Утром Шелль справился по телефону в швейцарском банке, узнал, что две тысячи долларов на его счет поступили, и почти этому не обрадовался: «Всё равно надо немедленно что-то придумать».

Весь день они осматривали город. Ее восторг радовал его. За обедом он ей рассказывал о Венеции, говорил, что знает «все двести дворцов». Дворцов тридцать или сорок мог назвать.

— Этому городу природа не дала решительно ничего. Всё

создали человеческий гений и труд. Если б я способен был гордиться человеком, то гордился бы именно тут... В моей жизни был период, когда я приезжал сюда каждую Пасху. Тогда еще мало было пароходиков и моторных лодок на каналах, тишина была совершенная, только те тысячелетние крики гондольеров «Э-эйя!», которые ты сегодня слышала. Ничего не было лучше для успокоения нервов, чем эта тишина.

— Наша деревня для этого была еще лучше. Я обожаю природу, особенно русскую. А ты?

— Я тоже, хотя я городской житель... Флобер не любил природу и откровенно это говорил.

— Не может быть! Писатель!

— Говорил, что искусство гораздо лучше. А ты хотела бы поселиться в деревне?

— Страшно хотела бы, но где? Ведь в Россию мы не вернемся, — грустно сказала Наташа.

— Кто знает? Ты, может быть, до этого доживешь. А я не надеюсь... Не протестуй, не надо: всё-таки я гораздо старше тебя. Вдруг мы купим себе виллу в Италии, а?

Он заговорил об окрестностях Венеции и опять говорил хорошо, хотя несколько более вяло, чем обычно. После обеда посоветовал ей подняться в номер и отдохнуть:

— При твоем слабом здоровье надо лежать побольше.

— Да вовсе у меня не слабое здоровье! Но в самом деле посиди один в холле или погуляй, а то всё со мной соскучишься, «смерть мухам», — сказал она как бы шутливо и поднялась. В самом деле чувствовала большую усталость.

Он вышел в холл, заказал кофе и закурил. Думал всё о том же, о скучном, и сам этого стыдился: «Деньги. Только одна забота: проклятые деньги! Быть может, вернуться в Берлин уже через неделю? Скажу полковнику, что поехать в Москву не могу, и попрошу дать мне другое поручение? Он пошлет меня к чорту. Да и в самом деле так не поступают. Во всяком случае тогда надо было бы иметь в кармане эти две тысячи, чтобы вернуть ему, если он не согласится. Где же я их возьму? Часть уйдет уже здесь. Допустим, при расставании

могло было бы вернуть ему только полторы тысячи и сказать, что последние пятьсот верну очень скоро». Но он представил себе выражение лица полковника и почувствовал, что и этого не скажет: нельзя. — «И чем же было бы тогда жить? Останутся карты... Ну, нет, от честной игры я уж во всяком случае никогда не отступлю!» — *ответил* он себе на не-уточненные чувства. — «Хорошее было бы начало возрождения!» Почти с ужасом вспомнил: «В молодые годы иногда, правда редко, допускал, что был бы способен и воровать деньги у богачей, если б можно было это делать тайно и безнаказанно. — Был по настоящему преступной натурой. Но возрождение может быть только постепенным, другого верно и не бывает иначе как в легендах о разных Кудеярах... Остается продать картины, мебель. При спешке дадут гроши. А дальше что?»

В холл, в сопровождении управляющего, спустился по лестнице невысокий экзотического вида брюнет в смокинге. Он что-то сердито говорил управляющему по-испански. Тот быстро кивал головой, видимо плохо понимал и отвечал по-французски. «Уж очень почтителен... Кто такой? Лицо приятное и печальное. Есть что-то первобытное, точно он сейчас схватится за нож. Одет хорошо. Горбоносый, усики чуть светлее волос», — почти автоматически заносил на какую-то ленту в мозгу Шелль, — «Порториканец, что ли?»

— Я не знаю французского языка. У вас должны понимать по-испански, — так же сердито сказал господин и прошел в бар.

— Кто это? — спросил Шелль лакея.

— Миллиардер! — таинственным шепотом ответил лакей.

— Миллиардер с Филиппинских островов! Только что приехал, занял самый лучший номер.

— Как его фамилия?

— Не знаю. Он ни на каком языке не говорит. Прикажете коньяку или бенедиктина?

— Коньяку.

Через несколько минут, допив кофе, Шелль встал и подошел к управляющему.

— Я вам дам завтра чек на швейцарский банк. У меня нет счета в банках Венеции. Вы это устроите. Тысячи три швейцарских франков, мне этого пока хватит... А кто этот господин? — вскользь спросил он. — Знакомое лицо. Кажется, я его где-то встречал.

— Быть может, вы видели его фотографию в газетах. Он сказочно богатый человек, — сказал с улыбкой управляющий и назвал длинную, тройную фамилию. — Хочет купить здесь дворец и устроить какой-то грандиозный праздник. Миллиардер!

— Миллиардеров в долларах нигде больше нет, а миллиард лир это меньше двух миллионов долларов, — пренебрежительно сказал Шелль. «Кажется, земля! Вблизи земля!» — подумал он и прошел в бар. Филиппинец сидел, развалившись в кресле, и курил. Вид у него был угрюмый. Шелль занял соседний столик.

— Какой прекрасный вечер! — по-испански сказал он. Человек с тройной фамилией оживился.

— Вы испанец?

— Аргентинец, — ответил Шелль и представился. Брюнет назвал свою фамилию.

— С вами можно хоть говорить по-испански. В этом отеле никто не понимает!

— Я видел, что управляющий вас плохо понимал. Если могу быть вам полезен, я к вашим услугам.

— У нас на Филиппинах все стараются говорить теперь по-английски. А вот я рад, что не говорю. Не хочу поддаваться к янки.

— Это правильно. Так вам не нравится гостиница?

Филиппинец вздохнул.

— Отчего не нравится? Вероятно, она очень хороша. Говорят, это историческое здание. Должно быть, замечательный стиль? Я ничего в стилях не понимаю, как громадное большинство людей. Но они делают вид, будто понимают, а я вида не делаю, хотя это очень легко. У меня в Севилье есть собственный исторический дворец, все им восхищаются, кроме меня.

Не люблю этой европейской погони за стариной. Надо жить новым и по-новому. В Манилле я выстроил себе дом, в нем семнадцать спален, и каждая спальная с ванной, и не стоячей, а вделанной в пол. А здесь у меня номер из четырех комнат, но ванная только одна... Вы уже, очевидно, решили, что я парвеню? И действительно, я парвеню, только откровенный. Я богат и сознаю свои обязанности перед обществом. А вот европейские богачи подделываются под герцогов и никакой пользы обществу не приносят... Впрочем, Венеция прекрасный город. Она ни на что другое не похожа. Я это люблю. Я собираюсь купить палаццо на Большом канале.

— Это прекрасное помещение капитала, — сказал Шелль.
— Недвижимое имущество везде повышается в цене. Знаю по собственному опыту. Я после войны купил себе в Париже небольшой особняк за восемь миллионов франков, а теперь он стоит двадцать пять или тридцать.

— Мне не нужно помещение капитала. Просто я хочу иметь дворец и в Венеции. Буду иногда сюда приезжать. Кроме того, я хочу устроить тут грандиозный идеальный праздник и пригласить самых известных людей мира. Богатый человек должен сознавать свои обязанности перед обществом!

— Разумеется. Очень интересная идея.

— Я решил назвать мой праздник Праздником Красоты. Это хорошо будет звучать на иностранных языках?

— Отлично.

— По-моему, Венеция подходящее место. Для этого нужен дворец. Но какой купить?

Шелль назвал наудачу несколько дворцов.

— Я, конечно, не знаю, какие из них продаются. Я здесь ничего не покупаю. Праздник на сколько гостей?

— На три тысячи.

— Тогда палаццо Дездемоны был бы недостаточно велик.

— Какой Дездемоны?

— Это одна местная знаменитость. Палаццо Вендрамин уж подошел бы лучше. В нем умер Рихард Вагнер. Помните, известный немецкий композитор.

— Помню. А вы знаете все здешние дворцы?

— Я знаю в Венеции каждый камень, знаю историю города, его старину, всё. Приезжал сюда сто раз. Теперь приехал отдохнуть с женой, я только что женился.

— Вот как? Я не женат. Вы намерены долго здесь пробыть?

— Еще не знаю. Я свои дела ликвидировал. Просто стараюсь жить возможно приятнее. Если жене здесь понравится, то пробудем месяц или даже больше.

— Это очень приятно слышать. Быть может, даже... Так вы знаете и историю Венеции?

Шелль заговорил о Венеции восемнадцатого века, о праздниках, устраивавшихся дожами. Филиппинец слушал его с интересом.

Когда Наташа часов в десять вошла в бар, они играли в карты.

— Встретил старого знакомого, — весело сказал ей Шелль. — К сожалению, он говорит только по-испански, я буду переводчиком.

Он представил жене богача. Тот сказал что-то необыкновенно лестное и цветистое, — Шелль счел возможным перевести сокращенно. Всё-же, как показалось Шеллю, вид у филиппинца стал и несколько настороженный, как будто он опасался, что новая знакомая тотчас бросится в его объятия.

— Мне очень совестно: я обыграл вашего супруга на три тысячи лир. Пусть он мне простит, он играет плохо. А мне вдобавок всегда во всем везет. Даже в игре.

— Настоящему человеку должно везти и в любви, и в картах. Иначе он не настоящий... Моя жена привыкла к тому, что я всегда проигрываю.

— Я тебя везде ищу, — сказала Наташа. Она была не очень рада встрече с новым человеком. «Слава Богу, что я по-испански не знаю, не надо разговаривать»... Она посидела внизу недолго и простилась, сославшись на усталость. Шелль ласково поцеловал ей руку, но не выразил желания подняться с ней.

— Я скоро приду, милая.

Пришел он лишь часа через полтора. Она ждала его, скрывая огорчение и досаду. «Так и есть, ему уже со мной скучно! Не показать, что я сержусь... Это пустяки, никакого значения не имеет».

Шелль был очень весел.

— Приятный человек и забавный. Мы с ним встречались в Париже.

— Как его зовут? Кто он?

— Ты всё равно не запомнишь, у него тройная фамилия и пять или шесть имен, сам их не знаю: Хозе? Родриг? Рамир?

— Как же мне его называть? Дон Хозе? Или синьор Родриг?

— Вспомнил: он дон Рамон. Впрочем, можешь называть его и дон Хозе. Я ему скажу, что это из оперы Бетховена «Кармен», написанной по роману Достоевского. Он сам себя называет парвеню, а я таких парвеню никогда не встречал. Им полагается хвастать, одеваться безвкусно, у них пальцы должны быть «унизаны дорогими перстнями», а он одет прекрасно, лишь немногим хуже меня...

— Вот и ты похвастал.

— В кой веки можно. И манеры у него совсем не как у купчины Мордогреева в старых романах, скорее уж как у князя Иллариона Буйтур-Хвалинского. «Охоч был богач Лазарь похвалятися», а он похваляется мало. Есть наивно-тщеславные люди, которых приводят в упоение любой успех, любая статья в газете, любая опубликованная их фотография. Это главная их радость в жизни, они тотчас думают, как этот успех возможно лучше использовать для продолжения. Он не таков, он всё принимает как естественно ему полагающееся. Во всяком случае он не «хам», как говорит одна моя знакомая дама. И забавно: он сам говорил, что ничего ни в каком искусстве не понимает, между тем в нем сильно эстетическое начало. Это иногда пошлая, но сильная, соблазнительная штука, — сказал Шелль, подумав и о себе, и даже об Эдде. — Его душа «ищет

красоты», и при том не иначе, как «грандиозной». Странно. Все эстеты, которых я знал, были физически плюгавые люди. А он, напротив, недурен собой. Разумеется, он мегаломан, но не личный, а, так сказать, «классовый». Он мне сказал, что только частное богатство может спасти мир. Не частная собственность, а именно всемогущее частное богатство! Оно должно, кажется, посрамить большевиков красотой. С необыкновенно значительным видом несет вздор, смерть мухам. Но самое странное у него — глаза: задумчивые, грустные, если хочешь даже прекрасные. А еще говорят, что глаза зеркало души.

— Глаза как глаза.

— И представь себе, какая у него тут идеяная затея.

Он рассказал о празднике, о том, что обещал помочь советами. Наташа слушала с неприятным чувством.

— Тогда, значит, мы здесь задержимся?

— Куда же нам спешить? Посидим немного в Венеции.

— Я хотела тебе сказать, — сказала Наташа, преодолевая неловкость. Глаза у нее стали испуганными. — Я в Берлине за пансион теперь не плачу, только за комнату, и заплатила за месяц вперед. Хозяйка, конечно, знает, что я отдаю. Но если мы еще тут остаемся, то надо всё-таки ей послать деньги, а то она продаст мои вещи. Да и неловко перед ней. Я уже ей должна!

— Это ужасно! Ты известная мошенница!.. Не волнуйся, я завтра же переведу ей.

XVII

Очень скоро был куплен палаццо на Большом канале. В нем было всё, что полагалось: Atrio, Cortile, мозаичные полы, потолки, расписанные знаменитыми мастерами, камини из греческого мрамора, потускневшая позолота, бронза, старинные диваны, кресла, стулья, баулы. Многое надо было чинить, еще больше докупать. В магазинах Венеции стильная историческая мебель существовала в непостижимом количестве. Рамон был доволен палаццо, хотя предпочел бы купить Ca d'Oro. — «Ca

d'Oго я вам купить не могу, попробуйте сами», — сказал Шелль.

Интересы продавцов никак не расходились с его интересами. Тем не менее он, не забывая себя, отстаивал своего доверителя и торговался. Сам иногда с усмешкой думал о своем необычном кодексе чести. Рамон ценами почти не интересовался и, если иногда требовал и добивался скидки, то, как объяснял Шеллю, лишь для того, чтобы его не считали дураком. С него Шелль никакой комиссии не получал. Он и согласился ведать покупками лишь по настойчивой просьбе филиппинца.

— ...Вы мне оказали услугу, вы тратите много времени и труда на покупки, а всякий труд должен оплачиваться, таково мое правило, — сказал дон Рамон с той силой в голосе, с какой он высказывал подобные мысли. — Я прошу вас назначить себе вознаграждение.

— Это было бы очень странно, — с достоинством ответил Шелль. — Я вам помогаю потому, что заинтересован вашей идеей Праздника Красоты и считаю ее в высшей степени полезной. А деньги мне, слава Богу, не нужны.

Рамон согласился отступить от своего правила. Как все богачи, он был инстинктивно подозрителен в делах и смутно догадывался, что Шелль получает комиссию от продавцов. Впрочем, он ничего против этого не имел: это было в порядке вещей. Оценил, что Шелль от него вознаграждения не принял, — чувствовал некоторое уважение к людям, отказывавшимся от его денег. «Кажется, догадывается», — с неприятным чувством думал Шелль, — «ну, и пусть. Я не обязан для него работать даром». Оба были довольны друг другом. Скоро между ними установились приятельские отношения. Чуть не со второго дня филиппинец попросил называть его просто по имени. Наташа развеселилась.

— Значит, он тебя будет называть Эудженио или как-то вроде этого? Знаешь, я тоже буду тебя так называть: это лучше, чем «Евгений»! Но, ей Богу, я не в состоянии называть по имени незнакомого человека.

— Да вы ведь всё равно не можете разговаривать. Он за меня так держится именно потому, что я говорю по-испански.

— Это я понимаю, но вот ты почему за него держишься? — спросила она и смутилась, заметив неудовольствие, прокользнувшее по его лицу. — Я, впрочем, решительно ничего против него не имею и рада, что у тебя нашелся знакомый. Можно называть его дон Пантелеймон? В той книге Тургенева, которую ты мне подарил, героиня называется Эмеренция Калимоновна.

— Да, Тургенев находил, что это очень остроумно... А мне, право, филиппинец нравится. У него есть привлекательные черты.

— Какие?

— Он добр, очень щедр, любит доставлять людям удовольствие и даже не требует за это благодарности.

— Тогда я ему всё прощаю. Главное в человеке доброта.

— Он вдобавок не глуп. Или по крайней мере, не всегда глуп. Мне иногда интересно с ним разговаривать. Но он слишком болтлив.

— Пожалуйста, бывай с ним побольше и не думай обо мне. Я хочу как следует изучить Венецию. а ты ее знаешь и тебе незачем постоянно меня сопровождать.

— Слишком много разговаривать с ним тоже ни к чему. Всё-таки он совершенно невежественный человек.

Это в разговоре с Шеллем признал с полной готовностью и сам Рамон. Они сидели на террасе гостиницы, Шелль пил коньяк, филиппинец только курил папиросу за папиросой. Табак оказывал на него такое же действие, как вино на других людей.

— ...Я никакого образования не получил. Мой отец нажил свое богатство тогда, когда я уже был юношем. Он был гениальным дельцом.

— Вот как, — сказал Шелль, впрочем знаяший, что гениальными дельцами неизменно признаются все очень разбогатевшие люди. — Вы несколько преувеличиваете.

— Вы отлично знаете, что я не преувеличиваю. Я невеж-

да. Имейте в виду, я всё замечаю. Заметил и насчет Дездемоны... Помните, я при нашей первой встрече спросил вас, какая Дездемона. А вы после этого объяснили мне, кто такой Вагнер. Заметил, заметил. Я невежда, но не дурак. Многое замечаю и не подаю вида. («Моя комиссия», — с еще более неприятным чувством подумал Шелль). Действительно, я забыл, кто такая Дездемона. И даже не забыл, а просто не знал. Стыдно? Смешно? А другие только имя и помнят, больше ничего. О Вагнере я знаю и даже слышал «Тристана». Адски скучал, как девять десятых публики. И никогда не отлижу Вагнера от какого-нибудь Брамса. Еще слава Богу, если отличу от «Веселой вдовы». Другие от «Веселой вдовы» отличат, но не от Брамса. И «Веселая вдова» наверное доставляет им больше удовольствия, чем «Тристан». Все врут, а я откровенный человек. И вообще я лучше очень многих. Я сознаю свои обязанности перед обществом. Я кормлю много людей, у меня на содержании находятся люди, мне совершенно не нужные, и я давно к этому привык. Мой главный недостаток тот, что я самодур. Это правда. А Дездемоны это вздор. Я в самом деле мало читаю. Мне книги не доставляют удовольствия, не выработал себе с детства привычки. Дипломы же мне не нужны. Я в любую минуту мог бы стать доктором... Как это называется? *Honoris causa*. За крупное пожертвование мне даст степень любой университет...

— Отнюдь не любой, — ответил Шелль. Богач всё-же его раздражал.

— Предлагали, предлагали. А зачем мне быть доктором *honoris causa*? И зачем я буду давать деньги университетам, когда я ничего не понимаю в науках и даже не очень их уважаю? Они приносят много зла, особенно в последние годы. Или, скажем, искусство. Картины у меня в Севилье есть, но я и в них не знаю толка. Мне здесь показывали одну картину... Как его? Джорджионе? Гид говорил, если я его понял, будто это самая дорогая картина на свете. Верно, врал. Какое-то особенное небо! И ничего особенного в его небе нет, настоя-

шее небо гораздо красивее. Впрочем, картины я иногда покупаю. Сам не знаю, для чего...

— Могли бы купить и здесь. У здешних патрициев сохранились настоящие шедевры, их можно купить очень дешево, — вставил Шелль. Рамон слегка усмехнулся.

— Сейчас не собираюсь.

— Тогда и не надо... Вас, вероятно, очень многие ненавидели за то, что вам так везет в жизни.

— Не думаю, — сказал удивленно и обиженно Рамон. Эта мысль, очевидно, никогда ему не приходила в голову. Он наивно огорчился. — Не думаю, чтобы меня ненавидели.

— Я высказал не слишком оригинальную мысль. Я и сам ненавидел богачей, пока сам не стал богат. — Они немного помолчали. — Всё-таки я хотел бы возможно лучше понять задачу вашего праздника. По моему...

— Вы только что сказали, что уже оценили мою идею! — сказал Рамон с неудовольствием. — Не люблю повторять одно и то же. Теперь идет борьба между двумя мирами. Моя идея в том, что только частное богатство может показать человечеству значение западной цивилизации. Силой вы коммунистов не поразите, наукой тоже нет, они сами додумались до атомной бомбы. Им надо нанести удар красотой! — произнес он с тремя восклицательными знаками в интонации. — Я хочу, чтобы мой Праздник Красоты превзошел всё когда-либо виденное миром!.. Я просил вас подумать о сюжете и программе. Надеюсь, вы это уже сделали?

— Да, я *согласился* подумать. Даже кое-что прочел, — ответил Шелль. Его тактика заключалась в том, чтобы держаться вполне независимо и порою свою независимость подчеркивать. — Но поразить мир красотой не так легко. Во всяком случае, при неограниченных кредитах, сенсация может выйти большая.

— Шум действительно необходим. Говорю это не из тщеславия. Мне лично шум не нужен. («Действительно, у него тщеславие отстает от самодурства», — признал мысленно Шелль). Главное, это моя идея!

— Я предлагаю вам следующее: мы воспроизведем, с совершенной точностью и с ослепительным блеском, церемонию избрания дожа. Это будет также апофеозом идеи *выборов*. Вы тут, помимо красоты, противопоставите коммунистам и демократическую идею.

— Может быть, это хорошая мысль... Да, да... Прекрасная мысль... Значит, придется снять Дворец дожей?

— Нет, его нам не сдадут.

— Сдадут! Это мое дело, вы только будете переводить мои слова.

— Деньги большая сила, но вы всё-таки напрасно думаете, что всё можно купить, — сказал Шелль внушительно. — — Дворца дожей вы не получите, да в нем нет и никакой необходимости. Обычно дело происходило так. В городе гремели пушки, звонили колокола, народ неистовствовал. Так будет и у нас. Под звуки музыки новый дож выходил из своего частного дворца. Ваш, как вы знаете, когда-то принадлежал семье одного из дожей. Затем он шел по площади святого Марка. Над ним несли исторический зонтик, *umbrella Domini Ducis*. Сопровождали его патриции, сенаторы и все сословия, вплоть до портных и сапожников. Таким образом осуществляются три идеи: красота, выборное начало, равенство сословий. Я только символически выражая то, что вы мне намечали. Идеи не мои, а ваши.

— Вы мне льстите, я не всё это говорил, но ваш план нравится мне чрезвычайно. Сердечно вас благодарю.

— Не за что. Мы могли бы даже назвать ваш праздник Праздником Красоты и Свободы.

— Нет, не хочу. Пусть называется как я решил: Праздник Красоты.

— Можно и так. Теперь идейная сторона дела мне вполне ясна. Однако, ведь есть еще и сторона личная, правда? Мне кажется, я правильно понимаю вас, как человека. Вам всё надоело, вы ищете, ну, что-ли, новых ощущений, грандиозности в красоте, правда?

— Этого я не отрицаю. Да, новые ощущения. Вы умный человек.

— Вы будете играть роль дожа.

— Я? Дожа?

— У вас и наружность подходящая. Мы только приклеим вам бороду. Дожи носили великолепную раззолоченную мантию. В таком виде ваши фотографии появятся во всех газетах. На вашем празднике будут самые красивые женщины мира, вдруг вы найдете и личное счастье, Рамон, — смеясь, сказал Шелль.

— В чем же будет моя роль?

— Дож садился на трон над Scala Dei Giganti, помните эту монументальную лестницу в Palazzo Ducale? И оттуда бросал народу пригоршнями золотые монеты. Можно бросать и серебряные, но мы объявим в газетах, что вы бросали золотые. Я знаю, что вы никак не рекламист, однако, кто это сказал: «Самому Господу Богу нужен колокольный звон».

Рамон смеялся, хотя и несколько смущенно. Шелль нравился ему всё больше; с ним было весело.

— Я с вами не согласен, но продолжайте.

— Вы будете сидеть на троне в вашем дворце. За вами будут стоять телохранители. Они носили бархатные кафтаны и камзолы разных цветов, короткие панталоны и длинные, тоже бархатные, чулки. Шпаги были прямые, тонкие, длинные. Для вас мы закажем меч с рукояткой, осыпанной драгоценными каменьями. Это будет большой расход. Впрочем, ведь меч вам останется. После того, как с него снимут фотографию для газет и журналов, вы его повесите на стене вашего кабинета.

— Но каково будет действие? Нельзя же мне просто сидеть на троне.

— Конечно, нельзя. Мы будем опять верны истории. К новому дожу приезжала его жена, догаресса. Ее везли на огромной гондоле с палаткой. Роскошь этой палатки должна быть неописуема. Опять, предупреждаю, большой расход.

— Вы, верно, хотите, чтобы догарессу играла ваша жена? — спросил Рамон. — Она, конечно, красавица, но...

— Этого я и в мыслях не имел! — сказал Шелль, внезапно рассердившись. — Ищите себе догарессу сами.

— Я ничего не хотел сказать обидного.

— Я и не позволил бы вам сказать что-либо обидное. Вообще я готов устраниться в любую минуту. Мне-то что!

— Пожалуйста, не сердитесь, дорогой друг... А что происходило с догарессой?

— Она под звуки оркестра, в сопровождении блестящей свиты, плывет к вашему дворцу. Везут ее буцентавры.

— Какие буцентавры?

— Это были такие мифологические чудовища. Дож всегда ездил на буцентаврах. То есть, не всегда, но на больших церемониях. Например, когда он венчался с Адриатическим морем.

— Где же мы возьмем буцентавров?

— Там же, где их брали дожи: в мастерских.

— Так вы хотите изобразить и мое венчанье с Адриатическим морем?

— Зачем вам, к черту, венчаться с Адриатическим морем? Какой интерес венчаться с Адриатическим морем? И ведь нам надо показать ваш дворец. Итак, догаресса выходит из гондолы, поднимается к вам и садится на трон рядом с вами. Народ неистовствует. Затем в большой зале мы поставим спектакль, как было в эпоху Возрождения. Тогда это называлось *Representazione di ciarlatani*. И в публике будут все знаменитости мира, титулованные особы, писатели, кинематографические звезды...

— Мы им объясним идеиное значение Праздника Красоты! Они не могут этого не понять!

— Конечно. Кроме того, это для них реклама. Этого они также не могут не понять. А как только мы опубликуем первый список приглашенных, нас будут осаждать просьбами о приглашениях. Закончится праздник грандиозным историческим ужином. Меню будет такое, какое бывало у дожей. Сначала закуски...

— Икру выпишем прямо из Москвы. Сто кило икры.

— В ту пору икры в Венеции не знали. Но тут можно немного отступить от исторической истины. За закусками последуют три супа, в том числе *zuppa dorata*. Рыб надо не менее десяти.

— Десять рыб?

— Не меньше. *Chieppa, orada, anguilla, loto, corpetto, girolo, lucino, astesi, cevoli, bamboni, lampedi.*

— Как вы всё помните! Я и не знаю, какие это рыбы.

— Я тоже не знаю, но повара должны знать. После рыбы у дожей подавались жареные павлины. Вот тут некоторая трудность. Павлинов действительно достать нелегко, это вам не писатели.

Шелль становился всё веселее. Его больше не раздражал вид удачников, баловней жизни, переполнявших роскошную гостиницу. Теперь он сам был равноправный удачник. Деньги плыли к нему, как никогда до того не плыли; никогда и не доставались так легко, без всякой опасности, почти без труда. По его приблизительному подсчету, праздник мог ему принести около двадцати пяти тысяч долларов. Теперь было еще меньше оснований сомневаться в своей звезде. У продавцов он быстро стал популярен: они видели, что с ним можно иметь дело, — живет и дает жить другим. Он говорил себе, что его дело обычное, законное. Правда, морщась, думал, что возвращается на путь добра посредством сомнительных, хотя и не караемых законом, афер. «Ну, что-ж, это в последний раз в жизни. Да и почти все частные богатства в мире созданы такими же способами. А я стремлюсь не к богатству, только к материальной независимости, больше мне ничего не нужно. Имею же и я право на человеческую жизнь».

Взятых у полковника двух тысяч долларов он еще не вернул, хотя это теперь было легко. Придумывал наиболее подходящее объяснение. «Он, конечно, решит: «струсил», или «стал слабеть, кончен». Упрека в трусости я могу не бояться. Генерал Корнилов никогда без необходимости не шел в огонь: знал, что никому и в голову не придет, будто он боится!» —

думал Шелль. Несмотря на его решение навсегда уйти из разведки, ему было бы неприятно, если б его бывшие товарищи по ремеслу сочли его развалиной.

Как-то, на прогулке с Наташой в гондоле, он подумал: «Да отчего же не сказать полковнику правду? Напишу, что неожиданно влюбился, еще неожиданнее женился, оставить жену не могу, вынужден отказаться от поручения, очень прошу извинить, прилагаю чек на две тысячи». Полковник пожмет плечами, крепко выругается, и всё будет кончено». Его веселило то, что эта мысль — сказать правду — пришла ему в голову последней. *«Агония прежнего Шелля».*

Оставшись один, он принялся составлять письмо полковнику. Без подписи, без имени отправителя на конверте, оно никого скомпрометировать не могло; да и было маловероятно, чтобы его перехватили. Однако, правило оставалось правилом: все письма должны зашифровываться. Для менее важных сообщений шифр был простой: словарь, русско-английский, не тот, что дали Эдде. Шелль написал краткий текст по-русски и стал зашифровывать. Слово «неожиданно», — «unexpectedly», «surprisingly», «suddenly» стояло на 320-ой странице, двадцать восьмым сверху. Он написал: 320, 28. На странице 56-ой было слово «влюбляться, влюбиться» — «to fall in love with», «to be enamoured of»... Шелль хотел было написать соответственные цифры, но почувствовал, что не может: выйдет слишком глупо. Представил себе, как полковник за столом наденет очки, разыщет, прочтет. «Нет, нельзя! Сказать иначе, зачем сообщать ему, что я «влюбился»? На словах в Берлине будет неизмеримо легче, скажу с усмешечкой, посмеиваясь над самим собой: «Представьте, на старости лет случилось же такое: «женился!». В худшем случае полковник скажет ледяным голосом: «Так не поступают, господин Шелль. Я из-за вас потерял даром много времени, и мне нет никакого дела до ваших любовных романов!». В лучшем случае он пожмет плечами, тоже усмехнется, поздравит с законным браком, «имею честь кланяться».

Вместо письма он послал телеграмму. «Через несколько

дней приезжаю». Это было не очень удобно. «Он еще укрепится в уверенности, что я согласен. Не беда».

Предстояло и удовольствие: всё, наконец, соответственно объяснить Наташе. «Она, бедная, просто не знает, что подумать: зачем этот Рамон? зачем я трачу столько времени на идиотский праздник?»

На следующий день он сказал Наташе:

— Что же, решила ты, где нам поселиться? Пора бы решить.

Говорил так, точно много раз задавал ей этот вопрос, а она всё не отвечала. Наташа и смутилась, и обрадовалась: наконец-то разговор, настоящий разговор!

— Я?.. Мне всё равно. Это от тебя зависит. У тебя, ведь, дела в Берлине?

— Я бросаю свои дела. Они были очень скучны, смерть мухам. А Берлина я не люблю. Выбирай.

— Как же я могу?.. Разве ты можешь жить где угодно? — спросила она испуганно. «Вдруг подумает, что меня интересуют его деньги!»

— Для скромной жизни у нас денег достаточно. И мне почти всё равно, где жить. Я, как старый Людовик XIV, je ne suis plus amusabile,—сказал он, забыв, что уже ей это говорил.

— Людовику XIV был восьмой десяток, а ты вдвое моложе, — ответила она, тоже не в первый раз. — Сорок второй год это разве только конец молодости.

— Спасибо и на этом, — сказал Шелль чуть холоднее прежнего. — Я всем столицам в мире предпочитаю Париж. Но там теперь нельзя найти квартиры. На старости лет — виноват, в конце молодости — мне очень хотелось бы иметь свой домик с садом. В Париже, при талантливом правительстве Четвертой республики, цены таковы, что собственный угол там может достать только Рамон и ему подобные. Скажу еще раз: что, если б мы поселились в Италии? Нам обоим так здесь хорошо.

— Я была бы счастлива!

— Ты меня ни о чём не спрашивала, я знаю, что ты дели-

катна до глупости. А я не хотел говорить с тобой раньше, так как мои дела до сих пор были не выяснены. Могу теперь сообщить тебе, что я их продал Рамону. Поэтому я и хочу отблагодарить его, помогая ему в его идиотском празднике.

— Так вот что! А я, каюсь, не понимала... Как я рада!

— У нас с тобой теперь состояние приблизительно в двадцать пять тысяч долларов.

— Господи! Ведь это богатство!

— Это очень небольшое состояние, даже не предместье богатства, но на некоторое время хватит. Я спрашивал управляющего. Здесь, не в самой Венеции, конечно, но по близости, мы могли бы купить небольшую виллу с садом за пять-шесть тысяч долларов. Что ты об этом сказала бы?

— Я просто лучшего и представить себе не могу!

— А не будешь скучать? Ты могла бы тут и дальше заниматься историей.

— Разумеется! Непременно! Правда, для этого нужна библиотека.

— Книги ты купишь. А если их в продаже нет, будем иногда ездить в Париж. В Национальной Библиотеке всё есть, это, кажется, первая библиотека в мире. Квартира в Париже нет, но гостиницы, слава Богу, есть. Ты будешь там делать выписки. Конечно, плюнь и на отзовистов, и на тот университет. Ведь ты и не собиралась серьезно стать профессором и жить в Юго-Славии.

— Отчего же нет? Ты только что сказал, что тебе всё равно, ты ведь как Людовик XIV.

— Людовик XIV тоже не согласился бы жить в Сремских Карловцах.

— Я так счастлива! Так люблю тебя!

— Ты мне это сейчас докажешь. — Она вспыхнула. — О, конфузливое дитя.

XIX

Комиссионер предложил несколько подходящих вилл на Лидо и в окрестностях Венеции. Шелль отправился их осматривать с Наташой. Первая вилла оказалась неподходящей, но вторая чрезвычайно понравилась им обоим. Недалеко от «Эксельсиора» стоял в садике одноэтажный уютный дом, из пяти комнат, очень удобный, чистый и приятный. Продавала старая итальянка, желавшая переехать в другое место после смерти мужа, который выстроил виллу перед первой войной.

— Ваш муж и умер здесь? — тревожно спросил Шелль.

— О, нет, он умер в больнице в Риме, — сказала хозяйка и продолжала объяснять удобства виллы. Ванна отличная, кухня очень большая, в саду есть фонтан.

—...Всё-таки современный комфорт имеет преимущества. Если б вилла была исторической, то вместе с историей нам достались бы крысы, — говорил Шелль Наташе, впрочем, не совсем искренно: он предпочел бы виллу, построенную «по рисунку Сансовино». — Увидишь, как нам тут будет хорошо.

— Я в восторге! Но стоит больше, чем ты хотел заплатить. Не слишком ли это для тебя дорого?

— Не для тебя, а для нас. Ты теперь наше состояние знаешь. А я без заработка не останусь.

Покупал он умело, — Наташа удивлялась, хотя и плохо понимала его разговор с хозяйкой. Он отметил недостатки дома, признал цену очень высокой, против своего обычая торговался, мило, учтиво и даже шутливо. Добился небольшой скидки. Потом говорил Наташе, что можно было бы выторговать еще тысяч пятьдесят лир, но он этого и не хотел: что ж обижать старуху? (этим тоже бессознательно замаливал грехи). Когда обо всем сговорились, Шелль, без нотариального договора, предложил хозяйке задаток в двести тысяч лир и тут же дал ей чек.

— А можно у вас теперь посидеть немного в саду?

— Помилуйте, дом ваш! Оставайтесь сколько вам будет

угодно! Я пришлю вам и прелестной синьоре кофе или вина, — говорила хозяйка, видимо им очарованная.

— Спасибо. Тогда вина. Выпьем с большим удовольствием.

— Ты даже и расписки у нее не взял! — говорила Наташа, показывая свою деловитость. Он усмехнулся.

— «Il lui jeta sa bourse et la brave femme fondit en larmes».

— Как?.. Откуда это?

— Из всех самых лучших романов, — ответил Шелль. Его немного раздражало, что Наташа плохо понимает по-французски. — Добавлю, что чек сам по себе расписка. И вообще не надо все исполнять дословно и слишком формально. Знаешь, есть такой вид забастовки: рабочие нарочно всё исполняют по правилам с совершенной точностью. Общественный порядок, очевидно, таков, что если всё исполнять по правилам, то забавным образом получается хаос.

— Ты скептик.

— Нет, я лжескептик. И лжемизантроп. И лжепессимист.

— Я знаю, всё «лже» и «лже», — сказала она и быстро его поцеловала, оглянувшись на дверь.

В садике был стол и плетеные кресла. Погода была чудесная. Хозяйка принесла им графин с вином и тарелочку печенья. Он пододвинул хозяйке кресло и разлил вино по стаканам. «Кажется, она смотрит на его руки», — подумала Наташа. Руки мужа не нравились и ей, она старалась на них не смотреть.

— Винчи, — сказал Шелль. На хозяйку произвело впечатление и то, что он тотчас распознал малоизвестную марку вина. Она говорила, что они могли бы переселиться уже в пятницу, всё будет готово.

— Не в пятницу, это тяжелый день, — сказал он, тоже к полному ее удовлетворению. — Мы переедем верно несколько позднее.

— Тогда я запру дом и привезу вам ключи, дайте мне ад-

рес... Так вы не хотите купить часть мебели? Я дешево продаля бы.

От мебели он отказался, сказав (с гордостью, которая его самого удивила), что они молодожены и хотят обзавестись всем новым.

— Какая милая! — сказала Наташа, когда они остались одни. — Что она говорила? Как жаль, что я не знаю итальянского языка. Теперь буду учиться, куплю себе самоучитель. Ты и ее очаровал!

— Спасибо за «и». Она предлагала купить ее мебель, но я отказался. У меня ведь есть мебель двух комнат в Берлине, и недурная. Мы за ней туда скоро съездим. А остальное купим. Старинную или новую?

— Какую хочешь. Я люблю старину, очень люблю, особенно русскую. Но, хоть убей меня, я не сяду в узкое стильное кресло с прямой спинкой и не положу своего белья в «источенный червями баул эпохи Возрождения». — Наташа теперь иногда бессознательно подражала его стилю.

— Купим новую. В большой комнате мы устроим рабочий кабинет...

— Рабочий кабинет? Это отлично. Значит, ты будешь работать?

— Нигде так не хорошо ничего не делать, как в «рабочем кабинете». Это будет наша living room. В ней есть даже «baie vitrée, en rapp soiré», как во всех светских пьесах французского театра. Рядом будет твой будуар.

— Какой еще будуар! Зачем мне будуар?

— Нельзя без будуара, как мы теперь средняя буржуазия, — весело сказал он. — Картины больше покупать не буду. Цветы Ренуара, «Рыбы» Сезанна изумительны, но мной овладела бы смертельная тоска, если б они у меня висели целый день и целую ночь, на одном и том же месте. Вдобавок, я обжегся на картинах, как обжигается большинство любителей: думал, разбогатею, а на самом деле купил втридорога. Утешился тем, что жена Сезанна затыкала трубы акварелями

своего мужа... А те две комнаты рядом, что выходят в сад, будут спальни. Не сердись, я привык спать один.

— Как хочешь, — сказала Наташа, вспыхнув.

— Столовых теперь в новых квартирах часто не делают, но пусть будет и столовая.

— Главное это твой кабинет. Я не видела твоей берлинской мебели, но тебе нужен большой письменный стол, полки с книгами, и непременно в хороших переплетах, затем большие покойные кресла. Я и свои книги перевезу сюда из Берлина, у меня их мало, но тоже поставим на полки.

— Мы перевезем всё твое, всё до последнего платья. На память.

— Правда? Как я рада! А та, маленькая, угловая будет «комнатой для друзей». У тебя есть друзья?

— Нет, и пропади они пропадом, — сказал Шелль. Сказал привычные слова почти автоматически и подумал, что на всем свете ему близко только одно это беспомощное существо, благодаря которому, как это ни обидно-банально, он действительно начинает «новую жизнь».

— Ну, вот! А тебе не будет скучно, Эудженио?

Вместо ответа он обнял ее. Наташа опять конфузливо оглянулась на окна виллы.

— Я всю жизнь прожил в больших городах и, как кочевники-берberы, всю жизнь считал это позором. Человек создан для деревни. Жаль только, что при этой вилле нет каких-нибудь ста десятин пахотной земли. Мы завели бы, скажем, трехпольное хозяйство. Ты знаешь, что это такое?

— Плохо.

— А я и того меньше, — смеясь, сказал он. — А то еще у Толстого есть «чемерица». Не знаю, какая-такая чемерица, никогда не видел. Но в романах помещиков-классиков всё это так заманчиво описано, и слова такие приятные, уютные: «лахнущие ряды скошенного луга на косых лучах солнца». Просто слюнки текут. Зато мы с тобой здесь в саду посадим фруктовые деревья. Ты умеешь сажать деревья? Нет? Позор! И я не умею.

Она тоже весело смеялась.

— Научимся. Я хотела бы, чтоб была сирень. Она, ведь, растет в Италии? Мне она милее всяких пальм и кактусов.

— Посадим и сирень.

— Как будет хорошо, особенно весной! Я так рада, так рада! Свой угол и какой! Но всё-таки, скажи откровенно, ты совершенно уверен, что не будешь скучать? Меня только это и тревожит, — сказала Наташа. Это было сокращеньем: «не будешь со мной скучать». — Еще раз скажу, я на твоем месте стала бы писать роман или повесть. Как ты думаешь?

— Для этого у меня не хватает безделицы: таланта. И притом шутка ли это сказать: быть писателем! Разумеется, я говорю о настоящих писателях, баловаться может кто угодно, законом не запрещено. Но писать, учить людей — чему? И это я буду учить! Бюффон надевал кружевные манжеты, когда садился писать: для торжественности. Он священнодействовал, думал, что пишет для вечности. А теперь его никто не читает. Писательская вечность — это еще хорошо, если двадцать лет... Нет, я скучать не буду. Единственное, чего я боюсь: не будет ли климат Венеции вреден для твоего здоровья? Но ты уже с месяц не кашляешь. И притом, мы всё-таки будем жить на Лидо, а не на каналах. Кстати, в Венеции есть превосходная библиотека, с сотнями тысяч книг. Мы будем ездить в город, каждый день, ведь рукой подать. Мне всегда казалось, что это идеал: жить в этом сказочном городе, сидеть на террасе у Флориана, любоваться этой единственной в мире площадью. Я буду там тебя ждать после библиотеки. Если ты напишешь книгу о Ниле Сорском, мы издадим ее на наши деньги.

— Правда? Это можно? Без университета? Я буду работать целые дни!

— Сейчас же начни выписывать книги. И покупай всё что нужно, готовь наш дом... Она назвала тебя «прелестной синьорой». Ты поняла?

— Нет. Я буду писать книгу, а что же всё-таки будешь делать ты?

— Еще не знаю.

— И мы можем так жить, ничего не зарабатывая?

— Посмотрим. Здесь, кстати, жизнь недорогая. У нас будет только горничная-кухарка. Ты любишь итальянскую кухню? Да, ты говорила, что любишь. Я предпочитаю французскую и русскую, но и итальянская хороша. Пить будем вот это самое Винчи. Это то mestечко, из которого вышел Леонардо. Очень крепкое и недурное вино. Отлично будем жить. А как будем спать в этой тишине!.. Я по природе очень деятельный человек, но всё-таки скажу: лучшее удовольствие в жизни это спать, хорошо спать. Без снотворных.

— Нет, не это лучшее удовольствие в жизни, — сказала Наташа.

Когда они вернулись в гостиницу, швейцар подал ему телеграмму. Она была от полковника. В ней было сказано:

«Николай умер скоро буду Венеции подождите моего приезда».

XIX

Шелль сидел утром в углу на террасе кофейни Флориана. По давней привычке, он всегда в кофейнях садился у стены или же лицом к зеркалу, — надо было видеть и то, что могло происходить позади него. Наташа отправилась в S. Maria Mater Domini, — осматривала все церкви по кварталам, не пропуская ни одной. Он пил кофе и лениво думал, что всё складывается очень недурно.

Телеграмма полковника поразила его. Поездка в Россию отпала никак не по его вине. «Так удачно вышло, что я не послал ему письма с отказом! Я имел бы теперь моральное право не отдавать аванса... С тех пор, как я стал состоятельный человеком, гораздо чаще употребляю слова «мораль», «моральный»... Это тоже мысль *прежнего* Шелля, будь он проклят... Разумеется, я отдаю аванс. А на женитьбу можно и не ссылааться. — «Извольте получить деньги. Желаете в долларах или в швейцарских франках?» — «Но ведь это никак не ваша вина». — «И не ваша. А я не привык получать деньги

даром». Он будет поражен, в нашем кругу люди так ведут себя редко. То есть, в моем *бывшем* кругу, до которого мне больше никакого дела нет... Поразительна всё-таки эта смерть Майкова, так странно совпавшая с моим бредом. Уж не покончил ли он с собой? Что-же я в самом деле буду делать дальше?» Оркестр на площади святого Марка играл что-то бравурное. Туристы возились с фотографическими аппаратами. Шелль вдруг осталбенел: шагах в пятнадцати от него кормила голубей Эdda.

Он смотрел на нее так, точно увидел на площади гиппопотама. Хотел было незаметно ускользнуть, но как раз она встретилась с ним взглядом. Эdda как будто не удивилась и, бросив кулек с хлебными крошками, направилась к нему с улыбкой, не предвещавшей, повидимому, ничего особенно худого. Как всегда, она была одета не хорошо и не плохо, но несколько неправдоподобно.

— Здравствуй, дорогой мой. Давно ли ты из Испании? —sarcastически спросила она, садясь за его столик. «Наташа!» — подумал он. Не сказал Наташе, что будет у Флориана: они должны были встретиться в гостинице; всё же она могла зайти и на площадь.

— Здравствуй, кохана. Как поживаешь? — сказал он, целяя ей руку. — У тебя прекрасный вид. Еще похорошела. Я думал, что ты в Париже?

— Была в Париже. Ты, верно, знаешь, что я всё блестяще сделала.

— Я ничего не знаю, но я в этом не сомневался. А зачем ты выкрасила одну прядь волос?

— Это последняя парижская мода.

— Не последняя. Немало дур уже это проделали в прошлом году.

— Что ты понимаешь!.. Теперь я приехала сюда и с радостью узнала, что ты в Венеции: видела с берега, как ты ехал на гондоле с одной девченкой *fichue comme l'as de pique*, и с одним довольно плюгавым господином.

— Да, у меня тут есть знакомые.

— Она твоя любовница? Я оболью ее царской водкой, — сказала Эдда, впрочем, довольно миролюбиво.

— Cela fera très Cesar Borgia. Только она не моя любовница.

— Я тебя знаю. Но сначала поговорим о делах.

— Поговорим о делах, дочь моя рожоная.

Она рассказала, как познакомилась с лейтенантом, очень быстро — «в два счета» — его соблазнила, сделала своим соучастником и получила от него чрезвычайно ценные документы. Говорила вполголоса, хотя рядом с ними никого не было; говорила со скромно-торжествующим видом. Шелль вставлял одобрительные и даже восторженные восклицания. «Врет или не врет, вот в чем вопрос». Он знал, что Эдда иногда лжет почти болезненно. Впрочем, такие припадки случались с ней не часто.

— ...По вечерам мы пили шампанское, я ему читала стихи, он в меня влюбился без памяти. *Coup de foudre!* Он очень милый мальчик. Ты знаешь, что я интернационалистка, но я обожаю американцев, они такие непосредственные! Ты врал, будто я работаю под ведьму. С ним я работала под луру!

— Воображаю, как ты измучена! Но то, что ты сделала, просто поразительно. Пять с плюсом! — сказал он, когда она остановилась в ожидании новых восторгов. — А где теперь этот лейтенант?

— Он завтра сюда приезжает. Джим ради меня навсегда порвал с американцами! Но не могли же мы уехать вместе, это было бы не конспиративно. И представь, он даже и до меня был левый! Джим против раздела России.

— Джим против раздела России. Неужели? Вероятно, ты тоже в него влюбилась? — с надеждой спросил Шелль.

— Нет, он недостаточно для меня умен. Я люблю только умных людей, хотя бы они были такие хамы, как ты. И мне не нравится его имя Джим! Что может быть прозаичнее? Надо называться Бальдур фон Ширах! Вот это чудное имя!

— Чудное. Он хорошо тебе заплатил? Не Бальдур фон Ширах, а американец.

Ни гроша. Это было по любви, я с него и не взяла бы.

— Быть может, у тебя комплекс Федры? Ничего, ангел мой, советский полковник даст тебе много денег. Куй железо пока горячо! Поезжай в Берлин немедленно, сегодня же.

— Зачем же ковать железо так быстро? Нет, я посижу, тут с Джимом и с тобой, — насмешливо сказала она. — А твой советский полковник не только хам, но и скупердяй.

— Ты ему уже доставила бумаги?

— Разумеется. В тот самый день, какой мне указали, — ответила Эдда. Это было не совсем точно: Джим велел сдать пакет 18-го, но в этот день у нее было несколько примерок у портных и она сдала пакет накануне. — И знаешь, сколько они мне заплатили? — Она назвала сумму, действительно не очень большую. — Правда, объяснили, что должны установить важность бумаг, дают пока только на расходы. А у меня расходы были огромные. Я не могу быть одета так, как твоя девчонка! Она уже твоя любовница или только будет? Ты и в любви человек двойной жизни.

— Кохана, ты дура. Понимаешь: ду-ра. Да как дубина, у как умора, эр как рехнулась, а как ахинея. Говори в виде исключения толком. Помни, Валаамова ослица и та однажды заговорила человеческим языком. Тебе нужны деньги?

— Мне всегда нужны деньги! Подумаешь, дали гроши и спрашивают! — сказала она с возмущением, но неопределенено: гроши ей дала советская разведка, а Шелль, как всегда, был щедр, она это признавала.

— Я мог бы тебе добавить, ангел мой. Конечно, немного.

— Вот как? Ты разбогател?

— Получил тысячу долларов. Половину могу тебе дать.

— Приятно слышать. Но что я сделаю на пятьсот долларов? Разве это деньги пятьсот долларов?

— Я потом пришлю еще.

— Потом? Пришлешь? Значит, ты пока в Берлин не возвращаешься?

Возвращаюсь очень скоро. Еще не знаю, когда именно.

— Ты хам, — сказала она уж совсем добродушно. Когда

сердилась, произносила это слово с тремя «х» «х-х-хам!» Теперь «х» было одно. — И, пожалуйста, не думай, что я так влюблена в тебя. Ты мне стал индифферентен.

— Это неграмотно, но по существу хорошо, — сказал он, очень довольный.

— Не тебе учить языку поэтессу. Я говорю не по шаблону, а создаю свои выражения, я творю язык. Всё-таки за пятьсот долларов спасибо. Они очень кстати. Тебе не трудно дать их мне?

— Трудно, но я дам. Так на молодом американце, значит, ты не поживилась?

— Какое хамское выражение!

— «Верх необразования и подлость в высшей степени».

— Я у него не брала денег по тысяче причин. Во-первых, у него их нет.

— Тогда, красавица, остальные девятьсот девяносто девять причин излагать незачем.

— Правда, у него дядя миллионер, но, вероятно, он ему дает очень мало.

— Какой скверный дядя! Повидимому, лейтенант тебя бросит, кохана?

— Меня никто никогда не бросал! Но я скоро его брошу. Он мне надоел.

— Верно он недостаточно инфернален? Что-ж, кохана, довольна ли ты своей новой профессией?

— Нет. Совсем недовольна!.. Ты вечно надо мной насмехаешься, говоришь со мной, как с дурой, разве я этого не вижу? «Недостаточно инфернален», ах, как глупо! Я не ангел, но ведь и ты ничем не лучше меня. Попробовал ли ты хоть раз заглянуть в мою душу? Хочешь ли ты, чтобы я тебе расска-зала мое детство?..

— Нет, не хочу... То есть, хочу, но когда-нибудь в другой раз.

— Догадываешься ли ты, как мне всё это надоело, все гадости, вся грязь! Я только и желаю жить, как порядочные люди. Разве я не знаю, кто я?.. Мне очень не везло в жизни,

— сказала Эдда и вдруг, к изумлению Шелля, прослезилась.

— Я хотел сказать, что ты, по-моему, старалась сделать свою жизнь возможно более поэтической. Тут ничего дурного нет... Чего же ты хочешь? — спросил он другим тоном.

— Я сама не знаю, чего хочу! Сейчас одного, через час другого! Знаю только, что я несчастна. Ты как-то говорил в Берлине о тихой пристани, мне тоже нужна тихая пристань. А о твоей разведке я больше и слышать не могу!

— Ее можно и бросить.

— Но чем я буду жить? Всегда эти проклятые деньги! А ты еще защищаешь капитализм!

— Надо подумать. Где ты остановилась?

Она назвала гостиницу, — к счастью, не ту, где жил он, но тоже очень хорошую.

— Ого! Верно дорого. А я живу у этого, как ты почему-то говоришь, плюгавого господина. Он там с дамой, с той, которую ты видела. Представь, я нашел у него работу, и он оплачивает все мои расходы.

Шелль рассказал ей о Празднике Красоты. Эдда слушала недоверчиво, но внимательно. Название праздника чрезвычайно ей понравилось.

— Всё это очень интересно, если ты не врешь. Так эта девчонка его любовница? И он хорошо платит?

— Сносно, — ответил Шелль. Его озарила мысль. «Надо подсунуть ее Рамону! Но так, чтобы она долго здесь не оставалась. Чтобы не познакомилась с Наташей и чтобы видеть ее возможно реже». — Ты ведь, кажется, говоришь по-испански?

— Говорю. Почему ты спрашиваешь?

— Он филиппинец и знает только испанский язык. Постой, у меня, кажется, гениальный план. Тебе надо сейчас же съездить в Берлин.

— Вовсе не сейчас же. Документы уже у них.

— Кроме документов, надо представить личный доклад. И притом немедленно, это я говорю с полным знанием дела.

— Он может немного и подождать. А если он заплатит меньше тысячи долларов, то я брошу у него службу!

Лицо Шелля приняло гробовое выражение.

— Ты думаешь, это так просто? Скажешь ему: «Больше не хочу у вас служить, до свиданья», да? Моя милая, твоя неопытность просто умилительна! Знаю, что ты любишь играть жизнью и не боишься смерти. Но всему есть пределы. От *них* так не уходят! Они могут отпустить тебя, если повести дело с умом. Однако, уйти самовольно!.. Мне тебя жалко. Он, конечно, подумает, что ты перешла к американцам! Я не буду удивлен, если тебя найдут на дне Большого Канала.

— Ты что, шутишь?

— Я говорю самым серьезным образом! Я тебя предупреждал, что работать с полковником опасно. Он страшный человек... Так лейтенант приезжает завтра? Ты говоришь, он порвал с американцами?

— Решил порвать. Пока он получил месячный отпуск. Он два года не брал отпуска.

Шелль не мог понять, зачем приезжает лейтенант. «Или он в самом деле в нее влюбился? А если нет, то, значит, американцы решили ее использовать и для другого? Тогда это для нее действительно опасно».

— Ты должна уйти от полковника, но непременно похорошему.

— Как же это сделать? Что мне делать вообще? Если ты говоришь правду... Может быть, ты просто хочешь меня сплавить?

— Зачем мне тебя сплавлять? Напротив, я очень по тебе тосковал. Хотел бы, чтобы ты здесь осталась. Мало того, я достал бы для тебя здесь работу, у моего филиппинца.

— Поэтому ты меня спрашивал об испанском языке? Ты хочешь меня определить к нему в секретарши? В секретарши я не пойду, это мне не интересно.

— Нет, я хочу найти тебе роль в его празднике. Очень хорошую роль. Ты будешь еще *ready-to-kill*-ьнее, чем всегда. Платье мы тебе закажем, и после спектакля оно тебе останется. Очень дорогое платье!

— Это уже много интереснее.

— Платье надо заказать в Берлине. В Париж тебе возвращаться нельзя, а здесь в Венеции не достанешь. Тебе он хорошо заплатит, не то, что мне.

— Это страшно важно!

— Но для этого совершенно необходимо, чтобы ты ликвидировала свои дела с полковником, уж если ты на это решилась. На празднике будут тысячи людей, и среди них, разумеется, будут советские агенты. Я не хочу, чтобы тебя закололи вообще, а во дворце моего патрона в частности. Ты должна сейчас же уехать в Берлин. Я объясню тебе, как с ним надо говорить. Постарайся, чтобы он на тебя плюнул.

— Спасибо.

— Ты могла бы, например, ему сказать, что американец тебя разлюбил.

— Я никогда ему не скажу такой чепухи! Да он этому и не поверил бы.

— Это будет довольно сложно, — сказал Шелль, не слушая.—Нет, ты пока объяснишь ему, что твой лейтенант получил отпуск на месяц. Если он удивится, что дали такой длинный, объясни, что он два года отпуска не брал. Если он пожелает, чтобы лейтенант вернулся раньше, скажи, что это могло бы вызвать подозрения у его начальства: люди добровольно своих отпусков не сокращают. Тогда полковник даст отпуск и тебе. Лейтенанту же вели, чтобы он пока, избави Бог, не порывал отношений с начальством. Затем либо твоя страстная любовь к лейтенанту кончится, — а то его любовь к тебе, — вставил Шелль, — либо его куда-нибудь переведут. В обоих случаях полковник на тебя плюнет. Что и требовалось доказать. Главное, это что делать теперь? Я по долгому опыту заглядываю в будущее не дальше, чем на несколько недель. Теперь ты, значит, должна расстаться с ним в добрых отношениях. После этого приезжай сюда. К самому празднику, чтобы не возбуждать толков. Твой американец может сидеть здесь или уехать куда ему угодно. А мой патрон даст тебе денег.

— Много ли еще даст? Если он так богат, то почему его девчонка одета как народная учительница в Эстонии?

— Этого я знать не могу, — ответил Шелль с досадой.
«В самом деле пора одеть Наташу как следует!» — подумал он. — Вот что, предоставь твоё дело мне. Я найду тебе хорошую роль, это требует дипломатической подготовки с патроном. Но в принципе ты можешь считать, что роль у тебя есть. И оклад будет не меньше двух тысяч долларов!

— С авансом? — спросила Эдда, на которую эта цифра произвела сильное впечатление.

— Я тебе устрою и аванс. При непременном условии, что ты получишь отпускную от полковника.

— Будем говорить точно. Значит, аванс я получу до отпускной? Иначе мне в Берлин поехать и не на что. Какой аванс?

— Не менее тысячи долларов.

— Кроме твоих пятисот?

— Хорошо. Настойчиво советую тебе уехать в Берлин тотчас. Разговор с полковником потребует времени, у него и аудиенцию получить не так просто.

— Что-то ты очень спешишь! Тотчас я уехать не могу, ведь Джим приезжает только завтра. Мы должны немного и отдохнуть в Венеции после всего того что было.

— Но тогда ты не успеешь сшить себе платье в Берлине.

— Как же я могу шить платье, если я еще не знаю, какая у меня роль? И на какие деньги я его буду шить?

— Я пришлю тебе рисунок. Деньги на платье мы переведем в Берлин, как только ты будешь знать точно, сколько всё будет стоить. Ты будешь знатной венецианской дамой, на платье мы денег не пожалеем, и оно, повторяю, тебе останется.

— Что я буду потом делать с платьем знатной венецианской дамы?

— Переделаешь, кохана, или продашь.

— Никто не купит. Разве сделать с кружевами? Я видела в одном магазине на Курфюрстендумме чудные кружева. Но это очень дорого.

— Непременно сделай с кружевами.

— Это всё надо обдумать. Давай пообедаем завтра втроем с Джимом, я вас познакомлю и мы всё обсудим.

— Ты с ума сошла! Я и то дрожу, что нас здесь увидят, — сказал Шелль. — На наше счастье, сейчас как будто подозрительных людей здесь нет. Но мы никак не можем встречаться дальше, да еще с Джимом. Это было бы очень опасно и для вас, и для меня.

— Я что-то не понимаю. Почему опасно? Джим теперь *наш*, мы все трое служим одному делу. Как же мы можем тебя скомпрометировать или ты нас?

— Ты, очевидно, забываешь, что и у американцев тоже есть разведка и даже очень недурная. У них агенты везде, вполне возможно, что они уже и здесь за вами следят. — Эдда побледнела. — Даже наверное следят: шутка ли сказать, американский офицер, велающий печью в Роканкуре! Тебе надо немедленно уехать и по возможности замести следы. И я никак не хочу, чтобы установили слежку и за мной. Нет, мы больше тут встречаться не можем, об этом речи нет. А вот, показать тебя патрону я хотел бы. Без Джима.

— Так давай пообедаем с ним втроем еще сегодня вечером.

— С тобой надо говорить гороху наевшись. Повторяю, я *не могу* с тобой афишироваться. Но вот что, завтра в одиннадцать утра я с патроном приду сюда к Флориану, — придумал Шелль. Наташа должна была уехать на Лидо. — Ты медленно пройдешь мимо нас. Я тебя покажу ему и скажу, что ты известная артистка. Разумеется, я тебе не поклонюсь, и ты вида не покажешь, что ты меня знаешь: мы не знакомы, я просто много раз видел тебя на сцене. Пройди до конца площади, затем, если хочешь, вернись той же дорогой. Оденься «с вызовом», это произведет на него впечатление, я на тебя полагаюсь. Я знаю, какой у тебя вкус. Ты должна быть похожа на хищницу. Потом я наговорю о тебе патрону всяких вещей.

— Пожалуй, я согласна. Ты всё-таки друг, — сказала Эдда. Он смотрел на нее и думал, что и у нее, даже у нее, есть

хорошие черты. «Как у всех, как у меня, как даже у отъявленных прохвостов. А она так глупа, что имеет право на все смягчающие обстоятельства. И действительно, она ничем меня не хуже. Надо, надо и ей устроить тихую пристань. Всем нужна тихая пристань».

— Но помни твердо, что мы с тобой не знакомы. Не вздумай улыбнуться мне. Ты можешь даже окинуть нас высокомерным взглядом, это твой коронный номер.

— Я окину вас высокомерным взглядом, — сказала Эдда с готовностью.

XX.

Через день в Венецию приехал полковник № 1.

Эта поездка тоже была деловой, но он имел право и на отдых. Несколько человек, знаяших о его последнем деле, были в восторге и не сомневались, что в Москве признают документы подлинными; разумеется, через год-два поймут, но сколько ненужных мер за это время примут, сколько вредных распоряжений сделают, сколько миллионов даром потратят! Старый генерал хлопнул его по плечу и назвал «Шекспиром дезинформации». Полковник скромно умалял свою заслугу; всё же, хотя самодовольство было совершенно ему не свойственно, чувствовал себя отчасти так, как, быть может, Шекспир после окончания «Макбета». Во всяком случае знал твердо, что лучше этого он ничего на службе не сделал и не сделает. Теперь можно было уйти в отставку с честью.

По дороге он опять думал о Шелле и на этот раз вполне благожелательно: тот оказал огромную услугу. «Конечно, недостатки есть: позер, много пьет и видно немного ослабел. Собратья очень его не любят, что в порядке вещей». Из тайных агентов полковника многие доносили друг на друга или же *незаметно* старались подорвать его доверие к другим агентам. Причин собственно для этого не было: работы и денег у него было достаточно для всех. Полковник ничему не удивлялся, большого значения таким обвинениям не придавал, тем более, что они взаимно уничтожались, но на всякий случай всё

заносил в память. Шелль ни о ком в отдельности из собратьев ничего не говорил (хотя относился иронически к разведчикам вообще). «Дьявольски самолюбив. Не идет к его ремеслу. Можно заключить с ним соглашение надолго, такой человек всегда пригодится. В Россию его не отправлю, да он, кажется, и не поехал бы», — думал полковник, вообще относившийся отрицательно к спуску шпионов на парашютах, как к затее, ничего хорошего не обещавшей. — «Аванса я с него назад не потребую. Во-первых, он всё равно не отдаст, а во-вторых, его вины нет; и, главное, за услугу с этой дурой он имеет право на вознаграждение». Две тысячи долларов были не слишком большой суммой. В ведомстве полковника деньги тратились широко, иногда выбрасывались с очень малой надеждой на какой-либо полезный результат.

Полковник знал, что в Венеции будет также Эдда. Встретиться с ней он не желал: считал для себя невозможным встречаться с любовницами Джима. Он разговаривал с ним иногда строго, иногда дружески-ласково, почти как с равным, но у фамильярности была граница, которую переходить не полагалось. Увидеть же Эдду полковник хотел бы: верил в свое впечатление от людей, хотя знал, что не раз случалось и ошибаться. «Она чрезвычайно глупа», — сообщил ему Шелль при их последнем разговоре. — «Я не сказал бы этого другому работодателю, а вам говорю. Вам отлично известно, что разведчиц идиоток немало». — «Совершенных идиоток у нас не бывает», — нерешительно возразил полковник. — «Бывают, бывают», — сказал уверенno Шелль, — «она вдобавок не совершенная идиотка».

С Джимом же надо было снова поговорить очень серьезно. Он прекрасно справился с задачей, но от него пришло довольно странное письмо, недовольное, почти резкое, — так он никогда дяде не писал. Повидимому, Джим больше не желал оставаться на службе. «Разочаровался, что ли? Уже! Тогда удерживать его я не буду. Может быть, я неправильно поступил, что дал ему такое поручение. Что же я буду с ним делать? Вернуть его в Public Information? Нет, в самом деле это пустое

занятие. Сам он для себя ничего не найдет: слишком горд, слишком легкомыслен, кто-нибудь из начальства что не так ему скажет и он тотчас уйдет. Лучше всего было бы, если бы он вернулся домой и там просто служил в армии. Но, увы, он видимо, всё больше прымкает к *intelligentsia*. От него можно ждать всего. Что еще он мне преподнесет в Венеции? И зачем он туда поехал с этой милой дамой? Может быть, она хочет остаться у меня на службе? Злоупотреблять дурами всё-таки нельзя».

Награды по службе Джим пока получить не мог, хотя его услуга была оценена. Полковник решил сделать ему подарок. Купить новый Линкольн было слишком дорого. Джим, знавший толк в автомобилях, мог, пожалуй, купить подержанный, в хорошем состоянии, за тысячу долларов. Это были немалые деньги для полковника, но он все подарки племяннику рассматривал как авансы под наследство, не облагавшиеся налогом.

Он несколько раз бывал в Венеции, — всегда с таким же восторгом, как в Париже. Джим как-то ему сказал, что теперь у знатоков искусства начался гепоувеау этого города, еще недавно считавшегося банальным. Так и сказал: гепоувеау, — полковник сначала было даже не понял, — самое слово отдавало *intelligentsia*. Здесь он также всегда останавливался в одной и той же гостинице, — хорошей и не слишком дорогой. Племянник должен был зайти к нему вечером, но он почти не сомневался, что увидит его еще и днем: в Венеции нельзя не встретиться.

Выйдя на площадь святого Марка, полковник сразу почувствовал, что с гепоувеау или без гепоувеау, это город единственный, самый прекрасный на земле. «Всё как было: волшебный собор, волшебный дворец, волшебная площадь! Какое счастье, что во время войны не погибли эти два чуда: Париж и Венеция!» И Флориан был всё тот же, тоже почти вечный, радость десятка поколений. Оркестр на площади, как сорок лет тому назад, играл «Травиату». Быть может, только публика была чуть менее элегантна, чем до первой войны. Но жен-

щины были так же хороши или казались такими, точно безобразным женщинам было совестно портить собой всю эту красоту. Полковник останавливался перед витринами, хотя ничего покупать не собирался. На стене висела коммунистическая афиша: «Compagni! Il Partito Comunista vi invita...» — прошел он со вздохом. Дошел до Пиацетты, полюбовался и отсюда дворцом, собором, библиотекой. Навстречу ему шли полицейские в треуголках. Он посмотрел на них благожелательно. «Всё же нашим сор'-ам по сложению не чета».

Полковник вернулся, сел на террасе Флориана, заказал что-то с звучным названием, купил у пробегавшего мальчишки газету и не развернул ее: не читать же на площади святого Марка! Не думал собственно ни о чем, — или разве о том, что охотно прожил бы и еще шестьдесят лет, благо те легкие болезни, какие у него были, не назывались страшными именами и, главное, были без болей. Приятели в Америке ему говорили, что в его годы человек должен хоть раз в год ходить на check up, как ходят к дантисту. Он совершенно с ними соглашался; давно знал, что с людьми, дающими такие советы, лучше всего тотчас соглашаться: это их обезоруживает. Про себя же думал, что, если здоровый человек его лет пойдет к врачу на check up, то после десяти исследований и анализов у него найдут десять болезней; вылечить всё равно нельзя, а настроение духа будет отравлено. Он и к дантисту ходил очень редко. Зубы у него были сплошные, здоровые, разве с тремя или четырьмя пломбами, белые, несмотря на то, что он выкуривал по сорок папирос в день, тоже немедленно соглашаясь с друзьями, говорившими о вреде chain smoking.

У Флориана было чудесно, но он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, так бы и сидеть здесь без конца. С другой же стороны, была особенная бодрость и радость жизни от венецианского чуда, — надо что-то делать, жизнь не кончена и на седьмом десятке. Средней линией было то, что он, посидев с полчаса, решил позвонить по телефону Шеллю, встал и пересек площадь. Оркестр теперь играл «Полет Валькирий». — «Так и есть, вот он!»

В нескольких шагах от себя полковник увидел своего племянника. У обоих в глазах мелькнула радостная улыбка, но оба и вида не подали, что знают друг друга. Джим сидел на террасе кофейни с Элдой. Полковник бросил на нее взгляд отставного знатока. «Очень красива. Мой-то шалопай не увлекся бы по настоящему. А владеет собой хорошо. Bon chien chasse de race», — подумал он. Как сам себе говорил, «бесстыдно» сел в двух шагах от них, так что мог слышать их разговор. — «Да, сажусь и буду здесь сидеть, и ты ничего не можешь сделать», — говорила его усмешка. — «Сидите сколько вам угодно, вы нам не мешаете. И, как бы там ни было, я сижу с красавицей, а вы, дяденька, один, на то вы старики», — должен был бы ответить взгляд Джима. Однако он этого не ответил. Вид у племянника был мрачный. — «Дурак, дурак, чего тебе еще? Удовольствие получил, ничего с этой дурой не случилось, вот и в Венецию приехал на казенный счет. Или денег больше не осталось?» — спросил взгляд дяди. Валькирии улетали с вскриканиями и с визгом. «Хайа-та-ха!» — радостно подпевал в мыслях полковник. — «Хайа-та-ха! Только ничего хорошего нет», — теперь ясно ответило лицо Джима. Они раз слышали тетralогию вместе, племянник с упоением, дядя не без удовольствия. Эdda презрительно говорила, что эта музыка *vieux jeu* и что Вагнером могут наслаждаться только дураки, и то старые. — «Вот как? Пошли ее к чорту сегодня же. Хайа-та-ха!» — посоветовал полковник. — «Хайа-та-ха, но денег очень мало», — так он себе объяснил взгляд племянника. — «Дурак, дурак, уже нет! Ничего, я дам... Ну, так и быть, уйду. Только сегодня же вечером изволь быть у меня»... Не дожидалась лакея, полковник неохотно встал. «Не возвращаться же к Флориану. На Пиаццетте тоже есть кофейня. Оттуда и позову Шеллю. Может быть, он дома». Полковник еще раз незаметно-внимательно оглядел Эдду с головы до ног и пошел дальше своей бодрой, военной походкой.

(Продолжение следует)

M. Алданов

СТАРИКИ

Настоящее Семена Ивановича было плачевным: заболев на 56-м году жизни туберкулезом легких, он попал в франко-русский санаторий, где и прожил четыре года. В будущем своем, даже в случае выздоровления, он тоже ни на что хорошее не мог надеяться, и потому все мысли его обратились к прошлому. Думая о нем постоянно, он развил в себе склонность посвящать и других больных в свои воспоминания и это сделалось его единственным утешением. Старожилам рассказы его надоели, многие знали их наизусть, поэтому Семен Иванович всегда с жадностью набрасывался на новичков. И когда приехал новый больной, мягкий, доверчивый, похожий на аиста, Валентин Петрович, Семен Иванович тотчас же обратил на него свое внимание и выпросил у администрации, чтобы Валентина Петровича поселили в его комнате.

Вначале дружба не клеилась: Валентину Петровичу было приятнее проводить время с другими больными, но через несколько дней он, сам не зная как, подпал под влияние Семена Ивановича. На первых порах действовала на него необыкновенная осведомленность соседа в области туберкулеза и точные знания всех санаторских порядков. Семен Иванович знал все новые средства, знал, как нужно дышать, как и чем питаться, как лежать. «Поменьше, — советывал он, — двигайтесь, потому что чем больше вы даете работы своим легким, тем труднее им закупорить каверны известью».

Потом, когда Валентин Петрович, для которого теперь болезнь и борьба с нею заменила все прежние интересы, начал не только прислушиваться к его советам, но и исполнять их, Семен Иванович перешел на разговоры о своем прошлом высоком положении в России и о своих прежних богатствах.

Однажды, когда отношения стали почти дружескими, Се-

мен Иванович сказал: — Меня здесь не любят за то, что администрация ставит меня, за мои прежние заслуги перед отечеством, на первое место, но вы, Валентин Петрович, надеюсь, не из их числа. О, эта людская зависть!

— Нет, я не завистлив, — ответил Валентин Петрович, — наоборот, я чувствую себя даже польщенным тем, что живу с таким человеком, как вы, в одной комнате.

Так день за днем утверждался Семен Иванович в душе Валентина Петровича и чем больше начинал Валентин Петрович уважать своего соседа, тем значительнее делалась фигура Семена Ивановича и даже, когда он говорил: — Сегодня я хорошо покушал, борщ был вкусный, — Валентину Петровичу и такая фраза казалась глубокомысленной.

Порядок в санатории соблюдался строго: в семь часов утра фельдшер Владимир Иванович обходил больных и для того, чтобы комнаты могли обогреться перед вставанием, везде закрывал окна. В восемь часов раздавался звонок. Нужно было встать, одеться, умыться, прибрать постель и к девяти спуститься к утреннему кофе в столовую.

Любивший долго мыться, Семен Иванович всегда за полчаса до прихода фельдшера сам закрывал окно, вставал раньше всех и первым занимал очередь в умывалке. Он принадлежал к числу таких людей, которые, где угодно, при каких угодно обстоятельствах, умеют находить минимум необходимость точно исполнять какие-то свои предписания и страшно усложнять ими самую простую жизнь.

Закрыв окно, он брал специальную для умывания рубаху, складывал ее особенным образом и если складки делались не там, где нужно, долго возился. Умывался тоже не так, как все: сначала полагалось вдохнуть носом воду, помочить затылок, а потом уже намылить руки. Умываясь, он до красноты тёр мокнатым полотенцем щеки и жирный затылок. В комнате заставлял все свои вещи принимать раз навсегда установленный порядок.

Если волосы на голове отросли, вынимал машинку, долго продувал ее, осматривал и сам себя стриг под нолевой номер,

после чего голова его блестела, как тыква. Потом чистил туфли, облачался в широкие бархатные штаны, синюю рабочую блузу и, осмотрев себя в зеркале, походкой, которой должен, по его мнению, ходить человек с большим прошлым, семеня короткими ножками, бережно нес свое небольшое брюшко по ступенькам вниз.

Соседство Валентина Петровича ничем не нарушило его привычек и мнимых обязанностей, только окно по утрам, изуважения к прежним заслугам своего нового друга, начал закрывать Валентин Петрович.

Вскоре Семен Иванович взял его под полное свое покровительство и выпросил для него даже место за столом рядом с собою.

А когда их посадили рядом, перед тем как одноглазый служитель в белом халате принес суп, Семен Иванович спросил: — Сколько вам лет, уважаемый Валентин Петрович?

— Шестьдесят стукнуло, дорогой Семен Иванович, — ответил Валентин Петрович.

— А, это хорошо, значит мы однолетки, и я, имея к вам исключительную симпатию, скажу вам кое-что очень важное, может быть, самую последнюю новость современной медицины (он в этом слове, вместо «е» всегда говорил «э»), и, наклонившись к уху Валентина Петровича, прикрыл свой рот ладонью, Семен Иванович зашептал по секрету: — Каждый кусок нужно пережевывать ровно столько раз, сколько человеку лет. — Потом, во всеуслышание уже громко продолжал: — Поняли, мой друг? Вот увидите: пусть там над нами другие потешаются, а мы с вами будем себе прибавлять и прибавлять вес... и что нам другие! Наплевать нам на их насмешки, — возвысил свой голос Семен Иванович, когда за соседним столом послышался смех и кто-то сказал:

— Молибдэнщик.

Валентин Петрович некоторое время оставался в нерешительности, не зная, чью сторону ему принять: всех ли больных, которые с очевидным недружелюбием относились к Семену Ивановичу и, должно быть, будут так же относиться к

нему, если он исполнит его странный совет? Но потом подумал: — нет, всё-таки Семен Иванович так хорошо всё знает, был таким большим человеком в прошлом. — И когда все давно встали и вышли из столовой на террасу, старики еще долго жевали свою пищу...

После обеда полагалось до половины третьего гулять в саду. У Семена Ивановича для каждой прогулки была особенная обувь: в дождливые дни он ходил в деревянных «сабо», в ясные — в малиновых суконных туфлях на кожаной подошве.

Когда спускались в столовую, в окнах санатория блестело яркое солнце, теперь черная туча, захватив половину неба, закрыла его.

— Э, э, кажется похоже на дождь и я, к моему глубокому сожалению, не в сабо — с досадой сказал Семен Иванович.

— Хотите, я принесу? Кстати, я забыл наверху платок, — вызвался Валентин Петрович и, не дожидаясь ответа, начал трудный для слабогрудого человека подъем по лестнице.

Когда они прогуливались рядом в саду, Семен Иванович в сабо, Валентин Петрович в дырявых ботинках, солнце нашло в черной туче щелку и бросило сквозь нее веер золотых лучей. Высокие горы вокруг санатория озарились, сад просиял, засияли золотые листья на деревьях.

Выздоровляющим сделалось беспричинно весело. Французы сейчас же начали игру в буль. Валентин Петрович заинтересовался и, наблюдая за ними, остановился.

— Вот — сказал Семен Иванович, — никак не могу понять этой игры, по-моему нет ничего глупее, чем бросать эти шары.

В это время тощий француз побежал на корточках и бросил большим шаром в маленький шарик с орех величиной. Раздался стук и маленький шарик, выбитый большим, откатился в сторону. Играющие были в восторге от его удачи: закричали и захлопали в ладоши.

— Нет, всё-таки интересно, — сказал Валентин Петрович.

— Бросьте, ерунда, — ответил Семен Иванович и даже потащил Валентина Петровича за рукав.

Солнце то скрывалось за тучу, то, как будто там, где-то, набираясь нового блеска, с новой радостью озаряло осенний сад.

Но Семену Ивановичу было не до красот природы. — Представьте себе, говорил он Валентину Петровичу, — у меня в харьковском имении открылся «Молибдэн». Вы представляете, что это значит? Мировое богатство, вот что это значит, дорогой мой. Правда, мне и без молибдэна жилось неплохо: вот это самое харьковское имение, потом волынское, потом еще в Таврии, рядом с имением Фальцфейна. Представляете, по моим полям иногда бегали зебры, жирафы, буйволы...

Валентину Петровичу тоже хотелось бы рассказать про свой маленький хутор под Екатеринославом, но он во время всей прогулки молчал, так как не решался перебить своей маленькой темой такую колossalную тему своего друга.

Только независящее от него обстоятельство помешало Валентину Петровичу промолчать до самого конца.

— Ах! — воскликнул он на самом интересном месте, отбегая в сторону.

— Что с вами? — сердито брякнул Семен Иванович.

— Ах, ничего, ничего — ответил бледный Валентин Петрович, — видите, вон там, гусеница.

Семен Иванович молча посмотрел на него, сначала не понимая в чем дело, потом понял и, расхохотавшись старческим скрипучим смехом, наступил на насекомое своим деревянным сабо.

— Ну вот, и всё. И вы бы так сделали, чем пугаться. Я в жизни ничего не боялся и не боюсь, — не даром моя мать ведет свою родословную от самого Чингис-Хана.

Все больные во время «кюра» зимой и летом лежали на лонгшезах на террасе, но Семен Иванович выхлопотал себе и Валентину Петровичу право лежать на постелях в своей комнате. Войдя в нее, он сейчас же взял полотенце и выгнал из углов, будто бы застоявшийся там воздух, потом взбил хорошенько подушку, откинулся на одеяло и, объявив про себя беспощадную войну коховским палочкам, улегся поудобнее, протя-

нул вдоль корпуса руки и застыл в этой раз навсегда утвержденной уставом, боевой позе.

Валентину Петровичу хотелось оправдаться в своем страхе перед гусеницей, он хотел рассказать те случаи из своей прошлой жизни, которые показали бы, что он вовсе не трус, и что даже получил георгиевский крест.

— Семен Иванович, знаете что? — зашептал он, но на бесстрастном лице соседа не дрогнул ни один мускул и, увидев серьезное его отношение к уставу, и Валентин Петрович последовал хорошему примеру.

Оба старика лежали молча, головами к широко раскрытыму в сад окну, с поднятыми в потолок открытыми глазами и руками по швам. В половине пятого померили себе температуру. У Валентина Петровича был легкий жар.

— Это от того, что вы испугались, имейте ввиду: никаких волнений не следует испытывать. Смотрите на меня. Вот я, я никогда не волнуюсь и потому выздоравливаю.

Он хотел еще что-то сказать, но тут дверь открылась, на пороге показался худой человек лет 25-ти. На нем был короткий до колен халат. Волосатые худые ноги его были обуты в стоптанные комнатные туфли. Он уставился большими блестящими глазами в Семена Ивановича и пропел:

— Жил был на свете старый чилтафэк! — Пропев это густым голосом, он тотчас же поклонился Валентину Петровичу и вышел.

— Опять поправился, каналья этакая! — воскликнул вне себя Семен Иванович.

— Кто это? кто? — спросил Валентин Петрович.

— Да так, ерунда, он жил со мной когда-то и возненавидел меня, верно за то, что я прибавлял вес, а он убавлял. Писал много и я всегда, бывало, как увижу, что он пишет, сейчас говорю: «пишет, пишет царь турецкий, пишет русскому царю», а он стал мне отвечать на мои слова этой похабной песенкой... Тогда мне, благодаря моим связям, удалось его выставить из моей комнаты.

— Несчастный, — сказал Валентин Петрович, но Семен

Иванович оборвал его: — Хороший же вы друг, если называете несчастным того, кто меня оскорбляет, называя каким-то чилтафэком.

— Ах, извините, но всё-таки мне жаль его: ведь он скоро умрет, по голосу слышно, что у него от легких почти ничего не осталось.

— Ну и черт с ним, надоел, и это не только мое мнение, администрация его тоже не любит. Он страшно неряшливый и самовлюбленный и нахальный: думает, что если он сочиняет что-то в рифму, так все должны преклоняться. Вообще, знаете, наша молодежь вся развратна, только бы им вино да женщины. Вот там в Париже занимался пакостями, а теперь и заболел чахоткой. Что таких жалеть!.. Вот я, я когда был в его летах, был здоров и только и думал, как бы работать на благо родины. А у них, у них, ведь, по правде говоря, неизвестно, где родина — там или здесь. Нет, не люблю я нашей молодежи и вам не советую.

Эта размолвка не помешала дружбе. Молодой человек опять слег. Рассказы Семена Ивановича о прошлом не истощались, будто бы прошлое его было бесконечным. После описания своих богатств, он перешел к описанию своих подвигов, высоких постов, которые занимал в России и даже политики, которую вел для спасения родины.

— Накануне катастрофы и гибели России, я предлагал план спасения, — говорил однажды Семен Иванович, не подозревая, что настоящая для него самого катастрофа уже не за горами. — Но, к сожалению, зависть людская помешала и мой план спрятали под сукно. Да, да, если бы они меня послушались, если бы только исполнили всё, что я говорил, конечно, мы с вами жили бы теперь припеваючи дома.

— В моей болезни есть хорошая сторона, — внезапно сказал Валентин Петрович.

— Какая же? — удивился Семен Иванович.

— А то, что я живу в одной комнате с таким большим и, в свое время непонятным человеком, как вы, Семен Иванович.

Это случилось после ужина. В коридоре стоял высокий старик. Белые усы его торчали вверх, как стрелки часов, без десяти два, белая раздвоенная бородка росла слегка направо, а голову он держал слегка на бок, влево. Лысина его блестела, почти таким же блеском, как и большие стекла очков.

Увидев его, Семен Иванович остановился. Новое лицо тоже из всех проходящих выбрало почему-то Семена Ивановича и тоже остановилось. И вдруг оба старика с протяжным криком:

— Семен Иванович!

— Иосиф Иосифович! — бросились друг другу в объятья.

Валентин Петрович был впервые забыт и, остановившись в стороне, слегка ревнуя Семена Ивановича к новому другу, прислушивался к их разговору. Наконец, когда восклицания встретившихся в таком удивительном положении старых знакомых перешли постепенно в более осмысленную речь, он сделал шаг вперед и, попав таким образом в поле зрения Семена Ивановича, выразил желание познакомиться с его старым другом.

— Ах да, — воскликнул Семен Иванович, — вот мой сосед по комнате. Познакомьтесь.

Валентин Петрович сказал: — Очень приятно, — и протянул руку Иосифу Иосифовичу. Иосиф Иосифович сделал то же самое. После рукопожатия Валентин Петрович пристально и прямо посмотрел в глаза Иосифа Иосифовича и Иосиф Иосифович ответил таким же пристальным, прямым взглядом Валентину Петровичу. И как бы убедившись в честных и благородных намерениях друг друга Иосиф Иосифович и Валентин Петрович по очереди посмотрели в глаза Семена Ивановича и пригласили его этими взглядами быть свидетелем их общего сердечного расположения.

Но Семен Иванович не захотел принять участия в их чувстве и его глубоко сидящие глазки, не выдержав их взглядов, заморгали белыми ресницами, странно забегали и опустились.

— Вы, верно, Иосиф Иосифович, были с Семеном Ивано-

вичем соседями по имению? — прервал неприятную тишину Валентин Петрович.

— По имению? — удивленно подняв над очками брови, ответил Иосиф Иосифович. — Нет-с, у меня никаких-с имений не было.

— Тогда, может быть, служили вместе в полку или в одной с ним дивизии? — Но и тут Иосиф Иосифович выразил на лице удивление и уже поднял брови, чтобы ответить, но ответить не успел, потому что в этот момент в конце коридора показался в своем белоснежном халате фельдшер Владимир Иванович. Он шел, прихрамывая, правой рукою поглаживая белые запорожские усы и под мышкой левой руки держал одеяло и подушку для Иосифа Иосифовича. Увидев, что после звонка трое больных стоят в коридоре и нарушают этим правила, он стараясь придать своему добрейшему лицу строгое выражение и мягкому голосу стальную твердость, крикнул: — По комнатам, господа! Звонок уже был, по комнатам!

Иосиф Иосифович, как новичек, испугался, сделал шаг по направлению своей комнаты, но Валентин Петрович потянул его за рукав. — Ничего, ничего, господа, — сказал он — успеем. Мне хочется знать, где же Иосиф Иосифович служил с Семеном Ивановичем?

— Идем, идем, — засуетился Семен Иванович и в свою очередь потянул за рукав Валентина Петровича, а Иосифу Иосифовичу сказал: — Уходите скорее, у нас, знаете, строго, вам может влететь от фельдшера.

Услышав, что от него может влететь, Владимир Иванович даже рот разинул. Он уже был в двух шагах от компании и как застенчивый и добрый человек был довольно сильно смущен своей властью.

— Вот я вам несу одеяло и подушку, — обратился он к новому больному. И, не успев ответить, Иосиф Иосифович последовал за ним.

Валентин Петрович резким движением вырвал у Семена Ивановича рукав и, теряя самообладание, неучтиво крикнул: — Удивляюсь, как вам не надоест вечно лезть со своим уста-

вом и вечно куда-то спешить. Успеете еще лечь спать, черт возьми!

После чего, оба старика вошли в комнату и начали, молча, раздеваться.

Черная кошка пробежала между ними. Семен Иванович был оскорблен тоном Валентина Петровича, Валентин Петрович чувствовал в поведении Семена Ивановича какую-то фальшь и был очень недоволен тем, что он не дал высказаться Иосифу Иосифовичу.

«Знает же он, что фельдшер совсем не страшный, зачем же он напугал им новичка?», — думал он и не мог дать себе никакого основательного ответа.

Когда старики разделись и улеглись в постели, Владимир Иванович заглянул в их комнату, пожелал им спокойной ночи и потушил свет.

Но вопреки его пожеланию эта ночь и для Валентина Петровича и для Семена Ивановича оказалась тревожной и беспокойной.

Выдуманное для украшения безотрадной жизни прошлое уже давно укрепилось в сознании Семена Ивановича и приобрело права как бы действительно бывшего. И вот при одном взгляде на своего начальника, при одном взгляде на этого Иосифа Иосифовича, он сразу вспомнил ничем не прикрашенную историю своей жизни и сразу потерял всё то, чем жил до сих пор, потерял самое драгоценное, самое важное.

Бывшее богатство превратилось в маленькое жалование, высокие чины в маленький чин чиновника почтового ведомства, планы о спасении России от революции в вечные заботы о пропитании себя, матери и младших сестер. Прежняя нищета и все связанные с нею огорчения выступили перед его глазами с неумолимой ясностью, и было ему так же трудно, как если бы он в действительности каким-то образом потерял свои имения, где добывался молибдэн, и свое высокое положение. И это было еще не всё: горькое разочарование в себе, в своих качествах, конечно, было Семену Ивановичу очень неприятно,

но когда он вспомнил о других обстоятельствах, будто молния сверкнула перед его глазами.

«Весь санаторий узнает теперь, чем я был на самом деле», — подумал он, застонал, повернулся на другой бок и как ни тяжело было разочарование в себе самом, эта новая мысль была для него еще тяжелее.

«Попрошу его молчать, объясню ему — начал было утешать себя Семен Иванович. — Ах, нет, нет, знаю его — говорил ему другой голос — он такой правдивый, прямой. И какой черт принес его сюда! Оттуда, вдруг, за тысячи верст и вдруг — здесь. И почему он, собственно говоря, выехал из России? Не аристократ, не богач», — и казалось Семену Ивановичу, что Иосиф Иосифович только для того и бежал из России, чтобы напакостить ему, как и прежде пакостил на каждом шагу своей правдой и другим и самому себе.

У Валентина Петровича совесть была чиста, но как видно, если у человека нет действительных огорчений, он должен их себе выдумать и, вспоминая до малейших подробностей всё, что касалось его отношений с Семеном Ивановичем, он тоже не спал. Перебирая в памяти свои разговоры, он к своему удивлению увидел, что всё сказанное Семеном Ивановичем, собственно, никогда не бывало по своему смыслу выше фразы: — сегодня я хорошо покушал, борщ был вкусный. Он вспомнил его рассказы об имениях, чинах, о плане спасения России от революции, и увидел теперь, что ничего этого никогда не было и не могло быть.

«Разве не ясно было: кто он? Какой-нибудь маленький чиновник, вот и всё», — думал он, ворочаясь в постели и никак не находя удобного положения своему усталому телу. Неприятно быть обманутым и, особенно, когда обманывает тот, кого считаешь прекрасным человеком, и Валентин Петрович, чувствуя себя в дураках, был подавлен своим разочарованием в Семене Ивановиче. Теперь он понимал, как нехорошо держал себя по отношению к другим больным, среди которых, может быть из-за самозванца потерял истинных друзей. А когда вспомнил, как принес ему его деревянные «сабо», покраснел

в темноте и не знал, как будет завтра смотреть в глаза людям. Теперь ему было ясно, что совсем не из-за прежних заслуг перед родиной, администрация ставит Семена Ивановича на первое место.

Приближалось утро, за окном стало безмерно печально, в комнатах посветлело. Пора было закрывать окно. Валентин Петрович, по привычке, хотел сделать это, уже высунул было ногу из-под одеяла, но тут же спрятал ее назад.

«Пусть сам встает и закроет, если ему хочется, не велика шишка», — решил он и, повернувшись на спину, сделал вид, что спит.

Семен Иванович лежал лицом к стенке, но чувствовал, что Валентин Петрович притворяется спящим только для того, чтобы не закрывать окна. Он тоже высунул было уже ногу из-под одеяла и тоже тотчас же спрятал ее, рассуждая, что закрыв окно, даст Валентину Петровичу почувствовать свою слабость и этим нанесет своему самолюбию сильный удар.

Владимир Иванович, как всегда, на всякий случай, заглянул к старикам и — глазам не поверил: против обыкновения, окно не было закрыто. Валентин Петрович с закрытыми глазами лежал на спине, Семен Иванович — на боку, лицом к стенке, и оба они были бледны и неподвижны.

«Не умерли ли?» — подумал он и взял руку Валентина Петровича, но рука оказалась теплою, пульс работал normally.

— Что, проспали? — спросил он и, не желая выдать тревоги за их жизнь, покрыл свои слова смехом.

Когда он говорил: проспали — открыл глаза Валентин Петрович, когда засмеялся, открыл их Семен Иванович.

Владимир Иванович заметил нечто нехорошее в их лицах. Он любил развеселить, возбудить в больных веселое настроение и, закрыв окно, рассказал им, как на дороге заснул, выпивши лишнее, хохол, и как утром едет другой хохол и кричит: эй, дядько, убери ноги с дороги, а тот, спящий, проснулся, протер глаза, посмотрел на свои ноги и отвечает — це не мои ноги, бо мои булы в новых чоботах.

Но ни Семен Иванович, ни Валентин Петрович даже и не улыбнулись. Тогда фельдшер вспомнил, что забыл рассказать самое главное и стал объяснять, что у пьяного воры украли сапоги. Анекдот стал как будто более ясным, но всё-таки кроме самого Владимира Ивановича никто не засмеялся.

Повернувшись друг к другу спинами, старики молча одевались.

Семен Иванович опередил Валентина Петровича, первым шмыгнул в умывалку, быстро умылся и первым спустился в столовую.

На стеклах окон дрожали капли дождя, в пустой комнате пахло мышами, горела лампочка и ее раскаленная середина красным червячком отражалась в окне.

Заложив руки за спину, Семен Иванович стал ходить между столами. Вскоре в комнату по одному, по два, по три вошли больные. С ним почти никто не поздоровался и он оставался равнодушным свидетелем их появления, но когда появились в дверях усы, борода и лысина Иосифа Иосифовича, а за ними и его высокая, сухая фигура, Семен Иванович просиял и потеряв всю свою величавость бросился чуть ли не бегом ему навстречу.

— Как спалось дрожайшему Иосифу Иосифовичу? — спросил он, тряся двумя руками его жилистую крупную руку.

— Спасибо, хорошо — ответил Иосиф Иосифович.

— Ну, а что хорошего? — не унимался Семен Иванович.

— Аппетит хороший, на воле это плохо, а здесь, говорят, хорошо.

— Да, да, конечно хорошо! хорошо! признак выздоровления, и какой верный!

— Да что вы? — откинулся назад корпусом и головой Иосиф Иосифович — правда?

— Сущая правда, поверьте опытному человеку, я знаю болезни, как свои пять пальцев, лучше любого доктора. — И так, суетливо и угодливо поддакивая своему бывшему начальнику, Семен Иванович взял его под руку, с видом заговоршика, отвел в сторону и полушепотом сказал:

— Иосиф Иосифович, дорогой мой, мне нужно с вами поговорить с глазу на глаз, дело важное, очень важное, как для...

— Ну, говорите.

— Видите ли, старым одиноким людям здесь очень трудно: все стараются вас рассердить, ни за что ни про что обидеть, посмеяться над вашими сединами. Об уважении к старшим и речи не может быть. Я лично всё испытал и заметив, что ничего не помогает, я в своем прошлом изменил кое-что к лучшему. Советую и вам так сделать. У вас и наружность подходящая, скажите, что вы генерал, и увидите, вас начнут немного больше уважать.

Сказав это, Семен Иванович изобразил на своем лице сочувственную улыбку, но Иосиф Иосифович смотрел в одну точку и молчал.

— Пожалуйста, сделайте это для меня, — опять заговорил он с просьбой в голосе, — ведь я добра вам желаю... Подумайте, если вы не были генералом, разве это мешает вам сказать, что вы были генералом? Не дадут же вам за это командовать дивизией?

— То есть, как же так, — заговорил наконец Иосиф Иосифович, — мне не с руки говорить то чего не было, я так могу попасть с бухты-барахты впросак. А вдруг спросят, вернувшись в Россию, знакомые и узнают. Нет-с, хоть я с вами и на дружеской ноге, не могу-с, нет-с, увольте-с, дорогой.

Слова эти тяжелыми камнями падали на сердце Семена Ивановича. — «Я так и знал, — думал он, — этот старый идиот не понимает ничего, не понимает и никогда не поймет, как нужно жить». — И покраснев так, что даже его выстриженная голова порозовела, он увидел Валентина Петровича. Дорого дал бы теперь Семен Иванович, чтобы сесть на другой какой-нибудь стул. Но все стулья были уже заняты и оставалось только одно, выпрошенное когда-то место рядом с Валентином Петровичем.

Садясь рядом с ним, он чувствовал большую неловкость, чувствовал также и то, что если он еще не понял, о чем говорили они с Иосифом Иосифовичем, то, конечно, вскоре поймет

по его сконфуженному, виноватому виду; но не мог найти в себе достаточно мужества, чтобы побороть эту, пагубную для своего высокого прошлого, растерянность. И действительно Валентин Петрович всё понял и ему даже стало жаль старика. «Что-же, — думал он, видя как у него дрожат руки и как забывает он жевать по шестьдесят раз, — немного изменил к лучшему свою прошлую жизнь, пусть теперь покается, пусть признает теперь, что я был гораздо выше, чем он, и я всё прощу».

В комнате Семен Иванович занялся пересмотром своего белья, а Валентин Петрович, желая выяснить отношения, долго не знал, с чего начать, наконец решился.

— Что это вы всё, Семен Иванович, молчите сегодня и надулись, как мышь на крупу?

— А потому, — ответил Семен Иванович, делая усилия над голосом — потому что вы забыли, с кем имеете дело: окна утром не изволили закрыть, почему-то меня не замечаете, будто я перестал существовать, вообще нахожу ваше поведение двусмысленным.

— Чем же?

— А вот, вы всё допытывались у Иосифа Иосифовича, сосед ли он мой по имению, служил ли со мной в армии, что-ж, вы мне не верите что ли? Впрочем, такова моя судьба: мне в свое время и министры не поверили и вот видите, чем кончилось, крахом, гибелью всей России...

Валентин Петрович хотел помириться, но ожидал совсем другого разговора, сначала он слушал со вниманием, потом со смущением и наконец при последних словах своего друга не мог удержаться от смеха.

— Ха, ха, ха! — хохотал он, будто кто-то резал ножницами накрахмаленное полотно.

— Чорт знает что такое, прямо безобразие какое-то, — только и мог произнести Семен Иванович и, задохнувшись от злости и кашляя, повалился на постель.

Кашель не отпускал его долго и, казалось, готов был вы-

вернуть Семена Ивановича наизнанку. Он налился кровью, на его губах показалась пена и хлынула горлом кровь.

Взглянув на него, Валентин Петрович испугался:

— Что с вами? Что, что? Простите, ради Бога, — забороматал он, остановившись у постели.

— Оставьте меня, — ответил Семен Иванович, — оставьте! Я и по происхождению выше вас! Поняли? Убирайтесь же наконец к черту!

Валентин Петрович пулей выбежал из комнаты. Он долго искал по всему дому Владимира Ивановича и наконец нашел его в той комнате, где жили теперь Иосиф Иосифович с тем молодым человеком, что пел Семену Ивановичу песню и которого все почему-то называли без имени и фамилии, просто поэтом.

Владимир Иванович сидел на стуле у изголовья этого высохшего, обросшего бородой человека, держал в руке тетрадь и читал:

«Исписывай ровно столько бумаги, сколько тебе нужно для оберток, вытирания бритвы и других практических дел. Стихи для меня, что песок для страуса. Семья и музя вечные враги. Галстуки придумали, чтобы очки протирать. Во мне живут Бунин и Ходасевич. Ум, ненависть, мудрость: — любовь, чувство, ошибка. Когда умирать — не имеет значения, но лишний день жизни дороже всего прошлого. Не важно, начать жизнь хорошо, а важно — хорошо кончить. И на косогоре ровные деревья растут...»

— Здорово вы написали, — добродушно улыбнулся Владимир Иванович, — я так не могу! — Поэт посмотрел на него как-бы прозрачными глазами на почти прозрачном лице и тоже улыбнулся. — Ну, это не всё, читайте дальше: еще интереснее будет! — и Владимир Иванович, поправив съехавшие очки, продолжал:

«Самые лучшие стихи я написал тогда, когда чего-нибудь испугался...»

Вдруг дверь распахнулась и, прерывая приятный для большого и для фельдшера тэтатэт, влетел Валентин Петрович.

—Скорее, скорее, ради Бога, у Семена Ивановича пошла кровь! — закричал он.

Поэт пошевелил бородой и белыми, как после уксуса, губами, сдвинул брови и наконец, как нечто давно забытое, вспомнил.

— А, это тот злой старикашка! — и казалось, напряжение памяти и слова эти отняли у него последние силы.

Поднялась суматоха. Владимир Иванович, прихрамывая, выбежал из комнаты, за ним побежал Валентин Петрович, раздались тревожные звонки. В комнату Семена Ивановича прибежал еще один фельдшер, доктор. Ему сделали останавливающий кровотечение укол, положили высоко на подушках и обложили грудь льдом.

Но и Валентину Петровичу не прошли даром волнение и беготня. Он кашлянул, заметил на своем платке кровь и так испугался этих красных пятен, что слег и у него поднялась температура.

Несколько дней жизнь стариков была в опасности, но благодаря вниманию и неустанному уходу за ними Владимира Ивановича они начали понемногу выздоравливать. Болезнь словно залитый водой огонь ушла вглубь, оставляя только подозрительный жар, небольшой, 37,7 по вечерам.

Иосиф Иосифович приходил навещать больных. Он обыкновенно садился на постель Семена Ивановича, раскрывал газету и, молча, читал. Валентин Петрович пробовал с ним заговорить, но он отмалчивался, отмалчивался и тогда, когда пробовал заговорить Семен Иванович.

Однажды, когда к нему привязался с каким-то вопросом Валентин Петрович, Иосиф Иосифович ответил: — Да что это вы пристали? Мне фельдшер запретил говорить о прошлом, а я с бухты-бахромы могу что-нибудь сказать, попаду впросак и Семен Иванович еще хуже на вас рассердится и заболеет.

— Значит вы, молча, занимаетесь ложью?

— Я — ложью? Я никогда-с... будьте добры взять слова-с ваши-с обратно-с!

— Никаких слов я не возьму, но вам, на старости лет, стоять за самозванца нехорошо.

— Позвольте-с, я ничего не стою, я только исполняю предписания администрации.

— Иосиф Иосифович, ради Бога, оставьте его, он сумасшедший, оставьте! — взмолился Семен Иванович.

После этих слов, в комнате пошел такой разговор, что никто уже ничего не мог понять, все три старика кричали, ма-хали руками. Валентин Петрович даже вскочил с кровати и ходил в длинной рубашке, на тоненьких, как у аиста, ногах, по-трясая кулаками, то перед Иосифом Иосифовичем, то перед Семеном Ивановичем, взвизгивая на высоких нотах.

Вскочил и Семен Иванович и они, вероятно, подрались бы, если бы на их шум не прибежал фельдшер.

Он взял Валентина Петровича под руки и вывел его в ко-ридор и стал его увещевать:

— Зачем вы это того, не стоит так ссориться из-за прошлого, разве важно, кто чем был, важно чем кто есть теперь, а не был. Поймите, и вы больны, и Семен Иванович болен, прежде всего нужно лечиться, а не думать о прошлом. Слушайте, поми-ритесь с ним.

— Не в этом дело, Владимир Иванович, не в этом дело, по-нимаете, я и хотел помириться, всё простить, но при условии, чтобы он не садился мне опять на шею, а он вдруг: почему, мол, я окна не закрыл, лакея нашел! и лакей-то, оказывается, гораз-до выше, чем он сам в прошлом.

В комнате в это время Иосиф Иосифович говорил:

— Семен Иванович, зачем вы изменили свое прошлое к лучшему, вот и попали впросак.

— Бросьте, вот вы не изменяли и увидите, как вас будут третировать, — проговорил Семен Иванович.

— Пока что не замечаю.

— Так вы без году неделя здесь, подождите, с кем живете?

— С поэтом.

— А это с тем, что поет про меня? О, какой ужас! Слу-шайте, переходите лучше ко мне.

— Нет, мне не с руки с вами жить, мне и там хорошо. Я уже с ним на короткой ноге. Он говорит: Иосиф Иосифович, дайте мне папироску, дам ему, затянется раз-два, закашляется, — ну, спасибо, говорит, выручили.

— Это оттого он так присмирел, что скрутила его болезнь, вот подождите, поправится — зальет он вам сала за шкуру. Право, переходите. Я устрою это...

— Прошу, господа, по местам, — сказал, входя с Валентином Петровичем, фельдшер.

Больных взвешивали каждый понедельник, и время для них так быстро шло, что они не успевали оглянуться, как нужно было идти в медицинскую на весы. Чтобы знать точный вес, взвешивали всегда утром перед завтраком, натощак.

Семен Иванович, после своей болезни, никак не мог поправиться и вот уже несколько недель подряд терял в весе. У него получался даже, в некотором роде, порочный круг: теряя вес, он волновался, что опять потеряет и потому что слишком волновался, действительно терял. И вот однажды желая перехитрить самого себя и показать своему врагу, Валентину Петровичу, свое превосходство, Семен Иванович, перед взвешиванием, съел несколько помидоров с хлебом. И когда очередь дошла до него, почти не сомневаясь, что наконец-то и он прибавит, смело стал на площадку весов.

Владимир Иванович наклонился, поправил очки и стал передвигать медную гирьку по коромыслу с цифрами.

— Сколько? сколько? — торопился Семен Иванович. — Что это вы так долго!

Наконец зубцы, чуть-чуть качаясь, остановились друг против друга. Владимир Иванович еще ниже наклонился и сказал:

— 48 кило, 300 грамм.

— Да что вы! Не может быть! Как же так, неужели я опять потерял 450 граммов?! Посмотрите, посмотрите получше!

Зная какое значение придает своему весу Семен Иванович, Владимир Иванович хотел нарочно прибавить, но второй фельдшер, который записывал в книгу цифр, встал и посмотрел.

— Совершенно верно, — сказал он и опять уселся за стол.

Следующий больной прибавил как раз 450 граммов и Семену Ивановичу показалось, что он его обокрал. И как ему ни было противно самодовольство прибавляющих и как ни ненавидел он их, всё-таки оставался в медицинской, чтобы облегчить свою рану тем, что и Валентин Петрович теряет.

Наконец стал на весы и Валентин Петрович. Он тоже с тех пор как закашлял кровью всё терял и терял в весе и тоже попал в порочный круг, из которого тоже не хотел выйти и потому пошел утром в сад и положил себе в карман небольшой камень.

— Молодец! Вот это я понимаю, — обрадовался фельдшер, — целых семьсот грамм прибавил, поздравляю.

Слова эти буквально убили Семена Ивановича. Не видя никого, не замечая ничего, он смутно чувствовал, что идет по лестнице, ложится в постель, укрывается одеялом и закрывает глаза.

Но и Валентину Петровичу не помогла хитрость, он помнил о камне и не зная действительного своего веса, мучась сомнениями, терял аппетит и худел.

Солнце стало вставать раньше и ложиться позже. Пришла весна. Зацвели в саду яблони, сливы, над ручьем, за оградою санатория зазеленели вербы. Начались дожди. По ночам, в окнах дрожал синий свет, гремело, тяжелые капли стучали по крыше и ровным шумом шумели в саду.

Однажды, сквозь этот шум и сон, больные услышали тяжелый топот нескольких ног в коридоре. Открыв глаза, Иосиф Иосифович увидел белые халаты доктора и фельдшеров, он

подумал, что это, как всегда, делают укол камфоры его соседу и, повернувшись к стенке, крепко заснул.

А утром, открыв глаза, увидел, что постель поэта пуста. Он долго не знал, чему приписать его исчезновение, но вдруг сердце его похолодело и по этому холоду он понял истинную причину пустоты.

В столовой было как-то особенно сумрачно, на всех лицах лежала печать знания. Все были как-то особенно серьезны и даже обычные шутники притихли. Иосиф Иосифович нашел глазами Семена Ивановича и Валентина Петровича, теперь они сидели за разными столами.

Пить кофе и есть хлеб с маслом ему не захотелось. И вообще он не мог понять, как они все по-прежнему едят и сидят в столовой, когда есть нечто такое о чем и подумать страшно и, повернувшись на каблуках, он вышел в сад и по мокрым дорожкам, не замечая луж, стал ходить вокруг огорода.

Не услышал он и звонка на «кюр», только Валентин Петрович нашел и поймал его и привел в комнату.

У Иосифа Иосифовича промокли ботинки, у него начался жар, он надолго слег в постель.

Поправился он только в середине лета. Смерть во время его болезни хорошо погуляла по санаторию и в комнате Семена Ивановича и Валентина Петровича были совсем новые люди: испанец и араб. Таким образом, даже язык был не тот и... всё переменилось до неузнаваемости.

Поправившись и окрепнув, Иосиф Иосифович захотел навестить могилы своих знакомых.

Выбрался в дорогу он рано утром, сейчас же после завтрака. Прошел дорожку сада, вышел в ворота. Дорога шла низом по покрытым белыми цветами лугам, названия цветов он не знал, но любовался ими, как может любоваться только тот, кто выздоравливает после тяжелой болезни.

Потом начался подъем, он часто отыхал на каменных, выбеленных мелом, придорожных столбиках. Прошел через небольшую деревушку с каменными домами и черепичными кры-

шами. Встреченные им люди смотрели на него с тем холодным любопытством, с которым смотрят коренные жители на бродяг.

Кладбище было обнесено каменной оградой, широко распахнутые ворота, казалось, замерли в пригласительном жесте. За ними росли высокие деревья. Посмотрев со света в их тень, он увидел, как сквозь густую листву, будто из каменных фонариков, бьют тонкие лучи солнца и на песчаной дорожке темным кружевом шевелятся тени широких веток.

Он вошел в ворота, в прохладу, в тишину, и долго шарил глазами по группам крестов. Наконец увидел еще не успевшие покрhnеть деревянные кресты и подошел к ним.

Семен Иванович лежал посередине, справа от него был поэт, слева Валентин Петрович. Все три могилы осеняла одна и та же широкая ветка липы, на всех трех холмиках росла одинаковая трава. Три усохших венка висели на нижних перекладинах крестов.

На могилах горели пятна солнца и, глядя на них, Иосиф Иосифович думал:

«Теперь они не ссорятся». Потом ему стало неприятно быть одному на кладбище и, повернувшись, он пошел прочь.

Из ворот увидел вдали белый дом санатория, зеленый сад, в саду будто полоска снега белело стадо гусей.

«Скоро будет звонок», — вспомнил Иосиф Иосифович и ускорил шаги.

A. Величковский

В ОКРУЖЕНИИ

ТЕМНАЯ НОЧЬ

Это было в августе 1942 года. Шла кровопролитная война. Остатки частей армии генерала Белова скрывались в лесах Смоленщины. Всю зиму армия действовала в немецком тылу, окруженнная сильным и жестоким противником. Задание Москвы — прорвать линию фронта и соединиться с основными частями 50-й армии — оказалось невыполненным. Не помогли и несколько воздушно-десантных корпусов. Уже в конце апреля крупные силы немцев начали наступление и после нескольких тяжелых боев армия Белова оказалась разбитой. Только отдельным незначительным группам с большими потерями удалось перейти линию немецкой обороны в районе Милятино и соединиться со своими частями.

Тысячи советских солдат и командиров были убиты на «Варшавке» (Варшавском шоссе) при попытке перейти на другую сторону дороги. Трупы убитых долго не убирались, зловоние наполняло окрестность. Люди бродили в немецком тылу в одиночку и группами и умирали медленной голодной смертью. Немцы ловили красноармейцев и расстреливали, как партизан, не доводя до штабов. Остатки армии, рассеянные по лесам Знаменского, Всходского, Спас-Деминского и других районов Смоленской области, попали в безвыходное положение. Запуганное и разоренное местное население голодало. Эпидемии захватывали целые деревни.

Но такое время рождало не только врагов, но и друзей. Общее несчастье связывало людей, делая их незабвенно-преданными другу другу. Именно такая дружба и спаяла капитана Григория Морева со связистом Аркадием Боровским.

Капитан Морев, командир ударного батальона полка «Жа-

бо»¹, был молод, светловолос, среднего роста, с открытым большим лбом. Его хорошее сложение и стройную походку нельзя было не заметить даже теперь, когда уже более года он прожил в лесу, в голоде и холода. Небритое лицо его было спокойно. Крайне обессиленный, он всё же старался ходить как можно бодрее, хотя часто останавливался и, обращаясь к Боровскому, говорил:

— Ну, куда, друг, спешишь?.. К теще в гости, что-ли? Всю землю не исходишь...

— Давай малость отдохнем... — отвечал Аркадий, высмотривая удобное место.

Старшего лейтенанта-связиста Аркадия Боровского знал не только полк, но все читатели еженедельной армейской газеты «За родину». В каждом номере можно было найти стихи и рассказы Боровского. В этих стихах и рассказах всегда было что-то особенное, неуловимое, но близкое сердцу солдата — вера и надежда, что наше дело правое, а коль так, победа будет за нами. А за победой — новая жизнь.

Густые черные волосы Боровского еще более оттеняли его худобу. Голова его казалась большой и неуклюжей, а ка-

¹ Матвей Трифонович Жабо — командир полка, входившего в состав армии Белова. За боевые заслуги у озера Хасан и в Финляндии имел два ордена. В начале войны был отозван из Московской Академии имени Фрунзе для выполнения специального правительственного задания. Окруженная немецкая армия Белова была подкреплена несколькими воздушно-десантными корпусами и продержалась в тылу немцев до мая 1942 года. С наступлением теплой погоды немцы начали «прочистку» лесов. 5 мая 1942 г. полк Жабо был выведен из резерва и после ожесточенных боев разбит. Жабо вылетел на единственном имевшемся самолете в Москву, где к этому времени был и генерал Белов. После личной беседы со Сталиным Белов был награжден и отправлен в Среднюю Азию для формирования новых дивизий. За несколько месяцев до разгрома армии Белова автор настоящего очерка был послан командующим 50-й армией в распоряжение оперативной группы полка Жабо для установления взаимосвязи. Там, в тылу немцев, он и пережил трагедию разгрома армии.

рие глаза глядели то рассеянно, то задумчиво, но сразу принимали другое выражение, как только он начинал читать стихи Клюева, Орешина, Есенина и других крестьянских поэтов. Слушали Боровского всегда охотно. Иногда на привалах друзья просили:

— Прочти что-нибудь из Зощенко. Хоть сердце и плачет, да пусть душа посмеется.

Но рассказы Зощенко Боровский читал неохотно, да и не умел.

— Юмор нас, братцы, мало чему учит... О жизни думать надо...

Прошло уже несколько месяцев, как Морев и Боровский жили неразлучно в лесу, ища «путь-дорожку на свободу».

На этот раз друзья расположились у старых, полуразрушенных блиндажей. Морев остановился первый и небрежно бросил на траву свою походную сумку-рюкзак. Боровский смотрел на него мягко, доверчиво.

— Дошел я, братец, как говорится, до ручки, — проговорил Морев. — Ну, что смотришь? Садись. Лучшего места для ночлега не найти. А солнце, вишь, к заходу клонится.

Боровский молча сел на обрубок сухого пня, держа на коленях трофейный автомат.

— Прочти что-нибудь такое, про твою «хорошую страну», — сказал Морев. — Давно ты что-то не читал. И писать стал редко.

Немного подумав, Боровский начал:

Для тебя, используя затаище,
Я прочту о Родине стихи.
Но скажи мне, отчего не слышно,
Как поют в деревне петухи?
Отчего, о прошлом вспоминая,
Ты сидишь, поникнув головой?
Где твоя винтовка боевая,
Где недавний парень боевой?

Морев поднял голову, слова эти доходили до его сердца.

Когда Боровский кончил, Морев, укладываясь на плащ-палатке, заговорил:

— Да, война и петухов не милует. Им первым от немцев досталось. В Каменке, сказывают, как только вошли немцы, за один день всех кур перебили. А один петух был неуловим. Стреляли в него целым взводом и не могли попасть, но зато, вместо петуха, нечаянно подстрелилиunter-офицера. И как толькоunter-офицер упал мертвым, петух взлетел на крышу и громко, как бы издеваясь, закричал: «Ку-ка-ре-ку»... И сразу все жители Каменки поняли: немцы проиграют войну.

— А после этого — петуха казнили, — проговорил Боровский, — у меня об этом рассказ написан. И казнь была ужасная: пойманного петуха подвесили за одну ногу. Так бедняга на веревке и кончился. Это — наказание заunter-офицера.

Друзья лежали на траве, прикрывшись цветной, маскировочной плащ-палаткой. Вечерняя августовская прохлада наполняла молодой сосновый лес. Невдалеке проходило шоссе, по сторонам которого чернели полуразрушенные блиндажи. Это было самое лучшее место для укрытия. Вскоре наступила густая лесная темнота. На востоке алео зарево. Морев лежал, прислушиваясь к гулу проходивших невдалеке автомашин. Над лесом трещал самолет.

— Слышишь? «У»-2 летит. Шумит, как примус. Видно разведку делает. Не думают ли начинать наступление?

Боровский приподнялся, поправил на голове шапку-ушанку, остаток зимнего обмундирования.

— А куда они наступать будут?

— Кавказ у немцев. Да и Сталинград наверное уже сдали, — подавленным голосом отозвался Морев. — Так или иначе, а дело идет к концу... Да и пора кончать... Надоело...

Боровский приподнялся, поправил на голове шапку-ушанку.

— Сам подумай, — продолжал Морев настойчиво, — как долго мы будем жить по-волчьи? Ведь, как звери, щетиной заросли. Зайдешь в село, людей перепугаешь.

Чтобы разогнать мрачное настроение Морева, Аркадий

лег к нему поближе и тихо запел партизанскую песенку Леонида Утесова:

Вот когда прогоним Фрицев,
Будет время, будем бриться...

Морев, равнодушно слушая, лежал на спине.

Я не беспокоюся:
Пусть растет до пояса.

Морев приподнялся и начал выворачивать карманы куртки-телогрейки, бережно собирая содержимое в ладонь.

— Вот выкуrim последнюю и пойдем на Каменку.

Он спустился в старый полуразрушенный окоп, чтоб прокурить «козью ножку». Оттуда донесся его голос:

— Не могу же я землю есть... Вот если бы я был червяком, тогда другое дело: полезай в землю и живи, конца войны дожидайся.

— Да, для червей теперь пиши в достатке, — проговорил Аркадий.

Высоко летевший самолет сбросил несколько осветительных ракет над Спас-Деминском. На чистом звездном небе показались огненные вспышки. Послышалось несколько выстрелов. Как детские хлопушки, глухо рвались снаряды немецких зенитных батарей. Тихо зашумел лес: подул предрассветный ветер.

— А к Марковне в Каменку податься — неплохое дело. Я-то ее не знаю, но слышал от Шаповалова², что в Каменке есть свои люди, — начал Аркадий.

— Да, она выручала, — подтвердил Морев, — от своего рта отрывала для нас. Золотая душа у этой женщины. Только вот беда: в Каменку нам дорога закрыта: там ведь Шаповалова схватили и теперь немецкий штаб расквартирован.

— Да там же ни одной избы не осталось, одни землянки.

— Они теперь и землянок не боятся, обжились.

— Гриша, а что я тебе скажу...

² Начальник штаба полка Жабо.

— Ну?

— Да вот, насчет Жуковки. Не податься ли туда? Если не найдем «Деда»³, двинемся на Брянск. Места знакомые. А там какие-нибудь две сотни верст и — родная хата... У меня две сестры в деревне живут. Уж они-то нас укроют.

Несколько минут Григорий молчал: не то дремал, не то о чем-то думал.

— Это всё равно, что добровольно сдаться, — сказал он, — даже глупый теленок не станет выбирать себе мясника. Пулю в затылок можно получить и здесь. Подумай лучше. До Жуковки сто верст будет. А там Брянск — место густо населенное. А за Брянском еще двести верст. На дорогах везде немцы. Они тоже не ворон считают, знают за чем надо смотреть.

— Не беда. Немцы в гостях, а мы дома... Под носом проползем, не первый раз.

— Хорошо, а чем питаться будем?.. Там ведь Марковны нет.

— В России Марковна — не одна! Найдутся и там!

Морев помолчал. Каждый думал свою думу. Мысли путались, сбивались. Главная преграда: немцы за спиной, хозяева нашей земли. Мы здесь чужие, никому ненужные. Страна забыла о нас. Забыло правительство, забыла так много обещавшая партия.

Друзей начал одолевать предрассветный сон. Но, как бы опомнившись, Морев заговорил снова:

— Хорошо. Сделаем еще одну попытку пробраться в Каменку. Там откроем наши планы Татьяне Марковне, попросим ее приготовить нам какой-нибудь «жвачки» — это и будет нашим дорожным провиантом.

Морев повернулся в сторону Аркадия и тяжело вздохнул:

³ Дед, — директор неполной средней школы. Во время войны, по приказу правительства, возглавлял крупный партизанский отряд, действовавший, главным образом, в Брянских лесах.

— Эх, полежать бы у тещи на печке!.. Вот бы была благодать!..

— Тебя и сон не берет, — откликнулся Аркадий.

— А не придется ли нам сдаваться на милость победителя, — почти шепотом сказал Морев, — от предназначеннаго ведь не убежишь...

Боровский молчал. Мысль — добровольно сдаться немцам была для Аркадия непривычной, неожиданной... Может быть немцы и не расстреляют, — думал он, — но всё равно замучат в лагере. Ему припомнились два военнопленных, с которыми совсем недавно встретились в лесу. Они чудом убежали из Александровского лагеря, расположенного в 60 километрах, к востоку от Рославля, на московском шоссе. Они были живые мертвецы. А как была изорвана и изношена одежда! С какой жадностью они набросились на ржаные колосья у костра!

— Нет, дружок, быть нам в лесу, — тихо проговорил Аркадий, — немецкий хлеб колом в горле станет... Распухнешь и с места не сдвинешься... Знаем мы их хлеб, хотя, по сути дела, и хлеб-то наш и земля наша, да только мы же оказались унтерменшами.

— А всё-таки нет правды на земле. Когда думаю о жизни, мне кажется, что люди чего-то не знают, чего-то не допонимают, — спокойно, ровно и тихо говорил Морев. — Помнишь майскую листовку немцев? Ведь там же была написана правда: «Не жди помощи от Москвы. Ты ей теперь не нужен. Она уже давно смотрит на тебя, как на живое мясо».

— Да, только это ведь одна сторона правды. Другая сторона: Берлин тоже смотрит на тебя, как на живое мясо. Для немца русский — не человек.

Как бы не слыша друга, Морев продолжал: — Действительно, с нами, как с людьми не считались. Мы бывало сухарей просим, а нам с самолетов ордена да газеты бросают... Вот я их два имею, а какой от этого прок?.. Сегодня я смотрю на все эти вещи иначе. Хватит. Мы не дети. Довольно с нас московских игрушек!

Морев повернул голову в сторону Боровского, как бы

ожидая ответа. Но тот молчал. Григорий тяжело вздохнул, глухо и сдержанно кашлянул в руку, как бы спрашивая: «Что ж, Аркадий, молчишь? Разве тебе не больно?» Аркадий не знал, что ответить своему другу — коммунисту, воспитаннику Ленинградского Института имени Герцена, а теперь советскому командиру.

— Страшные слова ты говоришь, Гриша, — почти шепотом сказал Аркадий.

Морев не ответил.

Друзья молчали. Ночь сгущалась перед наступлением рассвета. Боровский знал, что капитан не спит. Он неподвижно лежал на спине и смотрел на небо. Это была его обычная поза, когда он думал. Из кустов тянулся холодный, ядреный воздух. Бесшумно пролетали совы. Аркадий встал и прошелся вокруг блиндажа, чтоб размять ноги. Подойдя к Григорию, он сказал:

— Не спиши? Всё думу думаешь?

— Что ты хочешь сказать? — нетерпеливо спросил Григорий.

— А я хочу сказать то, что ты хотел от меня знать. Твои взгляды я разделяю, но к немцам добровольно не пойду. Я просто боюсь их. Ведь это же зверь, а не народ.

Смотри, чтоб не было роковой ошибки, — пробормотал Морев и встал. Он так же прошелся вокруг блиндажа, вглядываясь в узкую дорожку, ведшую к шоссе, потом сел и тихо затянул:

Темная ночь. Только пули свистят на степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тихо звезды мерцают...

Певучий голос прерывался и снова дрожал, наполняя Аркадия тоской и каким-то сожалением. Горькое, непонятное чувство, больное до слез, было приятно Аркадию. И когда Григорий начинал напевать сочным басом, ему хотелось подтянуть:

Темная ночь. Ты любимая, знаю, не спиши
И у детской кроватки тайком
Всё слезу утираешь...

Аркадий не мог разобрать, плакал Григорий или пел. Он знал, что жена и мальчик Григория остались в Ленинграде. Пережили ли они страшную блокаду?..

— Счастлив ты, дружок, ты — как птица небесная: заботы мало. Хороша семья, когда все вместе. А когда где-то должны страдать жена и ребенок, это всё равно, что у птицы отнять детей и бросить ее в клетку... И опять-таки: за что?.., — проговорил тихо Морев. Помолчал и снова тихо запел, снижая голос почти до шепота. Но вдруг Морев оборвался на полуслове и, быстро повернувшись к Боровскому, сказал:

— Я верю в чудо. На рассвете пойдем в Каменку. Если Татьяна Марковна поблагодетельствует, двинем на Жуковку. Может быть еще повоюем!..

Как бы в ответ на слова Морева, на востоке протяжно и глохко ухнуло дальнобойное орудие. Через минуту так же протяжно, но резко послышался разрыв снаряда.

ШУМИТ ЛЕС

Как приятно, свежо в лесу ранним августовским утром! На траве и кустах — роса. Верхушки деревьев золотятся солнцем. Размеренно-четко стучит красноголовый дятел.

Морев и Боровский шли через густой смешанный лес, сокращая дорогу на Каменку. Морев тяжело дышал, еле поспевая за своим другом. Он часто останавливался, выбирая удобное место чтобы присесть отдохнуть. Он почти не разговаривал. Аркадий пытался разогнать его мрачное настроение веселыми рассказами из студенческой жизни, утешал добрыми надеждами на лучшее будущее:

— Мир учится на ошибках. После войны жизнь пойдет по другому... Вот только бы выжить...

Но Морев молчал. Аркадий видел, что он занят теми же мыслями, что высказывал ночью. Друзья прошли около десяти верст. Густая чаща леса скрыла от них тропинку. Они пошли на юг, ориентируясь по компасу. Ветвистые ели, старые сос-

ны чередовались с тонким высоким осинником и белыми, словно молоком облитыми березами. Вскоре друзья оказались вблизи узкой просеки, не обозначенной на карте. Дальнейший путь был хорошо им знаком. Просека выходила к каменским лугам, через которые протекала узкая, но глубокая речушка Снопоток, приток Десны. На опушке леса выделялась старая осина, в дупле которой стоял небольшой глиняный кувшин. Это был «почтовый ящик», из которого Боровский много раз получал донесения через местную учительницу. Но с тех пор, как закончились военные операции, почтовый ящик был всегда пуст. Связь с населением порвалась. Сельскую учительницу, Зинаиду Павловну, расстреляли немцы.

Солнце высоко стояло над головой, когда друзья оказались у изрытой лисьими норами, знакомой им поляны. Месяц тому назад, не выдержав ужасов лесной жизни, на этом месте застрелился молодой журналист, корреспондент «Красной Звезды», Иван Тарасов.

Морев подошел к могиле Тарасова, снял шапку и долго стоял, молча, словно читал про себя надгробную молитву. Аркадий смотрел на небольшой холмик еще свежей земли. К столбику была прибита дощечка с выжженной, еле заметной, надписью:

Иван Тарасов
Закончил войну 19. 7. 42.

— Посидим, отдохнем малость, — предложил Аркадий. Но Григорий и не собирался идти дальше. Он сделал несколько шагов в сторону, снял с плеч опустевшую походную сумку, и сел на поваленное ветром дерево.

— Что ты думаешь о Тарасове? Пожалуй, ему теперь лучше? — спросил Морев.

— Не знаю.

Григорий достал из сумки небольшую тряпичку, в которой хранилось несколько горстей ржаных зерен. В сумке Аркадия нашлись сыроечки. Друзья поделились своими запасами, но съеденное только сильней раздразнило чувство голода.

— Ну, что ж, червячка заморили и хватит, — стараясь улыбнуться, сказал Морев. — Вот еще бы глотка два воды.

Бо фляжке Боровского нашлась и вода.

— Так вот, — оживляясь, снова начал Морев, — я опять тебя о Тарасове спрашиваю. Ты его хорошо знал?

— Я встречал его, но лично знаком не был.

— Спал он непробудно. Даже, когда мы бывало спор затевали, он лежит себе и дремлет. Только потом мы поняли, что он не спал, а свою думу думал. Вот и надумал... Однажды вечером мы узнали, что немцы схватили Шаповалова в Горелой Луже. Одна женщина его предала. Шаповалов категорически отказался отвечать на вопросы немцев и они избили его до смерти. Мы сидели у костра и читали донесение о судьбе нашего начальника штаба. Тарасов поднялся и при всех громко сказал:

— Не знают немцы, кого бить надо. Не Шаповалова, не Ивана и не Степана, а тех, кто повыше. Бить надо тех, кто приказы пишет. И бить надо теперь же, пока не поздно...

— Мы молчали, — продолжал Морев свой рассказ. — Слова Тарасова прозвучали тогда, как гром. Провокация, — мелькнуло в голове каждого. — Здесь, мол, дело нечистое. Но Тарасов не сказал больше ни слова. Он повернулся лицом к костру и долго смотрел на горящие угли. Часа через два он поднялся и отошел в сторону. А через минуту раздался выстрел. Все всполошились: «Не нападение-ли?»... Но оказалось совсем другое.

Морев замолчал. Некоторое время он смотрел в землю, словно стараясь что-то припомнить.

— Я подбежал к нему первый. Он лежал в нескольких шагах от костра с простреленным виском... Я знал его давно. Хороший был парень. Значит, не выдержал сталинского экзамена. Глупо закончил жизнь...: Это не выход.

— Да, — проговорил Аркадий.

Морев молча открыл сумку и, держа ее в руке, как-то особенно проникновенно посмотрел в лицо Боровскому.

— Аркадий, друзья познаются в беде. Разве это неправда? Потому я доверяю тебе, как другу.

Боровский смущенно слушал, не зная что ответить.

— У меня хранится записная книжка Тарасова.

Морев вытащил потертый блокнот и подал его Аркадию.

— Читай. Может быть поймешь, почему я был сегодня не в духе. Обида меня томит... Читай последнюю страницу.

Толстая записная книжка корреспондента была испещрена мелким ровным почерком. Несколько первых страниц занимали адреса. Имена — Николай Вирта, Владимир Луговской, Виктор Гусев — были отмечены красным карандашом: «бежали в Ташкент». Дальше следовала приписка: «Улица Карла Маркса, № 218». Боровский перевернул несколько страниц и начал читать наугад. Эпиграфом к большому стихотворению было четверостишие Н. Гумилева.

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Следующие строки Боровский прочитал медленно и выразительно:

Слушай, смерть, мы еще не готовы,
Перестань, не грози, отвяжись...
Нет у нас ни Господнего слова,
Ни надежд на хорошую жизнь...

Морев остановил:

— Я просил тебя читать последнюю страницу. Там ты найдешь кое-что получше...

«Сегодня я снова один в землянке, — читал в полголоса Аркадий, — друзья ушли в разведку. Силы теряю с каждым днем. Может быть завтра уже не встану. Москва нас забыла. Видно, мы были нужны ей до тех пор, пока приносили пользу. За три месяца сбросили несколько мешков сухарей и столько же мешков газет. Так поступают со скотиной. «Буренушка, красотка, вот еще свеженького сенца»... Но как только Буре-

нушка сбавила удой, на нее точат нож, чтобы содрать шкуру»... «Лежу под деревом. Не умолкая поют птицы. Сколько раз я им завидовал. Кто же ты, человек? На этот вопрос не нахожу ответа»...

«А всё-таки хороша эта песня:

«Дывлюся на небо, дай думку гадаю,
Чому я не сокол, чому не литаю?
Чому ж мени, Боже, Ты крылля не дав,
Я б землю покинув и в небо злитав»...

Боровский взглянул на Морева. Он сидел попрежнему неподвижно, вглядываясь в землю. Нервно двигались желваки его челюстей, на глазах светилась влага.

— Читай дальше. Это исповедь нашего покойного друга. Отсюда мы узнаем, чем он дышал и жил. Это исповедь честного коммуниста...

«Дед мой был народником, — читал Боровский. — Когданто он оставил хорошую службу и понес народу идею освобождения человека от гнета богачей. Кротко и терпеливо ожидал он рассвета родины. В глубокой старости он сказал: «Жизнь моя прошла в идейной борьбе. Моя свеча догорает. Но счастливая доля ожидает вас, дети». Идею служения народу дед передал моему отцу. Он стал коммунистом. В гражданскую войну отец оставил семью и добровольцем ушел к красным партизанам. Сегодня мне снова припомнились слова отца: «Ну, сынок, твой папа стал калекой. Но наша кровь пролита не напрасно. Эта кровь — цена твоей счастливой и радостной будущей жизни». Мне было тогда семь лет. Я помню, когда отец вернулся без ног. Гладя мои вихрастые волосы, он уверенно говорил: «Вот-вот забьет ключем новая жизнь»... Нет, не за такую жизнь боролся отец... Конечно, мне могут возразить: «Товарищ Тарасов, чего вам еще нехватает? Мы вас учили, дали вам хорошую жизнь, вот только война помешала, но ведь это временное явление. И нужно не только терпеть, но и честно бороться за эту жизнь»... А как же насчет народа? — спрошу я, — у народа тоже хорошая

жизнь?.. Я ни разу не мог написать правды. И здесь пишу только потому, что знаю: мои дни сочтены. А правду написать хочется хоть раз. Не могу кривить душой перед смертью. Но тут я слышу голос моего редактора: «Конечно, наш народ переживает трудности, это правда, но, если не мы, то наши дети вступят в счастливую эру коммунизма, только бы скорее покончить с Германией». Какой обман! Какая утопия! «Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток»...

— Видишь?.. Вот где соль земли русской, — прервал Морев чтение. — Действительно, русскому человеку надо учиться думать. Да, думать надо.

«Сегодня 19-е июля 1942 года. Связь с «большой землей» окончательно потеряна. Шесть дней не ел. Что делать? Идти к немцам не могу, да и не хочу. По всему видно, что они несут рабство, а не освобождение. Какая же это христианская страна? На бляхе ремня написано: «Бог с нами», но бьют, вешают, стреляют и морят голодом пленных беспощадно. Кто дал им право писать Бог с большой буквы?»...

«Сегодня припомнилась история двадцати шести бакинских комиссаров.

Двадцать шесть их было, двадцать шесть,
Имена их всех не перечесть...

Нет, не об этом я хотел сказать. Есть не баллада, а песня. Отец когда-то певал ее:

Мы сами копали могилу себе,
Готова глубокая яма...

Это правда. Выкопали себе и нам подготовили. Впрочем, мы ее сами готовили двадцать пять лет... А может быть продолжать бороться? Убить еще одного немца? Отрезать ему язык, как они отрезали Шаповалову? Отвоевывать будущее для детей? Как смешно говорить о будущем, которого не видно. Я ведь живу один раз. А детей у меня нет. Хорошо, что не успел. Наверно оттого и жить не хочется.

И нет за гробом ни жены, ни друга...

Впрочем, за каким гробом? Кто его будет делать? Да это всё равно».

Боровский кончил чтение. Несколько страниц объемистого блокнота остались чистыми. Морев, не глядя в лицо Аркадию, протянул руку и взял записную книжку.

— Где-то у него сестра осталась. Учительница. Понимаешь, нет ее адреса...

— Этот блокнот стоило бы сохранить, — сказал Аркадий после долгого молчания, — только бы не влететь с ним в яму.

— То-то и беда. Такой дневник страшнее гранаты, в которую вложен запал. В любую минуту может взорвать.

Морев тщательно завернул блокнот куском измятой бумаги и, как большую ценность, осторожно положил в свою сумку. Он встал и снова подошел к могиле Тарасова. Поправил покачнувшийся столбик.

— Не пора ли нам в путь? — спросил Аркадий, поднимаясь, — время нас не ждет, до Каменки еще далеко.

Аркадию хотелось рассеять мрачные мысли своего друга.

— Мы на пороге к жизни, а не к смерти, — говорил он, — так значит, нужно думать о себе.

Друзья шли ускоренным шагом. Боровский невольно думал о заметках Тарасова. Никто не мог заглянуть в сердце человека. Все видели в нем только коммуниста. Перед смертью он решил открыть свои мысли. Сколько в них жизненной правды. Какой был бы переполох во всей стране, если б эти заметки появились в «Красной звезде».

Вскоре друзья вышли к залитой солнцем небольшой поляне. Место тихое, спокойное. Невдалеке протекал лесной ручей, за которым ровными рядами шел молодой ельник. До Каменки оставалось не более трех верст.

— Отдохнем что ли? — сказал Морев.

— Отдохнем, ко сну клонит.

Друзья легли под дубом. Пригреваемые послеобеденным августовским солнцем, они сразу же уснули. Сон в лесу сладок. Но обстановка окружения делала его неспокойным. Каж-

дый стук, шорох мгновенно воспринимался слухом. Так случилось и на этот раз. Они проснулись одновременно.

— Мне кажется, кто-то ходит, — протирая глаза, сказал Морев.

— Должно быть кто из своих, — прислушиваясь, прошептал Боровский. — А может зверюга какая-нибудь?

Треск сучьев слышался всё отчетливей. Морев первый встал на колени и, взглядываясь в ветви густого ельника, приготовил автомат. Шагах в десяти стоял человек. Никого не замечая, он спокойно обламывал сухие сучья.

— Наш, — шепотом подтвердил Морев.

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что человек был свой. Ворот грязной гимнастерки был расстегнут, узкие армейские брюки-галифе во многих местах разорваны. Он был без шапки и без оружия. Должно быть где-то неподалеку разводил костер. Красноармеец собрал дрова в охапку и, никого не заметив, пошел к лощине.

Морев встал, поспешно взяв свою сумку.

— Иди за мной, Аркадий. Что-то, значит, будет...

Друзья перешли ручей. Послышался спокойный русский говор. Отдельные слова доносились глухо, неразборчиво. Пахло смолой и дымом от костра. Морев сделал несколько шагов и первый увидел двух незнакомцев. Они услышали шорох и оглянулись. На их лицах изобразились испуг и растерянность. Собиравший дрова оказался молодым черноволосым узбеком. Теперь он держал в руках рубашку, из которой выбивал вшей, и бросал их в костер. Увидев чужих людей, он схватил карабин.

— Пропуск «Мушка», — громко и бодро, словно разводящий, крикнул Морев.

— Коли свой, проходи без пропуска, — ответил рыжеволосый человек, с большой головой. В одной руке он держал обгорелую суковатую палку, в другой деревянную ложку. На его голове еле держалась армейская пилотка, из-под которой торчали густые нечесаные волосы. Комсоставская рубашка была расстегнута, рукава засучены. На широком ремне свободно

болтался пистолет. Сапоги в нескольких местах были испачканы кровью.

— Откуда? — грубо спросил рыжий, когда Морев и Боровский подошли ближе.

— Жабовцы.

— А пошто болтаешь здеся?

— Волков пугаем, — шуткой ответил Боровский.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся узбек, показывая ряд почерневших от ягод зубов, — волков они пужают... Ты сам, как волк.

Узбек натянул рубашку на худые загорелые плечи.

— Федька, ты пену-то снимай, — обратился он к рыжему и показал на грязный закопченый котелок, висевший над костром. В котелке были мелко нарезанные куски мяса. Вода пенилась, закипала. Красное мясо выплывало наверх, образуя густую, коричневую накипь.

Федька привычно махнул ложкой. Его рыжее лицо было неприятно выразительно. Разогревшись у костра, оно стало красным, словно заплыло кровью. На морщинистом лбу выступили капли пота.

— Ну, что ж? — после некоторого молчания сказал он, — навоевались!..

Узбек взглянул на Морева хитрыми глазами и, признав в нем командира, деланно протянул:

— За Сталина!.. Ура-а-аа!

— Еще можно воевать, если едим мясо, — сказал Боровский, рассчитывая на возможность разделить трапезу. — Лошадку что-ли где-нибудь прихватили?

— Не лошадку, а жеребца, — ухмыляясь, ответил Федька.

— Вот если разживемся от вас сухарями да солью, значит вместе будем есть, — сказал узбек.

— Нет, браток, ни сухарей, ни соли у нас нет, идем добывать, — отозвался Морев.

Сдувая с котелка пенистую накипь, Федька заговорил злобно:

— Командиры!.. Сталинские защитники!.. Он, небось, на-

жрался шашлыку и сидит в мягком кресле, усами водит, да трубку сосет. А ты, как муха на морозе, дохни...

— Мы не сдохнем... выживем, — сказал узбек, — будет и на нашей улице праздник.

— А может и правда у вас есть соль? — помолчав, спросил рыжий и первый раз прямо, в упор посмотрел на незнакомцев.

— Наша соль потом пахнет, к мясу не годится, — шутливо заметил Боровский.

— Тогда вы нам не компания. Валяйте отсюда, несолено хлебавши... Таких сегодня много бродит... На чужой каравай рот не разевай, — проговорил Федька, недружелюбно поглядывая то на Морева, то на Боровского.

— Слушайте, друзья, — спокойно и тихо начал Боровский, — у нас с вами одна судьба. Может и одна дорога будет. Вы голодные и мы голодные. У вас мясо, а у нас ничего. А завтра может быть наоборот: у нас и соль, и мясо, и хлеб, а у вас ничего... Разве мы не поделимся?

— Знаем, знаем, как вы делитесь, — перебил рыжий, — наш политрук так делился: сам сухари жрал, сволочь, а мы пальцы сосали. Вот теперь пусть он пальцы сосет, а мы будем мясо лопать... Правда, Ахмед?

— Так точно, товарищ командир, — улыбаясь, ответил узбек и стал по команде «смирно».

— А где же ваш политрук? — спросил Морев.

— А тебе какое дело? — взорвался Федька, — ты нам не спрос. Прокуроры что ли? Может он в котелке варится! — озлобленно добавил он.

Боровский вздрогнул. От этих слов Федьки повеяло ужасом. Морев недоверчиво посмотрел на котелок.

— Оставим их, Гриша, — сказал Аркадий.

— А... Струсили... Нет солдатских пайков?.. Прошла коту масляница, — всё больше возбуждаясь, выкрикивал Федька. Его голос дрожал, как струна, словно он собирался плакать.

— Вон! Убирайтесь отсюда! Мы больше не пойдем на Варшавку, провались она в тартарары! Хватит! А вы идите! На-

пишите «ишаку», что мы и до него доберемся!.. и в Кремле найдем!

Узбек вдруг запел:

И в огне мы не утонем,
И в воде мы не сгорим...

Рыжий рассмеялся громким истерическим смехом. В эту минуту он был похож на сумасшедшего. Он смеялся полным ртом и его большие редкие зубы придавали широкому скучастому лицу страшное выражение.

Морев молча повернулся и сказал:

— Пойдем, Аркаша... с ними каши не сваришь.

По солнцу Морев и Боровский определили направление на Каменку. Они торопливо зашагали на юг. Спустились в овраг, густо заросший папоротником. Пахло лесной сыростью, грибами, гнилым мхом. Беспокоили надоедливые комары. День был на исходе, они чувствовали усталость. Но нужно было спешить, чтобы, пользуясь дневным светом, выйти на окраину леса, откуда они уже увидели бы Каменку. Старый ветвистый дуб на краю леса был хорошим наблюдательным пунктом. С его вершины была хорошо видна не только Каменка, но и проселочная дорога к Десне, где немцы строили мост.

Протоптанная узкая стёжка привела их к полуразрушенному шалашу, сделанному из зеленых ветвей ольшанника. Но тут, через несколько шагов, Морев остановился и испуганно взглянул на Боровского. Перед ними лежало тело обезображенного, полураздетого человека.

— Да ведь это же Лифшиц! Политрук из 14-го В.Д.К.!

— вскрикнул Морев, всматриваясь в почерневшее лицо трупа.

Тело политрука лежало на измятой и выпотоптанной траве. Полувывернутые руки разбросаны в стороны. Застывшие карие глаза были открыты и обращены вверх, где сквозь ветви деревьев виднелись куски чистого, голубого неба. Окровавленный, почерневший рот был неестественно открыт, словно труп собирался что-то сказать.

Боровский и Морев стояли молча. На груди политрука чернели ножевые раны. Брюки были сорваны. Возле колен

были сделаны несколько срезов. Руки Морева начали дрожать. «Это — работа рыжего Федьки», мелькнуло в голове Боровского. Но не успел он это сказать, как Морев проговорил:

— Гады! Людоеды! Я их проучу мерзавцев!

Дрожащими руками он торопливо развязал рюкзак. И вытащив грушевидную гранату Ф-1, приготовил запал.

— Око за око, зуб за зуб, — сказал он, подбрасывая на ладони гранату, — я им отнесу «соли»... Здесь и «сухари» будут...

И не дожидаясь ответа Боровского, Морев быстро пошел в обратную сторону. Зная характер Морева, Аркадий даже не пытался отговаривать его. Подойдя ближе к изуродованному трупу Лифшица, Аркадий вздрогнул. Холод пробежал волной по всему телу. Теперь не было сомнения, что в котелке рыжего Федьки варились человечье мясо. Аркадий отошел в сторону, стал ждать. Вскоре он услышал далекий крик Морева:

— Людоеды! Соли вам принес! Вот она!

Взрыв всколыхнул лесную предвечернюю тишину. Боровский стал прислушиваться. Раз, второй, третий донеслось протяжное а-а-а. И все смолкло. Морев бежал. Лицо его было бледно. Он перескакивал через кустарник. Боровский удивлялся его быстроте и энергии. Он еле успевал за ним. Несколько раз падал. Неожиданно между стволами блеснул просвет. Они пошли шагом. Выйдя из леса, увидали одинокое дерево. Это был дуб, нужный им для наблюдения за деревней. Но они могли начать наблюдение только с восходом. Темнота быстро опускалась на лес.

— Будем спать поочереди, — пробормотал Морев, расположаясь на ночлег в кустарнике.

— Ладно, — ответил Аркадий, — ты сначала расскажи, как рыжий Федька принял твою соль.

— Я от них в десяти шагах был. Сам еле ноги унес...

Прямо в костер бросил... Меня знобит, — проговорил Морев.

Боровский подал Мореву свою плащ-палатку. Морев сразу уснул. Лес шумел прерывисто и глухо.

Николай Невский

ИЗ НЕНАПИСАННОГО ДНЕВНИКА

П е т а с

Дымились осенью и стужей
Бока широкие коней,
Блуждали листья меж корней
И косо падали над лужей.

За лесом двигались дожди,
Земля томилась и грустила,
Двойное эхо впереди
Начало боя возвестило.

Расхлопываясь на дымки,
Взвились прицельные шрапNELи,
И вверх пошли воротники,
И ниже сгорбились шинели.

Но с каждым выдохом жерла
Душа как будто запевала
И треск ружья, и скрип седла
В слова и ритмы одевала.

И вот, качнувшись в стременах,
Во власти музыки тревожной,
Я заблудился в нежных снах
И пал на камень придорожный —

О, маза! На полях Волыни
Не ты ль мой путь пересекла
И трижды сталью обожгла
Коня, крылатого отныне?

P у с а л к а

Задворками разбитых дач
Коней вторые сутки мучим,
За мной вихрастый штаб-трубач
Качается в седле скрипучем.

Что за примерная война!
На фронте ни врага, ни друга,
И душу гложет мысль одна —
Не слабо ль стянута подпруга.

А солнце южное печет,
Густая пыль забила поры,
В глаза горячий пот течет,
Уныло обвисают шпоры —

И вдруг — внезапный поворот,
За ним прудок, покрытый тиной,
Гусиный выводок, и вот —
Русалка с тонкой хвостиной.

Цветная кофточка узка,
Но так пленительно прильнула,
А из-под легкого платка
Такая молния блеснула —

Как подтянулся эскадрон!
Как избоченился спесиво!
Как солнцем выложен красиво
Золоткованный погон!

И пламенным сверкая оком,
Срываю ногу так-и-так,
Приплясывая, скачет боком
Мой горбоносый аргамак.

И враз, почти без уговора,
Небрежной удали краса,
Гремят разведческого хора
Подобранные голоса.

И тенор, заливаясь свистом,
Уже ликует в пол-пьяна
О том, что в поле, поле чистом
Нам рано гибель суждена.

В. Корвин-Пиотровский

Т R I N A C R I A

A. A. Трубникову

Психеи средиземной колыбель,
страна богов, священная досель
Тринакрия, как стала ты близка мне!
Три моря, горы, камни. Камни, камни...
Они живые. Помнят всё. Молчат.
Чего-то ждут. В какую даль глядят?
От этих статуй и столпов открытых
и капителей из дворцов забытых —
такая тишина... Как вздох времен
— восставший прах, окаменелый сон!

Со стен акрополей, весь день овеян
тенями приснопамятных Ахеян,
я вижу их: герои и цари,
едва причалив, строят алтари,
в горах стучат их медные секиры,
и солнце чаши золотит и лиры.
А чуть стемнело, огибает мыс —
вон-там, на корабле своем, Улис,
и чудится — насторожились стены:
у скал вдали поют еще Сирены.

Тринакрия, — о, сколько с той поры
разоров, бед! Здесь рушились миры,
в пустыню брег набеги обращали,
и гавани твои — как обнищали!
А там, в родных горах, что ныне там?
Чернó везде, голó. И по тропам,
иссохлые от вековой разрухи,
горбатые на осликах старухи...
Но вот — не странно ли? — всё остров жив,
Пожалуй, весел. Беден, да счастлив.

И то сказать, его земля приветна:
и берега и горы, даже Этна.
И жизнь — что встарь... Пускай суровый крест
изгнал богов, — живут еще окрест,
верна векам наследственная вера:
Праматерь с сыном на руках, Церера,
всё царствует (века оберегли)...
Она, она, печальница земли,
в часовенках с лампадою бессонной,
на всех путях утешною Мадонной...
И я молился ей — непобежденной.

Сергей Маковский

**

В. Л. Книжниковой

Жизнь исчисляют не годами,
Она течет как волны рек.
В них, с удивленными глазами,
Плынет бесправный человек.

Когда река впадая в море
Влечет усталого пловца,
У всех предчувствующих горе
В груди сжимаются сердца.

Но руки машут над водою,
Кругом знакомые места,
И веет новою весною...
Не ставьте над живым креста!

Жизнь исчисляют не годами,
Она течет как волны рек.
В них, с лучезарными глазами,
Плынет бесстрашный человек.

**

Желтый Ангел пролетел по небу,
Рисовою веткой погрозил.
Спелый колос золотого хлеба
Протянул ему Архангел Михаил.

Леший сидя у лесной тропинки
Яд варил для камышёвых стрел
И сказал пришедшим на поминки:
Посмотрите, хлеб уже созрел.

Зарево зари еще беспечной
Нежным светом землю озарит.
В нищенских дворцах Замоскворечья
Не для нас ли петел прокричит?

Но теперь заря уже настала,
Михаил в сиянии стоит,
Желтый ангел, опустив забрало,
С диким криком на Восток летит.

Юрий Одарченко

**

В. Н. Ильину

...Началось... И теперь опять
Дважды два не четыре, а пять.

По ковру прокатился страх,
И с размаха о стену — трах!
Так что искры посыпались вдруг
Из моих протянутых рук.

Всё вокруг двоится, троится.
В зеркалах колыхаются лица
И не знаю я сколько их,
Этих собственных лиц моих...

...На сосну усилась лисица,
Под сосной ворона стоит.
Со щитом? На щите? Нет, щит
На вратах Цареграда прибит.

Как в лесу сиротливо и сырьо,
До чего можжевельник сердит...
Бог послал мне кусочек сыра.
Ах, совсем не мне, а вороне,

Злой вороне в тяжелой короне —
Значит ей, а не мне повезло.
Но лишившись царского трона
Трижды каркнула злая ворона

Пролетающей тройке на зло.
Кучер гикнул. Взметнулись кони,
— Берегись!.. Сторонись, посторонний!..
Сном и снегом глаза занесло.

Соловьиная трель телефона
Вдруг защелкала звонко
— Алло?..

Сразу все в порядок пришло:
Из прозрачно-зеркального лона

Нереальность скользнула на дно,
Там где рифмы коралловый риф,
Там где ритмов отлив и прилив,
Там где ей и лежать сужено...

Легкий месяц сияет в эфире
Уводя облаками на юг...
Лампа светит уютней и шире,
Образуя спасательный круг.

И теперь, как повсюду в мире,
В эмигрантской полу-квартире
Дважды два не пять, а четыре.
Значит кончено. Спать пора.

— Спите, спите — без снов — до утра...

**

— За верность, за безумье тост!
За мщенье!.. Пенных кубков звон.
Какой сквозной, тревожный сон.

Узорчатые рукава.
«Дочь пекаря — сова».
...Слова, слова, слова...

Белеет мост, блестит погост,
О, вихри вздохов, волны слез!
Известно всё заранее.

Средь звезд
И роз
Апофеоз
Непонимания.

Высокий королевский дом

В туманной Дании
И королева с королем
И принц на первом плане.

Прожечь вином,
Залить огнем,
Пронзить рапиры острием.
Ни хмеля, ни похмелия.
Цветы на память, на-потом,
Цветы на новоселие.

Как тихо спит на дне речном
В русалочной постели,
Как сладко спит бессмертным сном
Офелия...

Ирина Одоевцева

1

Остаться совсем одному и забыть
Что родился ты, чтобы любить,
И в ожесточеньи, и в дикой тоске
(стакан недопитый в руке)

Заплакать над жизнью погибшей своей,
Над мутным мельканием дней,
Над гробом своим, что сквозь пьяный угар
Веселый стругает столяр.

2

Весенний холод, уличка Парижа
И кабачек знакомый на углу...
Всё дальше жизнь уходит, смерть всё ближе,
Всё равнодушней я к добру и злу.

Конечно, зла старался я не делать,
Но вижу, что не сделал и добра —
Писал стихи, на острие пера
Душа, в слезах чернильных, холодела.

Что эти слезы? — расплылись стихом,
Читатель их какой-нибудь читает...
А вот слеза, что по щеке тайком,
Стыдясь скользит, мне душу обжигает.

3

Всё лучше и лучше, всё выше и выше,
И всё точнее слова —
А сердце бьется всё глуше и тише,
Бьется едва, едва.

Всё выше и выше, всё лучше и лучше,
И всё трудней и нежней —
Об этой разорванной в небе туче
Так скажи, чтобы вечно о ней,

Увидев ее, твоим сочетаньем
 Слов и размером твоим,
 Говорили влюбленные в час свиданья
 И радостно было им.

Чтобы за правое дело воин,
 Упав лицом к небесам,
 Был бы печален, но был бы спокоен —
 Верил твоим словам.

Видишь, какое в божественном слове
 Заложено торжество —
 Но каждое слово, как капля крови,
 Из сердца, из твоего.

И бьется оно, это сердце, всё тише,
 Всё глуше в твоей груди —
 Всё лучше и лучше, всё выше и выше,
 И немота впереди.

4

И. А. Бунину

О земном богатстве и о власти
 Над землею мне не говори —
 Много надо человеку счастья,
 А земли всего аршина три.

Нам земля не много будет стоить,
 Значит, ни к чему богатство нам —
 Счастье наше самое простое
 И оно подобно небесам.

Влад. Смоленский

1

Что-то вроде России,
Что-то вроде печали...
(Мы о большем просили,
А потом перестали).

Чем-то нежным и русским
Пахнет поле гречихи.
Утешением грустным
День становится тихий.

Пахнет чуть кисловато
Бузина у колодца...
Это было когда-то
И, быть может, вернется.

2

Паюшка мерно взлетает:
Музыка! стройно звени!
Нотные знаки не знают,
Что означают они.

В линиях нотной страницы
Ты, и другие, и я.
Только недолго продлится
Нежная нота твоя:

В срок прозвучала в концерте,
И обрывается нить.
Замысла жизни и смерти
Нам не дано изменить.

Или бессмысленно в мире
Всё, и впустую трезвон?
Так в опустелой квартире
Ночью звонит телефон.

Игорь Чиннов

ПОДСТРИЖЕННЫЙ ВЕРСАЛЬ

Передо мною пачка фотографий, полученных из Москвы. Большой Кремлевский дворец — Второй съезд советских писателей... Вот толстая, болезненно-оплывшая Ольга Форши идет, опираясь на палку, к столу президиума: ей семьдесят девять лет, и по праву старейшей писательницы она открыла съезд краткой речью. Вот в публике, среди делегатов съезда, — рядом с казахским поэтом Сабитом Мукановым — сидит маршал Жуков, сверкая тремя золотыми звездами. Вот привычная, давно примелькавшаяся группа: высокий, с птичьим лицом, Луи Арагон; крашеная Эльза Триоле — сестра Лили Брик и жена Арагона; шестидесятичелетний Илья Эренбург, с годами всё более похожий на химеру с собора Парижской Богоматери. Впрочем на этой же фотографии, среди парижских гостей есть и новое лицо: Борис Полевой, с которым мы в 1934 году, когда в Москве шел Первый съезд писателей, работали вместе в тверской «Пролетарской Правле». Новичек на литературной сцене, Борис Полевой однако выступал на Втором съезде докладчиком по детской литературе, успев уже — за десять послевоенных лет — занять место среди «корифеев» «могучей литературы страны победившего социализма».

Всем знакомое чувство: перебираешь фотографии — и с души срываются какие-то «нечаянные восклицания»... Подумать только: вот сидят рядом маршал Жуков и поэт Сабит Муканов. Известно ли маршалу, что его сосед написал когда-то поэмы «Мурзабек» и «Сулу-шаш» — в духе казахского национализма? Помнит ли сам Сабит Муканов об этих своих поэмах? Широкое, каменное лицо с вислыми монгольскими усами... Какие страсти оно прикрывает у поэта-националиста, привезенного из Алма-Аты в Москву, в Большой Кремлевский дворец, и посаженного рядом с маршалом Советского Союза? Думает ли Муканов о судьбах национальных литератур в коммунистической империи? Например, о том, что на Первом съезде в числе делегатов было три чеченца, три калмыка, по одному балкару и ингушу, — на Втором съезде никаких та-

ких национальностей не значилось. Писателей-евреев на Первом съезде было 113, на Втором — 72. На Первом были делегаты 52-х национальностей, на Втором — 45-ти. Приходит-ли Сабиту Муканову в голову, что этак, пожалуй, и он — и его Казахстан — не доживут до Третьего писательского съезда?

Пролетела мысль — перевернула фотографию... И еще одно «нечаянное восклицание»: Борис Полевой... Новое имя в литературе, «молодой писатель»... да какой же он «молодой»?! Теперь все знают его «Повесть о настоящем человеке», но кто помнит его «Мемуары вшивого человека»? Книга эта вышла в Твери еще в двадцатых годах. Полевому уже за пятьдесят сегодня... По настоящему же молодых писателей было очень мало в Большом Кремлевском дворце. Первый съезд был молодой: средний возраст делегата составлял 35,9 года. На Втором съезде мандатная комиссия предпочла не высчитывать средний возраст. Но вот таблица: на Первом съезде было 53 делегата в возрасте до 25 лет; теперь рубрики «до 25 лет» нет совсем, а в графе «до 30 лет» значится — 13 делегатов. На Первом съезде делегатов в возрасте свыше 50-ти лет было 171 человек, на Втором — 356. По замечанию одного писателя, «лес есть, а подлеска нет». Не идет, значит, молодежь в литературу... Исчезло что-то, что прежде ее влекло туда... Печать постарения лежала на Втором съезде писателей.

Невольно вспоминаешь тот, Первый съезд, и те годы, когда Россия была страной еще не «победившего», а только «строившегося социализма». Вся Москва была тогда строительной площадкой. В скверах, посреди разрытых газонов, стояли копры, грохотали лебедки. На углу Тверской и Охотного ряда, по соседству с Домом Союзов, где происходил Первый съезд писателей, была одна из первых шахт метро. В этом месте, под Тверской и под Охотным, было чумное кладбище XVI века. Там нашли много человеческих костей, скелетов. Некоторые скелеты лежали, другие стояли, иные торчали вниз головой. В течение столетий Москва знала много подпочвенных сдвигов, не дававших покойникам покоя, теперь же новым — не геологическим, а историческим — сдвигом их совсем выбрасывало из земли. Метростроевская армия взорвала Храм Христа Спасителя, разломала Страстной монастырь, снесла Сухареву башню и стены Китай-города. Выступая на писательском съезде, делегат этой армии заявил: «...Камни 'сорока-сороков' мы загнали в наши туннели и заставили служить делу социализма», и именно эти слова были покрыты аплодисментами.

Делегация метростроевцев выступала на писательском съезде вечером 25 августа 1934 года. Председательствовал в тот вечер Илья Эренбург, тогда на двадцать лет моложе. В президиуме сидел Борис Пастернак. В огромный зал, сверкавший белизной колонн, огнями и золотом люстр, вошли молодые рабочие и работницы в холщевых спецовках, резиновых сапогах; мужчины — в шахтерских капюшонах, женщины — в красных платочках на головах. Поднявшись на сцену они выстроились шеренгой перед столом президиума. Возле Пастернака остановилась девушка с бурильным молотком на плече. Тяжелый забойный инструмент оттягивал плечи девушки, и — «в безотчетном движении», как рассказывал об этом сам Пастернак, — автор «Второго рождения» приподнялся, чтобы снять молоток с ее плеча. Кто то из президиума, однако, остановил поэта, насмешливо отзовавшись при этом о его «интеллигентской чувствительности».

Писатели, участники Первого съезда, конечно, видели, что «строительство социализма» невыносимо-тяжело давит на плечи народа. В одном эмигрантском журнале мне как-то попалась статья под заглавием: «Кусок хлеба и съезд писателей». Автор, новый эмигрант, рассказывал, как он «решил показать съезду колхозный хлеб... чтобы он устыдил потерявших совесть и стыд певцов советской жизни». Весьма возможно, что свёрток с таким хлебом — смесь жмыхов с картошкой — действительно был послан из публики в президиум съезда. Но вот вопрос: можно ли было удивить писателей куском жмыхового хлеба? Борис Пастернак видел, как тяжелый «джэк» давил на плечи девушки-метростроевки. Но приятель Пастернака, товарищ его по Лефу, Сергей Третьяков, видел больше — весь придавленный народ. Третьяков жил в колхозах Северного Кавказа, где люди ели не жмыхи с картошкой, а кору с осокорей и крапиву. Писатели не имели, быть может, лишь точного представления о размерах жертв, не знали того, что за четыре года, потребовавшиеся Сталину для проведения сплошной коллективизации, погибло десять миллионов человек. А если бы и знали? Вот писатель-перевалец Иван Катаев... Катаев тоже ездил в колхозы — и написал книгу о политотделе МТС. Ездил он также в Хибиногорск, построенный на kostях лагерников. Что же написал он по приезде оттуда? Очерк «Ледяная Эллада», вошедший в книгу «Человек на горе». Книга эта появилась в 1934 году, как раз перед съездом писателей.

«Синий рай, глубокое счастливое небо, — писал Катаев. — Некая новая Эллада: туманные фиолетовые мысы, плеск медленной волны, стройные люди в белых хитонах, с неслышной поступью ...Вот как человечество обычно 'вспоминало о будущем'... История рассудила наперекор всем пророкам, поэтам и романтикам. Быть обетованной землей утопических мечтаний, первой землей социализма, она удостоила самую суровую и пасмурную страну Евразии, ту, которую западные соседи издавна и — по неуклюжести ее — справедливо называли 'северным медведем'».

Иван Катаев видел жмыховый хлеб без того, чтобы ему показывали его на съезде. Но что из того, если он целиком был во власти «утопических мечтаний» о «ледяной Элладе», которая будто бы — после борьбы и страданий, после крови и грязи — возникнет на месте «самой суровой и пасмурной страны Евразии»? К тридцать четвертому году идея мировой революции выветрилась; на смену ей пришла идея «построения социализма в одной стране». Вовсе не надо было быть коммунистом, чтобы отдаваться этой идеи, требовавшей прежде всего индустриализации России, преодоления извечной расейской обломовщины. На «строительство социализма» разные люди смотрели по-разному: одни думали о социализме, другие — о строительстве. Подъем пережитый тогда Россией, казался еще более величественным потому, что Запад как раз в те годы переживал период кризиса. Не написал ли Борис Пастернак в тридцать втором году: «Уходит с Запада душа, ей нечего там делать»? Наоборот, некоторые люди Запада тянулись душою к рождавшейся на Востоке «ледяной Элладе». Вряд ли кого-нибудь тогда можно было смутить или устыдить куском жмыхового хлеба. В предисловии к «Возвращению из СССР» Андрэ Жид излагает миф о Демофоне, сыне элевсинского царя Келея. В поисках Персефоны, богиня Деметра пришла в Элевсин и, никем неизвестная, стала кормилицей новорожденного царевича Демофона. Желая сделать своего питомца бессмертным, она, как пишет Андрэ Жид: — «на первый взгляд, с жестокостью, но в действительности движимая огромной любовью» — клала его на огонь. Пусть будет жмыховый хлеб, пусть погибнут десять миллионов крестьян... — всё это огонь Деметры, впереди «рай социализма»! Те, кто удивляются станциям московского Метрополитена: «К чему такая роскошь? К чему под землей мрамор, бронза, мозаика и хрусталь?» — не понимают того, что подземные эти дворцы психологически были нужны, как знаки преображения земли,

предвестники грядущего «земного рая». В 1934 году многим могло казаться, что Россия уже прошла через огонь Деметры. Весной того года были отменены карточки, жизнь перестала быть суровой, неласковой к человеку. Жертв, казалось, больше уже не потребуется. Подержим еще чуточку бурильные молотки на плечах... — он уже не за горами, вот он, вот он, наш «земной рай», наша «ледяная Эллада»!

Такова была атмосфера Первого съезда писателей — атмосфера молодости, увлеченности большой идеей, мечты и оптимизма. В апреле 1932 года был положен конец рапповскому сектантству. Правда, вместе с РАПП'ом были прикончены и «Перевал», и Всероссийский Союз Писателей, объединявший попутчиков, и другие литературные группировки, в которых каждый писатель всё-таки ухитрялся «хату свою в свой цвет красить». Вместо РАПП'а, вместо разнообразных литературных объединений был создан Оргкомитет Союза советских писателей — единой литературной организации с единым «творческим методом». Как перед съездом, так и на самом съезде раздавались голоса протesta против унификации литературы. На одном из собраний в Доме Герцена Леонид Леонов сказал: «Надо избегать, чтобы не получился этакий советский *подстриженный Версаль*, никому не нужный». На съезде об этом говорил Михаил Кольцов:

«Говорят, появился проекteц: ввести форму для членов писательского союза. Писатели будут носить форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков. И значки ввести: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице и все писатели на улице становятся во фронт».

То, о чем говорил Кольцов, не было только шуткой. Теперь, двадцать лет спустя, мы видим, что Первый съезд писателей был первым шагом к «подстриженному Версалю». Правда, мундиры для писателей еще не введены, хотя орденами их уже так облепили, что, по выражению Шолохова, некоторые писатели теперь кажутся — ни дать, ни взять, борец Иван Поддубный! В штатских костюмах, но в орденах и медалях, писатели построены в шеренги — всем велено шагать в одном направлении и делать повороты по приказу. Команда на построение была дана именно на Первом съезде, где был создан единый Союз советских писателей, тогда же прозванный «Все-

союзным литературным колхозом». Всё это так: писатели подымали, пусть под покровом шутки, голоса протеста, пускали остроты про «литературный колхоз», но, вместе с тем, многие верили в «ледяную Элладу», и, объединенные большой идеей, принимали не только единый Союз, но даже и единый «творческий метод» социалистического реализма. Термин «социалистический реализм» был пущен в оборот самим «Хозяином» — в 1932 году, в беседе с рапповцами, еще до ликвидации РАПП'а. Но идея принадлежала Горькому, который в 1928 году писал: «Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист, и романтик, как бы две ипостаси единого существа». Творческий метод, требовавший смешения реализма с романтикой, отвечал не только потребностям коммунистической диктатуры. Как нельзя лучше, он соответствовал и настроениям людей эпохи «Великого Перелома», которые, закрывая глаза не только на жмыховый хлеб, но даже на вымершие, заросшие бурьяном кубанские станицы, мечтали о том, казалось бы, близком времени, когда страна пройдет через огонь Деметры и расцветет, как новая Эллада.

Иван Катаев, сочинивший фантазию про «ледяную Элладу», был из перевальских писателей, которых принято называть «гуманистами». Трагедия «ледяной Эллады» была трагедией безбожного гуманизма. Как раз от Первого съезда писателей пошли разговоры о «социалистическом гуманизме», продолжавшиеся весь тридцать пятый и особенно усилившиеся к началу тридцать шестого года. Теория «социалистического гуманизма» излагалась в новогодней статье Бухарина — в «Известиях» от 1 января 1936 года. Не прошло, однако, много времени, как гуманистические златоусты были историей посланы проходить практику «социалистического гуманизма». В 1936 году начался период «Большой чистки», длившийся три года и унесший, быть может, человеческих жизней не меньше, чем период сплошной коллективизации.

Годы 1930-1933 были периодом коллективизации хозяйства. Годы 1936-1938 были периодом коллективизации духа. Когда началась «Большая чистка»? Точная дата: 28 января 1936 года. В «Правде» в тот день появилась статья «Сумбур вместо музыки» — о «Лэди Макбет Мценского уезда». После новогодних статей о «социалистическом гуманизме» она прогремела, как гром среди ясного неба. Вслед за первым последовали другие удары: 6 января — «Балетная фальшивь»,

20 февраля — «Какофония в архитектуре», 1 марта — «О художниках-пачкунах», 9 марта — о «Мольере» Булгакова в филиале МХАТ. Началась политическая кампания: по всей стране — собрания писателей, художников, музыкантов, артистов, архитекторов. Вслед затем был нанесен удар по науке: 2 июля — письмо в редакцию «Правды» об академике Лузине, 3 июля — редакционная статья «О врагах в советской маске», 9 июля — «Традиции раболепия». В течение шести месяцев, таким образом, в стране намеренно и обдуманно создавалась напряженная атмосфера. Когда воздух был достаточно наэлектризован, сверкнула молния: 19 августа начался первый большой процесс — Зиновьева-Каменева. Громы сотрясали страну на протяжении всего 1937 года: в январе — процесс «Параллельного центра» (Пятакова-Радека-Сокольникова), в июне — дело Тухачевского, в декабре — дело Енукидзе и Каракана. Наконец, весной 1938 года — третий большой процесс (Бухарина-Рыкова). И вот, когда вся страна была за три года перепахана, душа народа — истолчена, осенью 1938 года был произведен посев. На вспаханное поле души народной были брошены миллионы экземпляров «Краткого курса истории ВКП(б)». Второй съезд писателей должен был стать — наряду с Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой — выставкой идеологического урожая. Но выставка не удалась: урожай не то что скучен — урожая просто нет! Семена оказались невхождение...

Те, кто мечтали о «новой Элладе», увидели совсем другое: одни — кровавую лужу в бетонном подвале НКВД, другие — колючую проволоку концлагеря. Как-то раз я предпринял попытку подсчитать, сколько писателей пострадало за три года «идеологической коллективизации», — насчитал 329 человек... Десятки делегатов Первого съезда были объявлены «врагами народа»¹. Более того, были «ликвидированы», по крайней мере, семнадцать членов Правления Союза писателей, единогласно, под aplодисменты, избранных на Первом съезде: В. Алазан (Армения), А. Александрович (Белоруссия), М. Алекберли (Азербайджан), А. Горелов, М. Джавахишвили (Грузия), Л. Каменев, И. Катаев, В. Киршон, М. Кольцов, И. Кулик (Украина), И. Луппол, И. Микитенко (Украина), Б. Пильняк, Д.

¹ На Первом съезде писателей присутствовал 591 делегат: из них только 128 были делегатами Второго съезда. Где же остальные 463 писателя?

Симонян (Армения), Р. Эйдеман, Бруно Ясенский, Паоло Яшвили (Грузия). В мартирологе, как видим, значится и Иван Катаев, автор фантазии о «ледяной Элладе». По слухам, ему дали двадцать лет лагерей. Так, по иронии судьбы, человек, порою, бывает наказан за ересь утопических мечтаний...

На Втором съезде, разумеется, не было дано никакого отчета о судьбе «выбывших» членов Правления Союза писателей СССР. Ни словом не были упомянуты и те мечтатели из иностранцев, которые присутствовали на Первом съезде, но отсутствовали на Втором. Ведущую роль в делегации иностранных писателей в 1934 году играл Андрэ Мальро. Он выступал на том съезде три раза, причем один раз — от имени всей делегации. «Вы кладете здесь начало той культуры, которая даст новых Шекспиров», — говорил он, предаваясь мечтаниям. И далее: «Когда строительство социализма останется позади, люди скажут: 'В годы тяжелых испытаний, в годы гражданской войны и голода они впервые за тысячелетия оказали доверие человеку'». К счастью для Мальро, он — француз, а не гражданин Советского Союза. Не то ходил бы, как Иван Катаев, в бушлате лагерника. Теперь мечта вывела его и у Мальро. Весной 1952 года он выступил в Париже с обстоятельный докладом, в котором показал, что никаких Шекспиров в «стране победившего социализма» нет и быть не может, как нет там и доверия к человеку.

Его нет и поныне. По-прежнему кругом враги, враги, врачи... В докладе «О состоянии и задачах советской литературы» А. Сурков дал перечень этих «врагов», с которыми советские писатели обязаны бороться: во-первых, «рецидивы реакционной теории искусства для искусства» и «спутник чистого искусства — формализм»; во-вторых, «космополитизм, как и сопутствующие ему низкопоклонство перед иностранным и нигилистическое отрицание ценностей родного народа»; в-третьих, «новораппопщина»; в-четвертых, «буржуазный национализм» с его «теорией единого потока». Перечислены были Сурковым и «порочные произведения» последнего времени: В одной только драматургии — длинный список «порочных пьес», вышедших в 1954 году: «Наследный принц» А. Мариенгофа, «Гости» Л. Зорина, «Гибель Помпеева» Н. Вирты, «Деятель» С. Городецкого, «Второе свидание» А. Хазина, «Дочь прокурора» Ю. Яновского... Всё, как встарь: враги, порочные произведения — и призывы к борьбе «за высокую идеальность литературы». Но есть, по сравнению с Первым съездом, гро-

мадная разница: нет больше мечты, ради которой стоило бы бороться; нет больше идеи, которая бы объединяла, сплачивала, звала вперед.

ЦК партии, как водится, привел в движение партийный аппарат, чтобы подогреть «идейную атмосферу» вокруг Второго съезда писателей. В марте 1954 были проверены республиканские партсъезды, в повестках дня которых стоял вопрос «о состоянии литературы». В июле вопросам литературы было посвящено специальное заседание Ленинградского бюро обкома партии. Потом начались областные и республиканские съезды писателей, на которых также выступали секретари ЦК и обкомов партии. Выступления их звучали, как давно стершаяся, загранная пластинка. «В произведениях искусства действительность всегда отражается художником с определенных идейных позиций. В характере отбора и трактовки фактов действительности, в их идейно-художественной оценке проявляются мировоззрение художника, его общественные идеалы...» Так говорили партсекретари — все по одной шпаргалке! Почувствовав, должно быть, что разговоры об «идейных позициях» и «общественных идеалах» — теперь, когда выветрилась мечта и наступило идейное оскудение — уже ни на кого не действуют, партийный аппарат придумал новый маневр по подогреванию атмосферы. Выступая на съезде писателей в Тбилиси, секретарь ЦК компартии Грузии В. Мжаванадзе заявил:

«Товарищи! Цека Компартии Грузии выяснил, что жертвами интриг и террора презренной банды убийц стали мастера грузинского художественного слова — Михаил Джавахишвили, Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Я рад сообщить вам, что по решению соответствующих органов эти лица реабилитированы».

Интересная подробность: в отчетах о речи Мжаванадзе, напечатанных в «Литературной газете» и в «Заре Востока», выходящей в Тбилиси на русском языке, нет этих слов о «реабилитации» бывших «врагов народа»; приведенный отрывок взят из газеты «Коммунисти», издающейся в том же Тбилиси на грузинском языке. Повидимому, цель этого сообщения была ограниченная: подогреть настроения на съезде грузинских писателей, — потому была ограничена и сфера его распространения. В Армении «реабилитировали» погибшего Егише Чаренца. На Втором съезде писателей в Москве было упомянуто о «реабилитации» этих жертв диктатуры. Но — только о них четырех...

Как ни старались партсекретари подогреть «идейную атмосферу» вокруг Второго съезда писателей, на этом съезде не было и сотой доли того подъема, который был пережит в тридцать четвертом году. Выступая по докладу Суркова, Вениамин Каверин привел цитату из Ленина: «В. И. Ленин, цитируя Писарева, писал: 'Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда всё обстоит благополучно'». Делегаты Второго съезда вряд ли забыли, как Первый съезд мечтал о «новой Элладе» и как потом эта мечта соприкоснулась с жизнью. На Втором съезде не было никаких мечтаний, ни одной попытки заглянуть в будущее, как это пытался сделать в августе 1934 года Юрий Олеша, тоже заплативший за свою «ересь утопии». Неблагополучие всей советской действительности, в которой нет никакого соприкосновения между мечтой и жизнью, отразилось, как в зеркале, в десятидневных заседаниях Второго съезда.

Не было заседания, на котором не говорилось бы о социалистическом реализме. Это — коренной вопрос. В 1934 г. даже в Уставе было записано, что «целью и задачей Союза советских писателей является... теоретическая разработка проблем социалистического реализма». Тотчас же после Первого съезда началась дискуссия о социалистическом реализме, которая длилась весь сентябрь 1934 года. Такие дискуссии возобновлялись из года в год — то в Союзе писателей, то, как в 1951 году, на сессии по литературоведению в Академии Наук. Несмотря на двадцатилетние — двадцатилетние! — дискуссии, проблемы социалистического реализма так и остаются проблемами. Доклад К. Симонова на Втором съезде начинается разделом: «О сущности метода социалистического реализма». «За истекшее двадцатилетие нашей литературной жизни, — заявил К. Симонов, — в толкование этого вопроса было внесено много путаницы». Но распутана ли эта путаница в его докладе? Нисколько. Доклад не отвечает даже на вопрос, что такое реализм вообще, а не только «социалистический». Доклад К. Симонова свелся к повторению горьковских высказываний о том, что «в нашей литературе мало изобразить сущее, необходимо помнить о желаемом и возможном», а также к цитатам из Устава Союза писателей, где социалистический реализм определяется, как метод, требующий «изображения действительности в ее революционном развитии». Надо полагать, самому К. Симонову понятно, что «реализм», который показывает «желаемое», никак не может быть назван ре-

ализмом. «Изображать действительность в ее революционном развитии» означает показывать жизнь не такою, какая она есть, а такою, какая она должна быть. В сентябре 1946 года, во время очередной дискуссии о социалистическом реализме, Илья Сельвинский предложил более подходящий термин: «социалистический символизм». Но заменить «реализм» — «символизмом» значило бы признать расхождение между желаемым и сущим, отсутствие соприкосновения между мечтой и жизнью и, следовательно, неблагополучие всей советской действительности. На Илью Сельвинского — прикрикнули. Писатели принялись сочинять романы вроде «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского или «Жатвы» Г. Николаевой, где колхозная жизнь показывается такой, какой ее желали бы видеть авторы (быть может, не авторы, а только партсекретари?), то-есть вне всякой связи с конкретной реальностью. Причем, только лишь появлялся роман, в котором была, пусть робкая, попытка приблизиться к жизни, как автору предъявлялось обвинение в «объективизме», даже «клевете». Такая участь постигла «Волгу-Матушку реку» Ф. Панферова, который — повидимому, в наказание — не был избран ни в президиум Второго съезда, ни в правление Союза писателей. В грехе «объективизма» были — в докладах Суркова и Симонова — обвинены и Вера Панова («Времена года»), и Илья Эренбург («Оттепель»).

При чтении доклада К. Симонова у меня возник вопрос: понимает ли он до конца, в чем несостоятельность метода социалистического реализма? Вернее всего, не понимает, как и мы, люди одного с ним поколения, не понимали бы, находясь там, в советской России. Потому что «проблему социалистического реализма» можно понять только при другом, новом, строе мышления. Как сказано в Уставе ССП, социалистический реализм «требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии»; требование это — точь-в-точь такими же словами! — было повторено (подтверждено!) в приветствии ЦК партии Второму съезду писателей. Показывать действительность «в ее революционном развитии», пожалуй, не так уж трудно, когда дело касается, скажем, постройки колхозной электростанции, как в «Кавалере Золотой Звезды» С. Бабаевского или прокладки трубопровода, как в романе В. Ажаева «Далеко от Москвы». Вот нарубили лесу, прогнали по реке плоты, заложили фундамент электростанции... — гла-

ва за главой «действительность» показывается «в ее революционном развитии». Писатель дает то, что нужно партсекретарям: положительную — динамическую и оптимистическую — картину советской жизни. Но когда писатель пытается, кроме постройки электростанции и прокладки трубопровода, показать людей, их взаимоотношения, сразу же обнаруживается несостоятельность метода социалистического реализма. Как показывать человека «в его революционном развитии»? В чем именно заключается «революционное развитие» человека? Вопросы эти, должно быть возникали в сознании К. Симонова, потому что в своем докладе он остроумно высмеял писателей, которые «революционное развитие» человека понимают, как продвижение по партийно-иерархической лестнице.

«Вслед за 'Кавалером Золотой Звезды', — говорил К. Симонов, — Ебабаевский выпустил две книги романа 'Свет над землей'. Когда читаешь этот роман, создается впечатление, что автора интересует не столько сама жизнь во всех ее реальных противоречиях, а главным образом то, как его герои идут всё к новым и новым успехам, неизменно повышаясь при этом в должностях. В конце романа мы узнаем, что Тутаринов становится первым секретарем райкома вместо Кондратьева; Нецветова намечается вторым секретарем; Остроухов — председателем райисполкома; Кондратьев — секретарем крайкома... В книге — чем ближе к концу ее, тем больше — дело изображено так, словно у нас в деревне все проблемы уже решены, словно людям за их заслуги остается только повышаться в должностях. Если бы автор продолжил роман, согласно этой логике, то очевидно Кондратьеву предстояло уехать в Москву, Тутаринову и Остроухову — в Ставрополь, Нецветовой стать первым секретарем райкома, а всем рядовым колхозникам сделаться председателями колхозов».

Но как-же, всё-таки, советскому писателю показывать «революционное развитие» человека? Как изобразить положительного — динамического и оптимистического — героя? Ведь даже из школьных учебников известно, что попытка создания положительного героя редко удавалась. А ведь какие писатели старались — Гоголь, Гончаров, Тургенев... Есть, правда, пример Достоевского, которому удалось изобразить «вполне прекрасного человека». Но князь Мышкин — не от мира сего, «идиот»... «Труднее этого, по-моему, быть ничего не может», — говорил Достоевский о попытке создать образ

положительного героя. Писатель, рисующий живые, убедительные человеческие образы, непременно изображает действие зла, махинации злой силы, в героях своего романа, т. е. тем или иным путем подводит их к некоему грехопадению. Во «Временах года» Вера Панова так и сделала. За всеми обвинениями в «объективизме», посыпавшимися на Панову, стоит одно, невысказанное: «Времена года» показывают, что в деле «воспитания нового человека» партию постигла неудача. Когда Борис Рюриков, редактор «Литературной газеты», пишет статью: «Трактовка отрицательных персонажей в советском романе», он, сам того не понимая, выдает внутреннюю слабость не только советской литературной теории, но и всей теории марксизма-ленинизма, всей коммунистической идеологии. Выступая на съезде, Мариэтта Шагинян говорила так: «Возьмем, к примеру, проблему положительного героя, в которой мы столько напутали...» Она почти буквально повторила то, что Симонов сказал в своем докладе о социалистическом реализме. Напутали в одной проблеме, напутали в другой, но разобраться так и не разобрались...

На Первом съезде — мечта, оптимизм, надежда. На Втором — разочарование, раздраженность, путаница. Писатели довольно откровенно об этом говорили — накануне съезда и на самом съезде. В «Литературной газете» от 11 ноября Василий Ажаев рассказывал: «...При устном обмене мнениями в литературных кулуарах рассуждения о съезде и о союзе просто подчас поражают равнодушием или, наоборот, резким раздражением: 'Я ничего не жду от съезда, поболтаем и разойдемся', 'Союз изжил себя, никому он не нужен'». Семеро писателей: В. Каверин, Эм. Казакевич, Мих. Луконин, С. Маршак, К. Паустовский, Н. Погодин и С. Щипачев выступили даже с «Открытым письмом», в котором говорили, что Союз писателей, «превратившийся из творческой организации в некий департамент по литературе», страдает такими коренными недостатками, что «исправить их невозможно»; предлагая, по существу, ликвидировать Союз и передать всю творческую работу журналам, издательствам и альманахам, они подымали голос как-бы за возврат к времени «Серапионовых братьев», «Костров», «Перевала», «Круга», «Ковша». Та раздраженность, о которой упоминал в предсъездовской статье Ажаев, прорвалась и в выступлениях на съезде. Валентин Овечкин, писатель-фронтовик, произнес обличительную речь против литературного Версала — против системы награждения писа-

телей премиями, против «сталинских лауреатов», которые «занялись личным благоустройством, всю страсть души отдали этому делу». Два дня спустя, вслед за Овечкиным, выступил Шолохов, который начал с того, что обрисовал атмосферу, столь характерную для «подстриженного Версая»:

«Наш Всесоюзный съезд... протекает прямо-таки величаво, но, на мой взгляд, в нехорошем спокойствии. Бесстрастны лица докладчиков, академически строги доклады, тщательно отполированы выступления большинства наших писателей, и даже наиболее запальчивая в отношении полемики часть литераторов, я говорю о женщинах — писательницах и поэтессах, за редким исключением, пре-бывает на съезде в безмолвии. ...Идет уже седьмой день съезда, но обстановка остается прежней. Некоторое оживление наметилось только после выступления В. Овечкина».

«Некоторое оживление», но и только... Коренной перемены не могло произвести даже выступление Мих. Шолохова, восставшего против придворных писателей типа К. Симонова, против «серого потока бесцветной, посредственной литературы, который последние годы хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок». Как только Шолохов сошел с трибуны, поднялся с заявлением Ф. Гладков: «...партийным своим долгом я считаю, что необходимо выступить против непартийной по духу и, я бы сказал, мелкотравчатой речи т. Шолохова».

Нет спора, выступления В. Овечкина и М. Шолохова интересны, но — незначительны. Напрасно думать, что молодой автор повести «С фронтовым приветом!» и поддержавший его автор «Тихого Дона» представляют какие-то борющиеся силы, под давлением которых на съезде были сделаны какие-то уступки, достигнут некий «тщательно продуманный компромисс». «Многие ошибки у нас в литературе, — говорил В. Овечкин, — шараханье из стороны в сторону, поспешная смена лака на деготь и наоборот, всё это от неуверенности в мыслях и убеждениях». Вот именно! «Неуверенность в мыслях и убеждениях» отразилась и в выступлении самого В. Овечкина, и в выступлении М. Шолохова. Только по запальчивости старого большевика, Ф. Гладков мог назвать речь Шолохова «непартийной»: в ней нет решительно ничего «непартийного», тем более «антипартийного». Как Шолохов, так и Овечкин, критиковали версальцев, принадлежа Версалю, Союзу писателей, ни на волосок не отходя от партии.

Будущее России, как и русской литературы, зависит от того, как скоро там появятся новые люди, которые, порвав с партией, с официальной идеологией партии — материалистическим мировоззрением, марксизмом-ленинизмом, обретут твердость и уверенность в мыслях и убеждениях. Второй съезд показал, насколько люди устали от путаницы, бесконечных дискуссий, неспособных ответить ни на один вопрос, потому что марксизм-ленинизм ни на что не способен дать ответа. Никогда еще, за все тридцать семь лет, у людей в советской России не было такого ощущения тупика, застоя, полного идейного банкротства. И никогда еще, думаю, перед русскими людьми, находящимися за рубежом, на свободе, не стояла с такой остротою задача *идейной* борьбы против коммунистического режима. Новым на Втором съезде писателей было то, что в Большом Кремлевском дворце, коммунистическом Версале, раздался голос свободных русских и иностранных писателей. На протяжении нескольких месяцев — перед съездом писателей — радиостанция «Освобождение» вела передачи по вопросам литературы. В дни съезда были переданы выступления А. Л. Толстой, Б. К. Зайцева, бывшего делегата Первого съезда писателей Глеба Глинки, Н. Ульянова, Игоря Гузенко, большого грузинского писателя Григория Робакидзе, Владимира Седуро-Глыбинного — бывшего члена Оргкомитета Союза советских писателей Белоруссии, украинского критика Ивана Майстренко, а также обращения ко Второму съезду писателей — Джона Дос-Пассоса, Эптона Синклера, Макса Истмана. Голоса эти были услышаны и, надо думать, породили разговоры в кулуарах. Версальцы были вынуждены заговорить об эмиграции. Первым выпустили Константина Федина, который, конечно, зная правду, говорил неправду: «Недостало сил, уже будучи советским гражданином, вернуться домой Ивану Бунину, русскому классику рубежа двух столетий...» (В. Н. Бунина опровергла это утверждение письмом, в котором говорится, что И. А. Бунин никогда и не собирался брать советский паспорт). На следующий день на съезде выступил Алексей Сурков. Он сказал: «Не молчат и враги нашей страны и нашей литературы. По случаю съезда был вытащен из ящика с литературным мусором белоэмигрант Борис Зайцев, который прошамкал у белогвардейского микрофона слова ядовитой бессильной злобы». Гофмейстеру коммунистического Версала, первому секретарю Союза писателей, незачем было бы так говорить, если бы голоса Б. К. Зайцева, А. Л. Толстой

(которую Сурков упомянуть не посмел, вероятно, побоявшись связать русскую эмиграцию с именем Толстого!), Григория Робакидзе и др. не распространялись по стране.

Как никогда, нуждается сейчас Россия в свободном голосе, который играл бы роль идейного фермента. Бродильный процесс уже начался, это видно по статьям Померанцева, Абрамова, Щеглова, по выступлениям Ольги Берггольц, по коллективному письму студентов Московского университета, выступивших в защиту Померанцева. Кто знает, быть может эти студенты и есть те новые люди, — шестидесятники двадцатого века, — которые несут новую животворящую идею на смену марксистско-ленинской мертвичине. Присмотревшись внимательно, мы увидим, в каком направлении идут поиски новой идеи. Поэтесса Берггольц говорила на съезде:

«Два года тому назад возник вопрос о самовыражении в лирике; этот разговор возник именно потому, что положение было такое, когда личность поэта просто совершенно исчезла из поэзии; она была заменена экскаваторами, скреперами, каналами, но человек и его человеческие чувства — личность поэта — почти исчезли».

Правда, Берггольц тут же оговаривается, что речь идет «не о всяком самовыражении, но о том, что поэт прежде всего должен выражать себя, как многогранную социалистическую личность». Трудно сказать, чем вызвана эта оговорка: необходимостью ли оградить себя от обвинений в «перекличке с философией субъективного идеализма», которые были предъявлены в докладе Самеда Вургуна сторонникам теории «самовыражения» — или всё той же «неуверенностью в мыслях и убеждениях», боязнью оторваться от «социалистического» ми-роощущения, непониманием всего того, что связано с идеей личности. Как бы то ни было, однако, несомненно то, что как поставленная В. Померанцевым проблема «искренности в литературе», так и поднятый Ольгой Берггольц вопрос о «самовыражении» в лирике, имеют одну, быть может, еще плохо понятую, центральную идею — идею личности. По моему убеждению, это и есть та идея, которая — оплодотворенная христианским откровением о личности — развеет, как солнце, болотный туман марксистско-ленинской бесовщины.

Михаил Коряков

“ОТЕЦ СЕРГИЙ” И ЧЕТЬИ МИНЕИ

К взаимоотношению художественной и духовной литературы

При изучении русской литературы возникает ряд вопросов, заслуживающих пристального внимания и до сих пор находящихся в тени. Одним из таких мы считаем проблему взаимодействия духовной и светской литературы¹. Следует лишь удивляться, что до сих пор не занялись ее решением, ведь именно в русской литературе мы наблюдаем исключительно повышенный интерес к религии и морали. Гоголь, Достоевский, Толстой, Лесков. Достаточно назвать эти имена и встает картина изумительной сплетенности беллетристики, этических учений, христианства и народной легенды. Много столетий живет в нашей литературе, уходя корнями в глубокую темь древности, бесчисленное множество легенд, житий святых, поучений и т. п., примыкающих к Библии и Евангелию. Нет возможности в краткой статье даже наметить те пути, по которым должен идти исследователь. Отметим лишь, что в ряде легенд и в житиях святых мы находим места изумительные по красоте и тонкости художественного выполнения. Этими места и влекли к себе писателей, служили им образцами и вдохновляли на новые искания.

В первой четверти XIX века, когда поднялась борьба «архаистов и новаторов»², архаисты (Грибоедов, Кюхельбекер) опирались на библейский стиль, изучали его и старались ему подражать. Вновь и вновь всплывало пресловутое учение Ломоносова о трех стилях. Именно в русской литературе, в русском языке жили и живут элементы народной и церковнославянской книжной речи. В устах разных сословий и социальных групп выковывался свой стиль, переносившийся, сознательно или бессознательно, в язык художественных произведений. Не только от темы зависит язык и стиль, но порой и от языка — та или иная тематическая установка. Не забудем

¹ См. наши тезисы на «I-м съезде славянских филологов в Праге, 1929 г.» и доклад, напечатанный в трудах съезда.

² См. Ю. Тынянов «Архаисты и новаторы». Госиздат. 1929.

и того, что часто параллельно развивались те внутренние психологические устремления писателя, которые в свою очередь тянули его к духовной литературе³. И вот Четыи Минеи в ней занимают не последнее место.

Уже Пушкин заинтересовался содержанием и языком Четыих Минеев. Он выразил свое возмущение теми, кто «не имеют никакого понятия о жизни того св. угодника, чье имя носят», и он же дивился «крайнему их нелюбопытству». В бумагах Пушкина находим выписки из Четыих Минеев. Возможно, что и в его творчестве («Монах») есть отражение Четыих Минеев (Сентябрь. Житие Иоанна Архиепископа Новгородского). Точно с легкой руки Пушкина Четыи Минеи проникли в литературу и второй половины XIX века и дали ряд тем и образцов стиля писателям. Тиховейный стиль Лескова, сентиментализм новой религиозной окраски в позднейших произведениях Достоевского, опираются на духовную литературу и, в частности, на некоторые жития в Четыих Минеях⁴.

В нашей статье мы будем говорить об истории создания рассказа Толстого и о его философии в связи с мировоззрением и мироощущением Толстого. Вопросы стилистики будут оставлены в стороне. Однако, прежде всего коснемся критических оценок «Отца Сергия», так как они сами по себе являются опорным пунктом для нас при разборе рассказа.

Ю. Айхенвальд отмечает, во-первых, «...как отличие от раннего Толстого-художника... в новых произведениях, и то, ...что в них появился «дьявол», в виде определенной и может быть всерьез принимаемой категории⁵. Во власти дьявола ока-

³ Так, напр., в переписке Гоголя находим цитаты и перефразировки из Библии, выписки из Отцов церкви и т. д. Одно из писем к сестре начинается прямым переводом из 1-й главы *«Imitatio Christi»*, без каких либо кавычек. Эти факты далеко не учтены в развитии Гоголя, в его биографии и творчестве. Мессианизм, мегаломания, пророчество, смирение, мечты о христианском искусстве, всё отразилось в них. Не забудем: что начал Гоголь (*«наш Паскаль»*, по замечанию Льва Толстого), то завершили Достоевский и Толстой.

⁴ См. Речи Макара Долгорукого и Житие Марии Египетской или Слова Зосимы и Четыи Минеи за Октябрь, 15 день. Лл. 126 (Изд. 1888).

⁵ Последнее неверно, т. к. уже в *«Анне Карениной»* похоть отождествлена с бесом. См. ч. III, гл. XXIII и т. д.

зался Отец Сергий»... По мнению критика смысл «Отца Сергия» в своеобразной теодицеи. «Теодицея человека... смотрит на нас и со страниц «Отца Сергия»... Монашество потому не удовлетворяет его, что оно меньше природы». Романы Толстого религиознее де богословских трактатов, «как религиознее птицы, чем псалмы». Поэтому-то и приходит, в конце концов, о. Сергий «к этой первой и последней инстанции, к природному сердцу человеческому», т. е. к Пашеньке.

С. Булгаков⁶ полагает, что в посмертных произведениях («О. Сергий» и «Дьявол») «никто не «воскресает», в них роковым образом гибнут человеческие души... Ужасом и тоской напоены эти страницы и бесповоротным кошмаром ложатся на душу». «Неодолимое могущество дьявола и бессилие добра — вот их подлинная тема». Описание жизни в монастыре, куда уходит о. Сергий, весьма не удовлетворяет проф. Булгакова: «При всей православной внешности о. Сергия из него удалены все действительные элементы православного старчества»... В понимании критика о. Сергий «просто автобиография Толстого». Наконец и поступает о. Сергий в монастырь «не из любви к Богу и стремления к уединению, ...но по мотивам поруганной гордости, как-бы мстя кому-то».

П. Бирюков⁷ рисует картину духовного состояния Толстого ко времени начала работы над «О. Сергием». В то время Толстой особенно занимался проблемой пола и вопросом самосовершенствования. В письме к Е. И. Попову Толстой утверждает, что положение людей в мире «удивительно счастливо... Хочешь не хочешь... Мужает человек, — мудреет умом и опытом, стареется, — слабеют страсти и дело жизни совершается... Ослабляет же нас в нашей борьбе с искущением то, что мы задаемся вперед мыслями о победе, задаем себе задачу сверх сил, задачу, которую исполнить или не исполнить вне нашей власти. Мы, как монах, говорим себе вперед: я общаюсь быть целомудренным, подразумевая под этим внешнее целомудрие» и т. д. «Все эти мысли, говорит П. Бирюков, заключены в «О. Сергии». Они настолько сильно занимали Льва Николаевича, что его художественное воображение создавало ему образы, выражающие эти мысли. Так возник сюжет «Отца Сергия». Лев Николаевич сначала увидал

⁶ «Человекобог и Человекозверь». Вопросы Фил. и Психол., кн. II (112), 1912, стр. 55.

⁷ Биография Л. Н. Толстого. Госиздат, т. III, стр. 134 сл.

во сне и потом рассказал этот сюжет в письме к В. Г. Черткову и тот переписал его и возвратил его Л. Н-чу, прося его не оставлять этого прекрасного начала. Лев Николаевич стал развивать сюжет и, увлекшись, написал чудное художественное произведение».

Проф. Н. Лоссийский⁸, критикуя учение Шопенгауэра о неизменности характера человека, приводит свои примеры, доказывающие обратное. По его мнению имеется возможность изменения характера, ибо подлинное «Я» и «глубинное Я» есть бытие, стоящее выше своей природы, т. е. выше своего эмпирического характера». В пример же мнимого изменения характера и приводится «Отец Сергий»: «Толстой дал потрясающую картину мнимости изменений характера человека, несмотря на героическую борьбу его с собою, в духе учения Шопенгауэра, утверждающего неизменность характера». Есть, однако, подлинное изменение: «Такой переворот и такая борьба может быть подлинным преображением личности, а не одним лишь утончением прежних страстей, как это изображено у Л. Н. Толстого в истории души «Отца Сергия» на всём протяжении художественного изображения жизни Сергия».

Иеромонах Иоанн⁹ подвергает жестокой критике рассказ Толстого, ибо прежде всего «О. Сергий» не художественен. «Повествование об отце Серии... поражает своим духовным и чисто литературным... легкомыслием». Критик упрекает Толстого в забвении основы христианства при рассказе о монахе, т. к. не выводится ни разу образ Христа. Наконец, Толстой, по мнению иеромонаха Иоанна, совершил ряд ошибок: «Он смешивает два совершенно разных понятия: монашеский постриг и священническое рукоположение». Толстой допускает «открытое кощунство, ибо от грешного человека, каким был о. Сергий, начинают изливаться на людей чудеса». Всё в рассказе Толстого кажется иеромонаху Иоанну лживым и полным «внутреннего безбожия». Несуразной вещью считается ему и то, что еще не смирившего свою гордыню Сергию его старец-учитель отправляет отшельником в пещеру¹⁰.

Мы постарались привести наиболее существенные кри-

⁸ «Свобода воли». YMCA Press, Paris. Стр. 99-100.

⁹ «Церковь и Мир». (Очерки), г. Белая Церковь, 1929.

¹⁰ Последнее утверждение не соответствует истине. Из ряда житий святых (напр. Моисея Мурина) мы знаем подобного рода факты.

тические отзывы¹¹, касающиеся «Отца Сергия». Все почти критики как-бы согласны, что рассказ Толстого произведение автобиографическое, исключающее при том настоящее проникновение в монашество, произведение без единого светлого луча в темном царстве изнывающей плоти. Мы позволяем себе не согласиться с подобными утверждениями и для доказательства своей мысли обратимся прежде всего к разбору сюжета «Отца Сергия». С нашей точки зрения почти весь «Отец Сергий» написан под знаком Четырех Миней, по образцу жития Иакова Постника. Однако, прежде нежели говорить о соотношении обоих произведений, необходимо рассмотреть вопрос о том, насколько Л. Толстой был знаком с Четымя Минеями.

В марте 1872 г. Л. Толстой писал Н. Страхову: «Я изменил приемы своего писания и языка... Язык, которым говорит народ, мне мил. Язык этот есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не повторит, а наш литературный язык без костей, так на нем что хочешь мели, всё похоже на литературу». Эти слова указывают на тот путь, по которому шел в своей стилистике Толстой. Возможное приближение в разговорно-народной речи и народным сюжетам, стремление к «парочитой правдивости». В круг произведений, написанных хотя бы частью в этом ключе, и входит «Отец Сергий». Таковы стилистические-языковые основы, увлекшие Толстого и к народной легенде и к Житию. Были кроме того и другие религиозные и писательско-профессиональные причины, которые толкали Толстого к духовной литературе. Он в 1880-е и 1890-е годы с увлечением читает духовную литературу. В письмах Толстого находим имена таких святителей, как Исаак Сирин, Ефрем Сирин; его интересует книга Святогорца Никодима «Невидимая брань» и т. д. Биограф Толстого П. Бирюков сообщает, что в восьмидесятых годах писатель занимался «выборкой из Четырех Миней и Прологов». Но и кроме того нам известно, что Четыри Минеи были настольной книгой тетки Л. Н. — Александры. Наконец, и в своей автобиографии, говоря о матери и брате, Толстой замечает: «В житиях Димитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, — это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей бра-

¹¹ К сожалению, нам недоступна статья Г. Никитского: «Отец Сергий Л. Толстого», напечатанная в Херсонских Епархиальных Ведомостях, 1912 г.

тии много недостатков и несмотря на то явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду. Ему отвечали: он никогда не осудил никого. Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их».

Полагаем, что приведенного материала вполне достаточно для полной уверенности в том, что Толстой превосходно знал Четью Минеи. Кроме того, ко времени начала «Отца Сергия» относятся поездки писателя в Оптину Пустынь и личное наблюдение над жизнью монахов и беседы со старцами. Так как сюжет «Отца Сергия» всем слишком известен, то позволим себе в сжатом виде изложить вышеупомянутое житие Иакова Постника, «падшего и покаявшегося»¹². В житии этом повествуется о необходимости смирения и о всепобеждающей силе покаяния: «Многих благ и душеполезных добродетелей Бога любящим человеком, по заповедям Спасовым житие свое управляющим, смирение виновно бывает. Еже аще кто стяжет совершенно, той не боится, да не падет, не уповаает бо на ся, ни мнением о себе возносится... Великий грех высокоумная гордыня приносит». Позволим себе, держась подлинника, изложить его содержание своими словами.

Был некий муж, отшельник в Финикийской стране, живший по близости города Порфириона и носивший имя Иакова. Жил таким образом он пятнадцать лет в чине иноческом в пещере. Был он великий постник и получил дар исцеления и изгнания бесов. Часто стали посещать его как верующие, так и «неверные Самаряне». По наущению дьявола решил один из самарян, посоветовавшись с близкими и знакомыми, соблазнить святого. Решили сделать это при помощи блудницы. Пришла она к отшельнику поздним вечером — ночью и начала стучать в двери, умоляя его впустить ее внутрь. Когда же отшельник не отворил ей, то она еще прилежней начала стучать, бесстыдно всевозможными способами умоляя его. Открыл, наконец, дверь святой и, увидя женщину, испугался, полагая, что это дьявольское привидение. Оградил он себя крестным знамением и, захлопнув двери, ушел в келию и стал прилежно молиться Богу, чтобы исчезло это искушение и чтобы Господь отогнал злого духа. Была в то время уже

¹² См. Книга Житий Святых на месяц Март, 4 день. Москва, изд. 7-е, 1888 г.

полночь и женщина не переставала стучать и взывать, говоря: «Помилуй меня, ты истинный раб живого Бога! Отвори же мне дверь, чтобы не сделаться мне у твоей двери пищею хищников». Святой, вспомнив о полуночном времени и многочисленных зверях, принужден был против желания открыть ей. И спросил Иаков: откуда ты и чего здесь ишешь? Отвечала ему женщина: я из монастыря девического и была послана игуменьей в город ради некоторых надобностей. На возвратном пути объяла меня темная ночь, заблудилась я и пришла сюда. Молю тебя, человек Божий, помилуй меня и не допусти у твоих дверей быть растерзанной зверями. Разреши же мне эту ночь пробыть у тебя, пока не засияет новый день, когда отправлюсь я в свой путь. Сжался над ней преподобный и впустил к себе и, предложив ей хлеба и воды, сам заперся во внутренней келии, оставя ее во внешней. Женщина отдохнула немного и вскоре, сказавшись больной, начала горестно стенать, умоляя преподобного помочь ей. Святой, поглядев в окошечко и видя ее страдания, не знал, что сказать и что делать. Женщина же продолжала свои просьбы, говоря: молю тебя, отец, взгляни на меня, помоги мне, огради крестом святым, ибо страшно болит мое сердце. Услыхав это, пришел к ней отшельник и, зажегши огонь и захватив елей, присел рядом с ней. Левую руку при этом вложил он в огонь, право же, обмакивая в елей, начал прикасаться к груди женщины. Тогда возгорелось у женщины страстное желание и, побуждаемая вспыхнувшей страстью, захотела возбудить и его похоть. Желая соблазнить и ввести с собою в грех, она говорила: умоляю тебя, отец, сильнее мажь елеем и более согревай грудь мою рукою. Отшельник исполнил ее желание, но дабы не пробудилась в нем похоть и не проснулось злое желание, продолжал сжигать на огне свою левую руку. Сжигал он ее до тех пор, пока часть его пальцев сгорела и упала в огонь. Делал же он это против искушения диавольского, чтобы вследствие нестерпимой боли от огня, ни единый скверный помысел не пришел ему на ум. Когда увидела это женщина, то ужаснулась и умилилась. Встала она и бросившись к ногам начала умолять святого простить ее. Святой простили ее и отоспал к епископу, а тот, наставив ее, поместил в девический монастырь. Женщина исправилась и сделалась с Божьей помощью святой.

Через некоторое время одна молодая девушка, обуянная злым бесом, начала призывать имя Иакова. Девушку привели

к святому и он ее исцелил, однако не взял золота за свое благое деяние, а лишь продолжал творить новые и новые исцеления. Испугался вскоре отшельник тщеславия и удалился в иное место, поселившись в пещере. Прожил он там много лет, питаясь зеленью и плодами сада. И заметил в то время диавол, что возгордился святой своей славой у монахов и мирян и наслал на него искушение. У одного богача была дочь одержимая бесом, который стал говорить, что оставит ее только по слову Иаковлеву. Святой исцелил девицу, но по желанию родителей для большей уверенности она должна была пробыть у святого еще дня три. Когда на время родители удалились, то искушение страшной силы овладело душою старца. Сколько ранее было его житие прекрасное и постническое, столь же велико было и его падение. Святой, под влиянием диавольского искушения, скверных мыслей и нечистого возделания плоти, разжегся похотным желанием. Ранее он победил более прекрасную самарянку, сжег свою руку, а тут, будучи уже старцем, изнасиловал девицу и погубил свою и ее девственность. Мало этого, святой, боясь того, что девица расскажет родителям, убил ее. За этим последовало глубокое отчаяние, бегство, скитания и наконец многолетнее смиренное покаяние. Постепенно Господь услышал его мольбы и он достиг великой святости. Незадолго до кончины святителя случилась жестокая засуха. Все пришли молить его помолиться о дожде. Долго отказывался святой, считая себя недостойным, но наконец уступил и по его молитве пошел дождь, спасший всю округу.

Таково содержание жития, сжато изложенное нами. Прежде чем перейти к деталям, сравнение которых в вопросах влияния имеет решающее значение, отметим основное сходство в архитектонике: 1) искушение и победа над ним, 2) достижение прославленной святости, пробуждение гордыни и увлечение славой людской, 3) новое искушение более слабыми средствами и... падение, 4) длительное покаяние и исправление, кончающееся новым служением Богу и людям.

Целый ряд подробностей сближает рассказ Толстого с Житием Иакова Постника. При первом искушении, когда является к о. Сергию Маковкина и стучит в двери, то он молится и говорит: «Боже мой! Да неужели правда, то, что я *читал в житиях*¹³, что дьявол принимает вид женщины... Да, это го-

¹³ Курсив наш.

лос женщины. И голос нежный, робкий, милый. Тьфу! он плюнул». Долго и настоятельно взыывает Маковкина, но о. Сергий, подобно Иакову, не хочет ей отозваться, считая ее сперва привидением и ограждая себя крестным знамением. Маковкина, объясняя свой приход, говорит подобно самарянке: «...Я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле...». После прихода ее в первую, внешнюю келию, подобно самарянке, героиня Толстого выжидает некоторое время, а потом начинает стонать вследствие мнимой болезни. Она также, ложась, открывает грудь. Отец Сергий затворяется во внутренней келии и долго молчит и медлит. Когда же он решается выйти, то в тексте Толстого читаем: «Да, я пойду, но так как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню¹⁴. Но жаровни нет...». Отец Сергий пробует жечь руку на лампе, но не в силах, тогда он идет в сени и отрубает палец. Увидав его руку, Маковкина каётся и просит прощения. Можно было бы привести еще целый ряд выписок и сходных пунктов, напр., хотя бы то, что и Маковкина, желая соблазнить о. Сергия, внезапно охватывается истинной страстью, но остановимся на одном. Судьба Маковкиной совершенно совпадает с судьбой раскаявшейся самарянки, с которой у нее и другие общие черты. И эта «блудница нового времени» сделалась невестой Христовой: «Через год, пишет Толстой, она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма».

В дальнейшем развертывании рассказа отец Сергий совершает ряд чудес исцеления и постепенно им овладевает дух гордыни и славолюбия. «Он чувствовал в глубине души, что лъявл подменил всю его деятельность для Бога деятельность для людей». Строгая, постническая прежняя жизнь уничтожилась. Исчезла «внутренняя жизнь и заменилась внешней». Именно такого рода замечания Толстого подготавливают нас к возможности падения. И в дальнейшем мы находим ряд опорных пунктов и сходных положений. К отцу Сергию приводят дочь купца, человека, по всей видимости, богатого. В житии — дочь богатых родителей. Обе девушки ненормальны, но не безумны, а одержимы бесом. Злого духа, или их ненормальность, и должны изгнать святые. Первоначальная

¹⁴ Конечно, подразумевается отец Иаков.

редакция¹⁵ (1891 г.) «Отца Сергия» заканчивалась убийством девицы. Сергий бежал из келии в отчаянии. Он убил, чтобы она не рассказала своим родителям. Судя по всему, он в этой редакции кончал с собой¹⁶. Явно, что и первая редакция была писана по образцу Жития Иакова Постника. Но и позднейшее уклонение, где находим только желание убить, не осуществившееся случайно, и эта особенность ведет к тому же источнику. Не оборвалось на сем житие Иакова, ибо он восстал после падения. Отец Сергий должен был быть приведенным к покаянию. Убегая от людей, он утомился и заснул в пути. «...И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Совсем как во многих житиях, где являются ангелы и наставляют на путь истины. И отец Иаков исповедует грех свой не только Богу, но и человеку. То же сделал и о. Сергий. Наконец понимает отец Сергий, присмотревшись к жизни кроткой и жертвенной Пашеньки, в чем был его грех: «я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей». «Но ведь была доля искреннего желания служить Богу, — спрашивал он себя, и ответ был: — Да, но всё это было загажено, заросло славой людской». Для такого человека земной славы и страсти — нет Бога. И отец Сергий уходит от суеты мирской, второй раз пускаясь на поиски утраченного Бога. Совершает он добрые дела, но не приемля благодарности уходит: «И понемногу Бог стал проявляться в нем»... Отец Сергий достиг смирения и начал в Боге новое служение людям.

Некоторые критики упрекают Толстого в полном нарушении преданий православия, в непонимании и непроникновении в жизнь монастыря и подвижника. Всё это с нашей точки зрения неверно по отношению к «Отцу Сергию». «Отец Сергий» написан высоко-художественно и правдиво. Это рассказ-житие, повесть о падении и восстании души человеческой, стремящейся к совершенству. Причиной падения, при вторичном

¹⁵ См. Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого под ред. В. Г. Черткова. Т. II, 1911 г.

¹⁶ Чрезвычайно любопытно, что и в Житии Иакова Постника есть как-бы намеки на то, что и он мог бы и хотел покончить с собой.

и «меньшем»¹⁷ искушении, является гордыня, превозношение. Так рисовалось дело и в житии и так же представлялось и Толстому. Об «Отце Сергии» читаем в письме В. Черткову (17, II, 1891 г.): «Он очень мне дорог. Борьба с похотью тут эпизод или, скорее, одна ступень; главная борьба с другим — с славой людской».

Каков же идеологический стержень «Отца Сергия» в замысле и осуществлении? В записной книжке Толстого находим чрезвычайно ценные слова: «Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, ни тому, который живет для духовных целей один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения Богу среди людей». Казалось бы чего еще — всё ясно! Толстой считает монашество и отшельничество злом и путем неправедным. Однако, смысл «Отца Сергия» шире и глубже чем то, может быть, что в 1892 г. порой думалось Толстому. Оба пути — и путь жертвенного служения ближнему, и путь предания себя Господу, оба праведны, оба тернисты и ведут к спасению. Так учит православие в лице многих подвижников и в этом смысле «Отец Сергий» не идет вразрез с преданием церкви. Да и в самом Толстом и в зрелые годы менялось внутреннее отношение к монашеству, к пустынножительству и к православию. Толстой не раз по-новому решал вопрос о путях, ведущих к истинно святой жизни. Не всегда казалось ему, что монашество и монастырь — «сибаритство». В 1877 г. Страхов писал Толстому, после его посещения Оптиной Пустыни: «Отцы хвалят вас необыкновенно, находят в вас прекрасную душу. Они приравнивают вас к Гоголю, вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у вас нет этой гордости». В дневнике под 28 октября 1889 г. читаем любопытную запись Толстого: «Есть люди тяжелые, без крыл. Они внизу возятся... Есть люди равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи». Как видно из этой записи, Толстой далеко не всегда отрицательно относился к монашескому подвигу. Через четыре месяца (28. II. 1890 г.) писатель делает заметку о своем новом отношении к православию и его представителям в Оптиной Пустыне: «Достиг терпимости православия в этот период. Был у Леонтьева. Прекрасно бе-

¹⁷ Как в житии отмечается вящая прелесть самарянки, так и Толстой сделал дочь купца — Марью грубой и некрасивой в сравнении с Маковкиной.

седовалии¹⁸: Спустя несколько месяцев (30. VI. 1890) мы находим чрезвычайно важную заметку в дневнике Толстого. В основе ее тексты из Евангелия: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко есть». «Глубоко значение этого. *Всё беспокойство от несмирения*».

За год до последнего возврата к тексту «Отца Сергея» (1897), собираясь оставить свою семью и уйти из дома, он писал жене в непосланном письме: «...Всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу... Хочется этого спокойствия, единения». Видимо не всегда казалось Толстому затворничество праздностью, но порой и работой для Бога. И как Сергий собирался бежать от людей, чувствуя, что живет ради славы, и не мог, так не удалось и бегство Толстого. Но главное, что роднит Толстого с Сергием, это искреннее религиозное чувство. Напомню хотя бы трогательные слова Толстого об «Отче наш». Если верить автору, а нет оснований ему не верить, то и Сергий был в своей основе всегда человеком верующим. Он стал монахом не из одной ущемленной гордости или желания уйти, скрыться: «В нем было и другое истинно-религиозное¹⁹ чувство».

Но что интересней всего — в самом «Отце Сергию» нет не только насмешки неверия над чудесами и обрядами, как напр. в «Воскресении», но и много тонких, духовно верных черт. Тонко сказано о Сергию в моменты искушения: «Касатский чувствовал, что он не в своей власти и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой». Или: «Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть, и оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть»²⁰.

¹⁸ Речь идет о том самом К. Леонтьеве, суевериями которого был ранее так возмущен Л. Толстой.

¹⁹ Курсив наш.

²⁰ Видимо Толстой недаром называл «Невидимую Брань» Святого Гора Никодима «прекрасной книгой». В ней заключены подобные мысли и говорится о многих весьма тонких искушениях «умного свойства», но которые иногда принимают плотский вид. Невидимая брань ведется диаволом неустанно и против достиг-

Наконец следует отметить еще одну существенную подробность. Толстой прямо показывает, что и в монастыре, до того как Сергий сделался прославленным чудотворцем, он истинно служил Богу. Произведение оказалось глубже и правдивей самого замысла. Ведь сказано же, что Сергий перед вторым искушением «чувствовал ослабление, потухание Божеского света истины, горящего в нем». Он понимал, что «внутренняя жизнь заменялась внешней», а это значит, что до того она была! Что это именно так, подтверждает сам автор: «Не было у него *теперь*²¹ любви, не было и смирения, не было и чистоты».

В рассказе Толстого отразилась его личная внутренняя жизнь, в особенности в описаниях борьбы и муки, доставляемых похотью и гордыней. До конца 1888 г. писатель держался мнения о праведности и спасительности брака. Но вот с конца 1888 г. и в 1889-90-х годах начинается новый перелом в духовной жизни творца «Анны Карениной». Не будем здесь касаться множества причин, приведших его к этому. Толстой полагает уже, что и жизнь в браке не чиста и не спасительна, что женщина и женственное начало — начало «прелестное» и злое. Дьявол, женщина и похоть отождествляются в его мироощущении. Эта черта ярко проведена и в другом произведении, совпадающем во времени своего идеологического начала с «Отцом Сергием». Я говорю о «Дьяволе». Иртенев перед преступлением кричит в отчаянии: «Господи! Да нет никакого Бога! Есть дьявол и это она. Он овладел мною. А я не хочу, не хочу! Дьявол, да, дьявол!». Совершенно тоже, почти дословно говорит и Сергий, называя Марию дьяволом и после греха ощущая, что «нет Бога» и нельзя молиться. Как теперь хорошо известно, в «Дьяволе», в описании злой страсти Иртенева к крестьянке Степаниде, Толстой частью изображает самого себя и свое увлечение. Проблема пола нашла себе место и в других художественных произведениях писателя. Здесь следует видеть причину, толкнувшую к теме «Отец Сергий», к аскетической литературе и к житию. Толстой глубоко правдиво стремился изобразить и проникнуть в жизнь отшельника нового времени. Если у него, напр., и не упомянут

ших высокой святости. Именно жизнь многих святых не покой, но тяжкий труд и незримая упорная борьба. Толстой читал «Невидимую Брань» в русском переводе 1886 г. еписк. Феофана.

²¹ Курсив наш.

Христос, то нельзя воспринимать это сквозь призму всего учения Толстого позднейших лет, когда он уже решился «исправлять Христа, Конфуция и Будду». Есть немало житий святых, где ни в видениях, ни в их словах сочинитель жития не говорит о Христе и не выводит Его образ. Внимательно вчитываясь в жития, поучения и слова подвижников, мы найдем, что иной раз Христос и Бог для них сливаются в общем едином понятии и чувстве Божества. Толстой, нет сомнения, не верил уже в 1898 г. в Христа, как в Сына Божия, но это неверие нигде не обнаружил в «Отце Сергию».

Есть, конечно, в «Отце Сергии» мелкие неточности и незначительные упущения, но нет никакого нарушения духа православия в его основах, в правдивости перспективы. Что отец Сергий всё время находится в борении со страстями, пока живет в монастыре и в пещере, то это факт известный и засвидетельствованный многими житиями и такими столпами православия, как Исаак Сириянин.

В «Отце Сергии» заложены две идеи вечно близких и постоянно манивших Толстого. Первая — основная черта его мироощущения: благословенна жизнь вся, ибо она прекрасна, как жизнь. И вторая: хорошо, добропобедно стремление к совершенству высшего сознательного Я, внутреннего человека. И всё равно, в миру ли, или в затворе, ибо Я, выростая в смирении, касается престола Божия.

Ростислав Плетнев

ПО ИСПАНИИ

Толедо

Толедо стоит на высокой сожженной солнцем скале. Почти со всех сторон ее опоясывает стремительная Тахо. В средние века это было неприступное гнездо. Мавры так хорошо его укрепили, что все осады, предпринимавшиеся кастильскими королями ни к чему не приводили. Только в 1085 году Альфонсу VI удалось его взять измором. Сюда перенесли трон, здесь стали собираться кортесы, и город начал заселяться христианами. Старинные хроники повествуют, что король сделал специальное обращение ко всем знатным сеньорам — «рикос омбрес» — чтобы они поселялись тут. «И пришли они в Толедо, а с ними явились и другие именитые мужи и архиепископы и епископы и аббаты и иные духовные особы».

Если в середине XX века можно по пальцам перечесть все деревца и кустики, что каким-то чудом нашли приют в городе, то в средние века здесь было сплошное царство камня. В Толедо яблоку негде упасть от скученности домов и строений. Никакого намека на главную улицу, все улицы одинаково узки и тесны. Нет возможности посмотреть со стороны на кафедральный собор стиснутый со всех сторон домами настолько, что можно видеть отдельные части стен подойдя к ним вплотную, но общий вид собора открывается лишь с высоты одной из соседних крыш. Только небольшая площадь перед главным порталом позволяет хоть немного отойти в сторону для обозрения внешнего вида храма. Эта площадка представлена на полотне F. Rizi в Прадо, изображающем суд над еретиками в 1680 году. Ряды богатых кресел для знатных сеньоров, особые места для прелатов и инквизиции, стража с алебардами, фигуры еретиков с высокими колпаками на головах. Нигде инквизиторская беспощадность не запечатлелась так в общем облике города, как в Толедо. Где же было и осуждать людей на сожжение, как не в этом вертепе камня, задавившего всё живое. На картине Греко он — не обиталище людей, а призрак, город поднявшийся из преисподней. Здесь и в самом деле попахивает пеклом.

Нигде, быть может, католическая святость соборов не пронизана так нечистой силой, как на этой бурой скале. Во всех готических церквях мы привыкли видеть химер и гадов снаружи, как бы изгоняемыми из храма, — в Толедо они забрались внутрь. В кафедральном соборе деревянные ворота, покрытые с внутренней стороны резьбой, украшены сплошь гермами сатиров и нимфами. В самом центре собора чудовища топорщат крылья и разевают пасти рядом с иконами и лампадами. Еще больше их в соборе Сан Жуан Де Лос Рейес. Этот собор, вообще, страшен. Наружные стены его обвешаны кандалами, а аркада, окружающая *patio* — настоящее пристанище бесов. Они густо набились в капители колонн и пилasters, в колючее плетение готического орнамента. Из-под каждого листка, из-под каждого завитка выглядывают когтистые лапы, крылья нетопырей, гадючие головы, ужасные хвосты и рыла. Присутствие нечистой силы вполне объяснимо там где Божье дело вершилось дьявольскими средствами.

В этом городе нашел приют странный художник забытый после смерти, но сделавшийся необычайно популярным в наши дни. Всего каких-нибудь сорок лет, как он «открыт». До тех пор имя его знали, картины хранили в музеях, но ни искусствоведы, ни профессионалы художники, ни дилетанты ничего особенного в нем не усматривали. Теперь его домик в Толедо сделался туристической Меккой и каждый день заполняется толпами пришельцев из дальних стран, жующих резину и щелкающих кодаками. Когда среди них попадаются французы, им не забывают сказать, что это — Пикассо XVI века. Действительно, никто может быть больше Пикассо не содействовал популярности критского грека Доменико Теотокопуло, прозванного Эль Греко. Как политическая история осмысливается нередко под влиянием текущих событий, так и в истории искусств далекие фигуры выступают неожиданно от яркого луча брошенного каким-нибудь мастером нашего времени. Давно признано, что более чем двухсотлетняя тирания Болонской школы свергнута и «высокий ренессанс» открыт благодаря импрессионистам и Сезанну. Успех того же Сезанна, а потом Пикассо, помог открыть Эль Греко.

С Пикассо его роднит некий антропологизм, чувство расы исходящее от их полотен. Пикассо в некоторые периоды своего творчества писал загадочных людей с лицами отражающими неизвестный нам мир, с телами чахлыми и угловатыми. Всё означало в них неведомую народность — одному Пикассо из-

вестную человеческую особь. То же и у Греко. Длинношеие, длинноголовые, точно вытянутые фигуры людей. Мужчины с прекрасными и тонкими, как у дам руками, глубоко, как в яму посаженные глаза, ужасные носы, и та же загадка расового происхождения: кто эти люди, откуда? Но этим не ограничивается параллель с Пикассо. У них — общая судьба в искусстве своего времени. Известно каким упрекам в «глумлении» над живописью, в нарочитом стремлении к безобразному, подвергается Пикассо. Эль Греко имел тоже немало скандалов и гонений, вплоть до угрозы судом инквизиции, на почве оскорблении вкуса своих современников. Если нынешний обыватель готов выходки Пикассо объяснять неумением рисовать и писать, то существует большой соблазн предъявить такое же обвинение и Эль Греко. На картине Крещения Христова в Прадо у одного из ангелочек витающих в облаках — чудовищно огромная нога, никак не соответствующая детскому телу, к которому приставлена. В том же зале — «Святое Семейство», где младенец, держащий блюдо с фруктами, написан уродом с вопиющими нарушениями анатомии. Таким же выродком, червячком со слабым ракитичным тельцем, но с атлетически развитыми икрами ног, написан младенец в другом варианте «Святого семейства», хранящемся в Бухаресте. А лица? Искривленные, ассиметричные, с ужасной посадкой глаз, с дегенеративными носами и лбами. Глядя на его полотна кажется, будто писал он одних долихоцефалов. Даже на портретах. Портретистом он был знаменитым, имел много заказчиков, но не верится, чтобы к нему шли только длинноголовые. Между тем, все его мужские портреты — это сплошные редьки хвостом вниз, вписанные в пышные воротники. Коварный грек несомненно вытягивал головы почтенных сеньоров. Вытягивал тела. Может быть в самом деле не умел рисовать, не знал пропорций и анатомии? Такого обвинения ему никто не решится сделать. Ремесло свое Греко знал в совершенстве. За два года пребывания в Риме проник в тайну мастерства Микель Анджело, а перед тем, в Венеции, учился у Тициана. Никакая самая замысловатая композиция, ни один сложнейший ракурс тела не бывали ему страшны — всё разрешалось с необыкновенной легкостью. Достаточно посмотреть на его Пиету, чтобы понять, какие великолепные атлетические фигуры мог он писать. И если не писал, то совершенно очевидно, здесь было не неумение, а не желание. Что-то отвращало от аполлонически стройных тел и небесно-прекрасных лиц. Бывают эпохи пресытившиеся кра-

сотовой, когда обилие прекрасного порождает реакцию. Красота приедается, исчерпывает себя. И когда наступает момент, что «красивее» написать уже невозможно, появляются люди отталкивающиеся от прежних шедевров.

Нам надоели небесные сладости
Хлебище дайте нам жрать ржаной.

Происходит отступление назад, к «некрасивому», к «неправильному», к хаосу, чтобы окунувшись и обновившись в нем найти новую красоту.

Вероятно, человеку родившемуся на Крите, самом чувствительном месте скрещения всех тысячелетних токов средиземноморской культуры, легче было, чем кому-либо другому, попав в Италию, почувствовать конец Ренессанса. Он обучается искусству своих великих метров как будто для того, чтобы сразу же от него отойти. Он — несомненный бунтарь, футурист XVI века. Человек предлагавший соскоблить со стен и потолка Сикстинской Капеллы роспись Микель Анджело с тем, чтобы покрыть их своей собственной — достоин быть современником Маринетти и Маяковского.

Повидимому уже в Италии Греко не любил возрожденскую гармонию и пропорции человеческого тела разработанные в стольких великих образцах, закрепленные в сочинениях и учебных трактатах. Глядя на его полотна в Толедо, в Прадо, в Эскрииале, нам ясно становится какими жирафоподобными существами украсил бы он стены Сикстинской Капеллы. И какими отнюдь не «божественными» образами. Богородица у него — то голосящая баба стоящая у креста с осклабленным ртом, с раскисшими губами, то ужасный выродок с перекошенным лицом и посаженными на самых скулах глазами. У Греко точно существовала непреодолимая потребность «обезображивать» всё, что до него считалось прекрасным. Обнаженного женского тела не пишет совсем, рубенсовского трепета жировых складок, алебастровой глади Тициана и Тинторетто, персикового загара Джорджоне, видимо, вовсе не терпит. Мужские тела пишет так, что их плотскости совсем не чувствуется, точно вместо кожи на них — трико. Есть тела цвета пивной бутылки, есть свинцовые, пепельно-серые, лиловые, желтые. Теплой, живой человеческой кожи, к передаче которой с такой жадностью стремились мастера Возрождения у него не найти. Не найти и передачи тканей. Попробуйте определить, во что одеты фигуры на его картинах? Шелка, бархаты, парчу Тициана и Веронезе

он явно исключает из своей эстетики, они приелись, как пирожные. Одежду он пишет, подобно Сезанну — абстрактно. Бог знает из чего она, шелк — не шелк, бархат — не бархат, дерюга — не дерюга... Это «идея» одежды. В области краски Греко — такой же бунтарь. До нас не дошли отзывы современников о его палитре, но надо думать, они предвосхищали протесты Исаака Бродского — придворного советского портретиста: «Наша эпоха такая светлая, а левые художники пишут темными красками! Привычные, ласкающие глаз краски приелись вместе с шелками и бархатами, с атласными бедрами Венер, со стройными телами святых Себастьянов; они отнесены к разряду «небесных сластей». Там, где их нельзя совершенно изгнать, например, в портретах, там мастер надевает на них сурдинку; он не позволяет им звучать, как они звучат на портретах того же Тициана, Рафаэля, Рубенса, Веласкеза, Франса Гальса. Можно видеть, как тонкой кистью проходит он по лицам, по рукам, по обнаженным частям тела, где розоватость и телесность могли бы заявить о себе слишком громко, и всюду накладывает патину. В городском музее Монреяля висит портрет его работы с совершенно лиловым лицом, а на луврских полотнах господствует зеленовато-серый оттенок. Лица и руки становятся оттого, если не болезненными и мертвыми, то по крайней мере лишенными дневного света. Свет у Греко особенный — не солнечный, не лунный, не ламповый — скорей неоновый. Трудно назвать что-нибудь другое, кроме трубки Крукса, в поисках источника своеобразного освещения фигур и лиц на его полотнах.

Замечательный эпизод сохранило нам письмо его друга и покровителя Жулио Кловио. Это было в Риме. В прекрасный летний день Кловио зашел на квартиру Греко, чтобы предложить вместе прогуляться по городу. Он увидел опущенные шторы на окнах и такой мрак в комнате, что едва мог различать предметы. Греко не спал и не работал, он молча сидел в темноте и решительно отказался от прогулки. Солнечный свет — заявил он — способен повредить его внутреннему свету. Загадочный критянин был ясно выраженный визионер. Объяснить его своеобразие одним только «футуризмом», одним отталкиванием от господствующей эстетики своего времени — невозможно. Подобно Тернеру, Гогену и Врубелю он принадлежал к той породе людей, что носят в душе свой особенный мир не подсказанный действительностью, не найденный эмпирически, но данный от рождения. Это как бы отголосок той

жизни, в которой они пребывали до появления на земле. В Прадо висит его Крещение Христово. Через несколько зал от него — «Крещение» Тинторетто. Действие у Тинторетто происходит в живописной местности, под купами деревьев, в ясный день. Но где происходит крещение у Греко? В поле, в лесу, в горах, в здании? Ни одного предмета позволяющего определить обстановку, никакого намека на пейзаж. Греко совсем не увлечен нашим предметным миром. Ни природа, ни архитектура, ни интерьеры не занимают его.

Полагают, что он изгнал со своих картин всякий мир. По мнению Жана Кассу он прошел мимо величайшего завоевания своего века — пользования пространством. Глубина, якобы, отсутствует на его полотнах, как на иконе; он весь в двух измерениях. С этим вряд ли можно согласиться. Стоит попасть в Эскириал и взглянуть на «Мучения св. Морица», на «Сон Филиппа II» с их необъятными пространствами и глубиной, чтобы убедиться в несостоятельности утверждений Кассу. То же на мадридском и луврском распятиях, на Сошествии св. Духа, на множестве других картин. Греко не только не чужд пространственности, но является единственный, может быть, образец передачи пространства как такового, ничем не опосредованного. Это не только живописный прием, но целое мироощущение.

Артист пишет не землю, а вселенную, и не астрономическую вселенную, а библейскую, евангельскую, апокалиптическую. Можно ли передать безду методами перспективы и пейзажа? Греко пытался это сделать с помощью одной лишь краски. Та взволнованная стихия краски, что разлита всегда позади его фигур — не может считаться фоном. Сгустками и просветами она создает картине волнующую глубину, и глаз ищет чего-то в этой глубине. Он воспринимает ее, как пространство лишенное предметов. Клубящиеся пары, глыбы тьмы, споны света — это первые дни творенья, мировой хаос, обиталище высших сил. Не в нашем мире, а в космических безднах происходят у Греко Крещения, Воскресения, Сошествия св. Духа. Не на нашей планете совершаются и мучения св. Морица, и погребение графа д'Оргаза. «Как океан объемлет шар земной» — божественные сферы обнимают и проникают нашу жизнь. По словам одного немецкого исследователя, «подобно тому, как испанские реалисты низвели небеса на землю — Греко поднял землю на небеса». Трудно выразиться более неудачно. У Греко — ни земли, ни небес. Даже там, где видимы разверстые

облака и струящиеся оттуда лучи — это не небо. Он переносит эпизоды священной истории в отвлеченный мир, напоминающий космогонические образы гностиков, манихеев, валентинянцев с их «плеромами», смешением элементов света и тьмы, с многоэтажностью небес и миров. Как непохоже это на религиозную живопись Ренессанса, где святые, ангелы, Христы и Мадонны ходят по земле с ее травами, деревьями, зверями, горами и реками, где все вещно, все подчинено физическим законам этого мира, где царствует солнечный свет, и небо, если даже оно отверзает свои недра и показывает ангелов — остается «физическими» небом!

О Рафаэле Муратов очень хорошо писал: «Величайшая культурная роль его та, что он окончательно разлучил христианскую легенду с ее восточной семитической родиной и привил ее к античному древу. Христианство рисующееся нам в зрительных образах — это и до сих пор — эллинизированное христианство Рафаэля». Греко означает реакцию в этом смысле, он снова возвращает христианство от античности к семитизму или, по крайней мере, на Ближний Восток. Усматривают в этом влияние византийской иконы. Это, конечно, справедливо, но это не все. Какими-то неисповедимыми путями в его картины проникли довизантийские, даже дохристианские религиозные чувствования. Это станет ясно вся кому, кто посетит крошечный музейчик при домике Греко в Толедо. Там — всего каких-нибудь полтора десятка полотен и все, главным образом, изображения святых и апостолов. Но что это за лица и за фигуры! Это халдеи, чернокнижники, от них веет магией и каббалой. Только имея по левую руку от своего дома синагогу, а по правую — всю нечисть толедских соборов, можно было писать образы подобные св. Варфоломею, св. Луке и св. Иоанну.

Быть может у себя на Крите, в родной Кандии видел он мальчиком все эти семитические ближневосточные лица на древних мозаиках, на росписях тамошних церквей. Написанный им образ св. евангелиста Иоанна можно и сейчас встретить в Лувре и в Musée de Cluny на византийских складнях из слоновой кости. Греко часто писал св. Франциска, почитавшегося на его родном Крите, одинаково, католиками и православными. Но этот кроткий умбрийский святой, проповедывавший птицам, называвший даже неодушевленные предметы «братьями» и «сестрицами» («сестрица зола чиста») — кажется у него существом отупевшим от подвижнической жизни, напоминающим наших юродивых, в «блаженных» лицах которых старая Русь

видела так много откровения. Иногда он похож на фиваидских монахов-изуверов, поднимавших «дубину господню» на еретиков и заливавших кровью улицы Александрии. У многих грековских святых замечательные носы — длинные, вытянутые вперед и слегка вздернутые. У протопопа Аввакума, у Никиты Пустосвята, несомненно были такие носы. А как идет лицо боярыни Морозовой, с известной картины Сурикова, к любому из полотен Греко!

Греко дал новый неизвестный до него образ Христа. Особенно ясно он проступает на мадридских полотнах, таких как Крещение, Воскресение, а также поясное изображение Христа несущего крест. К ним можно присоединить и луврское распятие. Сын Божий здесь таков, что способен вызвать скептицизм у христианина или соблазн, вроде того который вызываетleonardовский Иоанн Креститель. Это, быть может, не Христос, а один из многочисленных кандидатов в Христы — один из тех умирающих и воскресающих ближневосточных богов, культы которых впитало в себя христианство. Ереси и апокрифы приходят на ум при виде его. Греко, кажется, сохранил только букву священного писания, дух же его картин проникнут апокрифическими переживаниями. Есть сведения, что кое-что в произведениях Греко коробило князей церкви, и по поводу его картин шли богословские споры, но чем-то они, все-таки, импонировали испанскому духовенству. Быть может тем, что христианство их было не западным, уравновешенным, благообразным, проникнутым античной гармонией, а страстным оргиастическим христианством Востока эпохи становления, эпохи ересей, вселенских соборов, исступленной борьбы «за единый аз».

Любопытнейшим историко-культурным явлением может считаться это сотрудничество темного критянина с толедским духовенством, которому он обязан всем своим процветанием и славой. Филипп II не любил его и столь неодобрительно отзывался о его живописи, что несчастный Теотокопуло должен был покинуть Мадрид. Зато в Толедо нашел могущественного покровителя, почитателя и щедрого заказчика в лице церкви, так что навсегда там поселился и сделался национальным испанским живописцем. «Крит дал ему жизнь, Толедо — кисти», написано на его могиле в Санто Доминго. Инквизиторскому Толедо чем-то близок был таинственный левантинец, пронесший через тысячу лет дух тех времен, когда Христос был еще похож на Озириса и на Адониса, когда Симон Волхв соперни-

чал с апостолом Петром, когда у отцов церкви не хватало аргументов против еретиков и они их избивали на святых соборах. Картины его бередили в католических душах глубокие подспудные чувствования.

В домике Греко мне бросился в глаза темный шапчик — что-то вроде божницы полу-готической, полу-индийской. На Востоке в таких божницах хранится статуэтка Будды. Но здесь, открыв створки, вы обнаруживаете голову античного мрамора. Она изрядно побита, потерта, и только пристальное рассмотрение позволяет заметить в ней признаки архаической эпохи. Быть может, эта голова критского происхождения.

Конечно, документальный характер вещей и убранства подобных «домиков» общеизвестен: лет через сто или двести после смерти великого человека в предполагаемое его жилище натаскивают мебели и предметов соответствующей эпохи и расставляют под руководством какого-нибудь знатока или высокого почитателя. Вряд ли в *Casa del Greco* сохранилось что-нибудь подлинное не только от самого Теотокопуло, но даже от его сына. И всё же тот, кто водворил сюда эту крито-микенскую голову, лежащую во мраке буддийской божницы — вернулся старинному жилищу душу его обитателя. В одной из комнат висит групповой портрет так называемой «Семьи Эль Греко». Это тоже сомнительный документ, но и ему нигде не полагается находиться, кроме как в этом арабском домике. Существует несколько его реплик. Мне известны вrepidукциях две: одна хранящаяся где-то в Пенсильвании, другая — в Лондонской Национальной Галлереи. Лондонская представляет более законченный и мастерски совершенный вариант картины. Но, может быть, о мастерстве-то, как раз, и следует пожалеть, в данном случае. Оно скрывает от нас тайну души художника приоткрытую слегка в толедском «Семействе». Конечно, эти женщины выступающие из непроглядного мрака, как все персонажи Греко, принадлежат к особой неведомой расе, конечно, они жители каких-то темных бездн, озаренные светом трубки Крукса, но не это привлекает главное внимание. Привлекает кошка сидящая на высокой подставке и как бы царящая над всей группой. На лондонском портрете эта кошка, как кошка, ничем не замечательная. На пенсильванском она уже смахивает на духа. Но только толедское полотно являет ее древний образ — львиное и человеческое лицо одновременно. При фараоне Аменемхете она была богиней Бастет. Каким путем воскресла она в Толедо, в *Casa del Greco*, в числе членов «семьи» артиста?

И еще замечательны в этом доме колодцы. Их два — один в саду, другой в patio. Это две узких темных дыры. Даже подумать странно, что на такой горе могут быть колодцы. Какой глубины они должны быть? Лучше всего это представить себе, отойдя метров сто пятьдесят от домика, на окраину города к скалистому обрыву, под которым течет Тахо. Ведро должно быть спущено, по крайней мере, до уровня реки. Это метров двести. Живя в доме с отверстиями ведущими в недра земной коры, надо чувствовать себя по особенному. Погружением в глубины земли и в глубины времени создан Эль Греко. Без этого нельзя понять, почему критский уроженец сделался величайшим выразителем испанского духа. Ведь про созданную им галлерею портретов говорят, что без них мы не знали бы Испанию, ее души, ее вечной сущности. Самый колорит его картин кажется нам истинно-испанским. Такое чудо могло произойти только потому, что Теотокопуло и у себя на Крите был испанцем, и в Толедо оставался критянином (подписывался на полотнах всегда в греческой транскрипции). Он писал не Испанию Филиппа II, а Испанию левантинскую, средиземноморскую, созданную тем же смешением рас, кровей и культур, которым отмечены все прочие народы жившие, по словам Геродота, вокруг Средиземного моря, как лягушки по берегам озера. Он витал в древних культурных и этнических пластах одинаково родственных всем этим народам. Недаром в описи его книг на видном месте значатся сочинения Франческо Патрици — далматинца, объехавшего весь средиземноморский бассейн, бывавшего на Кипре, в Венеции, в Риме, в Испании — такого же левантинского бродяги, как сам Греко. Он был герметист и последователь Платона.

Существовал, быть может, многочисленный слой людей, считавших своей родиной все острова и полуострова Средиземного моря, впитавших их «страстей горючие сплетенья», тысячи летние верования и знания. Ни в Англии, ни в Германии, ни в России, ни даже во Франции невозможно представить появление Греко. Он возможен был только в одной из тех стран, чьи берега омываются малахитовыми волнами древнейшего из всех морей.

Туда ведут страстных желаний тропы,
Там матерние органы Европы*.

H. Ульянов

* Стихи М. Волошина.

“ПОДЛИПКИ” К. ЛЕОНТЬЕВА

Розанов и Бердяев более всего содействовали признанию К. Леонтьева. Оба они были конгениальны ему и поручились за него всем своим творчеством.

Друзья Леонтьева издали 9 томов его сочинений (а было оно расчитано на 12) и сборник его памяти (1911 г.). Книги эти стали уже библиографической редкостью. Если и есть признание, то успеха — нет. Его мало читают — и не только потому, что книги его почти недоступны. Число немногочисленных, но страстных его приверженцев не увеличивается, но и не убывает. «Состав» его друзей — пестрый: дипломаты Губастов, Ионин, Хитрово, священник о. Фудель, митрополит Антоний, т. е. — все *правые*. Но вот Бердяев был *левым*, а Розанов — и *правым* и *левым*, а на самом деле — ни тем, ни другим. Еще назову иезуита о. Кологривова, написавшего о нем книгу по-немецки. *Правых* всё-таки больше: к ним, может быть, следует причислить нынешнего московского патриарха Алексея. Легенда о его *приверженности* К. Леонтьеву была недавно поддержанна Ф. А. Степуном (в католическом журнале *Hochland*). Если это так, то, конечно, любопытно... Но вместе с тем и обидно: обидно, что его именем может прикрываться любая апология «сильной власти», которую он действительно восхвалял (российское самодержавие). Это он советовал «подморозить» Россию, чтобы она не разложилась, не докатилась до страшной революции. И эту революцию он до жути точно предсказал, угадав то, что и Достоевскому не грезилось в «Бесах». Он связал социализм с тиранией могущественной личности: и такому вот социализму (Ленина?! Сталина?!) отдавал предпочтение перед умеренным, ненавистным ему буржуазным либерализмом. Эта «доктрина» действительно может импонировать «красному патриарху»...¹ Но влия-

¹ Между прочим, в *Литературном Наследстве* 1935 г. (22-24) был опубликован вновь найденный очерк Леонтьева «Моя литературная судьба». Во вступительной статье советский критик Н. Мещеряков его, конечно, поносит, но вместе с тем, дельно излагает его теории и тем самым напоминает о них читателю!

тельнейшие *правые* его современники, Победоносцев или Катков, его не ценили. Леонтьевская идеология вызывала в них недоверие и даже страх.

Бердяев *открыл*, что этот идеолог реакции был великим свободолюбцем и вольнодумцем. А Розанову он представлялся язычником, каким то бешеным сатиrom, буйно расплясавшимся в обществе скучных чиновников и буржуа XIX-го века. Они оба были пристрастны к нему — о Леонтьеве вообще трудно говорить, сохраняя спокойствие! Но они, конечно, оценили его вернее, чем поклонники справа.

Красоту Леонтьев любил паче меры! И он лучше Мити Карамазова понял, что красота есть *страшная вещь!* Здесь — Достоевский (и Ницше) последних выводов не сделали. А о Вл. Соловьеве можно сказать, что он просто «людей дурачил» своей формулировкой: красота есть гармония целого при свободе составных частей! Но эти «составные части» еще со времен Люцифера плюют на «гармонию целого» и остаются прекрасными! Совсем не обязательно, чтобы красота раскрывалась непременно в бурях и преступлениях (романтика), но у ней своя особая жизнь, свои законы. Она вообще претендует на абсолютную полноту, и при этом может, если захочет, вместить также и добро, но она может этого и не захотеть! В известной своей «тираде» Леонтьев «на одну доску ставит» Моисея, всходящего на Синай, греческие акрополи, пунические войны, гениального красавца Аполлона «в пернатом каком-нибудь шлеме», апостолов, первых христианских мучеников, поэтов, художников, рыцарей на турнирах...: как видно сюда «попало» и добро (мученики), но и зло (войны). И это всё красота.

Опошлена истина, что красота по ту сторону добра и зла. Но это всё-таки верно, хотя всякая *данная* красота может быть и преимущественно добной, или, наоборот, преимущественно злой. Красота — видение рая, Бога, абсолюта, вообще самого лучшего и поэтому пути правды, как и кривды, представляются ей пройденными, завершенными. Отсюда — безответственность, красотою вызываемая. Зачем спасать, спасаться — когда мы уже на миг спаслись в красоте? Красота — истина, совершение — но до срока, своего рода *рай в адъ*. Но если бы не было этих райских снов в адъ—может быть, никто в рай не стремился бы! Правда приверженцев красоты в том, что они приоткрывают *самое лучшее*, но вместе с тем — закрывают пути к этому *самому лучшему*. А ведут в рай, конечно, праведники — обычно очень скучные! И их бы никто не слушал, если бы «поэты» —

не приманивали обманчивым, досрочным свершением. Антиномия в том, что в рай попадают святые, но *показывают* его — не святые: и этим, кстати говоря, они как то дополняют друг друга: можно даже сказать, что те и другие равно не полноценны и равно «полезны»!

Вторая половина XIX-го века известна своим безобразием. Эстетически невыносимы были и королевы (Виктория) и цари (Александр III), и все вообще классы. Однако, надо сознаться, что после опыта войн и революций взор наш иногда как то *отдыхает*, всматриваясь в эту мирную эпоху. Но всё-таки остается понятной оппозиция «творческих людей» того времени — Бодлера, Барбье д'Оревильи, Карлейля, Ницше, Достоевского и мн. др. В их числе также Леон Блуа и граф Гобино, которые одной какой-то своей стороной были особенно близки Леонтьеву. Но по «несчастному стечению обстоятельств» почти все эти одиночки, — пророки, вопиявшие в пустыне — понятия друг о друге не имели. Их реакция на *безобразие* была естественной, но поддержки не встретила, и вот, со зла-горя, гениальные или только талантливые оппозиционеры вдались в ереси — в преувеличенное декадентство или в преувеличенную реакцию. Так Леонтьев — во имя красоты стремился остановить «уродливый» прогресс и искал опоры в «византийских» (по его убеждению) началах царства и церкви, в русских крепостниках, балтийских баронах, польских панах, даже в румынских боярах и султане — так как при турецком владычестве были святые и мученики на Балканах, а при «бельгийской конституции» (в Греции) они не появятся. Эту свою ересь он обосновывал *материалистической* по существу теорией о трех исторических процессах — первоначальной простоты (примитив), цветущей сложности (напр., средние века и ренессанс) и вторичного смесительного упрощения (XIX-ый век). Последний процесс (уравнивающий гения и бездарность) казался ему неизбежным, и он мечтал только задержать его на несколько десятилетий (подморозив Россию!). И при этом втайне сочувствовал грядущим тиранам социализма — они казались ему более красочными, чем умеренные социалистические лидеры. Теория эта, как и теория Данилевского (существенно отличная от леонтьевской и близкая Шпенглеру) отрицает свободу — так же как и исторический материализм Маркса. Это отрижение свободы в плане историческом объясняется единственно отчаянием. И можно только пожалеть, что именно эта его теория кое-кого соблазнила. Леонтьев-доктри-

нер — согбенный Леонтьев. А встает он во весь рост — когда обличает *безобразие* своей эпохи и вопреки всем «законам истории» защищает беззаконие гениев, свободное творчество, свободную красоту. Именно этот-то его «либерализм» духа импонировал Розанову и Бердяеву.

Какая красота его более всего привлекала? Его любимый литературный герой — спортивный граф Вронский. А в жизни его более всего восхищали разбойные македонцы в фустанеллах и вообще вся ориентальная пестрота Балкан, где он прожил 10 лет (состоя на дипломатической службе). Но поддавался он также иному очарованию — неяркому и неясному, скорее грустному и отразившемуся в его раннем романе «Подлипки» (написанном в конце 50-х гг.).

Леонтьев — *начинается* с грусти. Позднее, мужая — расстилает восточные ковры в своих балканских повестях и блещет дерзкими афоризмами в статьях. Здесь — он то выпрямляется, защищая свободу и какое-то новое язычество, то сгибается — и с отчаяния измышляет сомнительные «законы истории», оправдывающие ту фантастически-реакционную идеологию, которая так пугала практиков, «реалистов» реакции. Еще в годы зрелости он усумнился в своем эстетическом язычестве и поехал на Афон, выполняя обет, данный им во время болезни (холеры). Позднее он всё более тяготел к самой черной аскезе. Всё искал спасения от прелести земной. Но старцы, как афонские, так и оптинские, не вполне доверяли ему и даже как-то побаивались его. Очень уж он был *странный!* Читал творения Отцов Церкви, но и Герцена, которого обожал за критику буржуазно-самодовольной Европы. Еще грезил он о бело-мраморных богах Эллады и в страхе отшатывался от красного огонька неугасимой лампады на могиле одного из старцев. Только незадолго до смерти он принял тайный постриг и скончался шестидесяти лет в Сергиевом Посаде, 12 ноября 1891 года.

В юности Леонтьев был почти декадентом, а в зрелые годы метался между буйно-языческой эстетикой и ожесточенно-мрачной аскезой, которая должна была спасти его от эстетики, но не спасала и может быть даже была для него новым аспектом всей той же эстетики — уже не пестрой, дневной, а черной,очной. Так — вся его жизнь была «сплошным мучением»: борьбой против всех и против себя самого.

Теперь обратимся к «Подлипкам». Этой его книге, кажется, никто еще не уделял внимания. «Подлипки» (или Записки

Владимира Ладнева), роман в 3-х частях. Эта вещь — в данную эпоху (50-х гг.) явно не вмещается. Нет в ней плотности, крепости, которая была у великих мастеров русского романа, современников Леонтьева. Между тем — в «Подлипках» всё также хорошо знакомая среда, обстановка — усадебное «дворянское гнездо», губернский город, московский университет. Но всё это подернуто дымкой странной мечтательности, всё зыбко — как в сонном видении. Нет яви Гончарова, Тургенева, Толстого. Герой, Владимир Ладнев — не «воплощается» — ни в семейной жизни, ни в какой-нибудь деятельности, ни в страстиах... Ничего вообще в романе не «реализуется», хотя в нем не мало «реализма»: меткая наблюдательность, прозаические детали (в описаниях природы, быта). Картины — иногда очень яркие, очевидные, но все они своенравно-быстро сменяются, мелькают, куда-то исчезают. Нет концентрации внимания. Нет строя жизни — только настроения. Везде импрессионистические пятна, мазки, лирические мотивы, сновидения, мечтания. Тогда романов никто так не писал. Никому в голову не приходило так их писать. Летучий почерк Леонтьева, его «пневматическое письмо» могли вызывать только досаду, раздражение.

Можно говорить о стиле Леонтьева? Да, это стиль, хотя и не разработанный, а только намеченный. Подлипки — поэтическая проза, т. е. род искусства, который всегда считался «копасным», а иногда и запретным (напр., для Пушкина).

В юности Леонтьев увлекался Вертером, Ренэ. Зачитывался также романами Жорж Занд, и по собственному признанию совмещал в себе «нигилиста и романтика». Из русских литераторов ему более всего нравился Тургенев, который в 50-х годах поощрял его. Тургенев, подавивший в себе поэта, сам тяготел к поэтической прозе. Но не давал себе воли. Тургенев (по позднейшему замечанию Леонтьева) *хитрый* писатель... Он не осмелился писать только о том, что лучше всего знал: о *первой любви, несчастной любви*, о хрупкой прелести жизни, о нестерпимой жутки смерти. К концу жизни он опять обратился к поэтической прозе. Но было уже поздно. Его силы иссякали. «Довольно», «Призраки», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе — это всё декламация, фальшивь. Только в «Кларе Милич» прозвучала странная, щемящая мелодия, так пленившая молодого Иннокентия Анненского. Леонтьев же — *хитер* не был. Успеха он не искал. Замечательно, что в юности он подражал именно Тургеневу — но не социальному, а «по-

этическому» Тургеневу. Но был искреннее, смелее его, хотя и беспомощнее.

Фабулы в романе «Подлипки» нет. *Содержание*: детские и юношеские впечатления Владимира Ладнева. С детства он окружен женскими заботами. Он счастлив — в усадебном раю Подлипок. Там та же беспечная лень, что и в Обломовке, но есть и изящество, есть культура отмирающего ампира. Там не только хорошо едят, но и читают, мечтают. В Подлипках царствует тетушка Володи Ладнева. Необычна ее характеристика: она «важный малый, патриарх такой милый, *bon enfant* в высшей степени, у нее есть поэзия...» Одиннадцатилетнего Володю перевозят в губернский город, к строгому дяде-губернатору. Там нет тепла, ласки. Но зато здесь он, «баловень счастья», переживает первые успехи. Всем он нравится — и друзьям и подругам. Несколько позднее — девочка-сверстница пишет ему «письмо Татьяны»: Я к вам пишу — чего же боле... После бегства из дома дяди — опять райская жизнь в Подлипках. Потом — московский университет: новые заманчивые встречи, успехи, но и разочарования.

В «Подлипках» намечено несколько романов — два из них заканчиваются узом из дома тетушки (патриарха и *bon enfant!*) ее воспитанниц, которые нравились и Володе. Обе девицы, похищенные его друзьями, обречены жить несчастливо и пошло. Это как бы предупреждение Володе, который отказывается связать свою судьбу с другой воспитанницей тетушки — поповной Пащей. Для него — длительная связь или брак — только скука (это, вместе с тем, и авторская точка зрения).

Пересказ всегда обедняет: но всё-таки скорее можно пересказать Дворянское Гнездо, Войну и Мир, даже Детство и Отрочество — но не Подлипки, где всё так отрывисто, бессвязно. Леонтьев часто бросает своих героев на «полдороге» и больше к ним не возвращается. Повествование постоянно прерывается. В описание семейного скандала (в доме дяди) неожиданно вкраплен сельский ландшафт: такая «игра сюжетом» в 50-х годах была немыслима. Весь роман *состкан из противоречий*. Везде — *пятна и мотивы!* Авторская память более всего стремится воссоздать, запечатлеть картины, звуки — драгоценные (для Леонтьева) по *напряженности переживания*. Вся эта «лирика» образует своего рода второй план бытия — не более ли истинный, реальный, чем внешняя жизнь? Вот пример: кузен Петруша рассказывает Володе, «как раки едят рыб и хватают их за морду клещами. — Вот так и схватят! — ска-

зал он, схватив себя за подбородок двумя пальцами. И что это? скажите. Интерес ли рассказа или какое-нибудь периодическое возвышение впечатлительности в моей душе — только фигура его в эту минуту, раз навсегда, неизгладимо озарила передо мною точно также, как фигура Настасьи Егоровны, без корсета, с гордостью ушедшей в коридор. Так и умру не забыв его голубого шлафрока, кровати с занавесом и лица немного калмыцкого». Упоминаемая здесь Настасья Егоровна — эпизодична и даже неуместно комична (она уходит без корсета, но с гордостью...). Но это не обмоловка, а — «поиски потерянного времени или чистого бытия». Теперь так пишут многие и даже кокетничают парадоксальностью ассоциаций («потоком сознания»), но в то время это было необычно, хотя редкие примеры можно найти и у Толстого — молодые Ростовы поняли бы прелест этих скачков памяти и фантазии. Они также поняли бы его детские мечты о 40 летях, о дочке Фризочке, которая утонула однажды в Ганге, и его детскую мифологию: тетушка представлялась ему Юноной, красивый брат — то Марсом, то Аполлоном. Может быть их также потряс бы, восхитил возглас священника: «Се Жених грядет в полуночи». Володе тогда казалось, что из темного коридора, из зимнего безлюдного поля, в самом деле грядет этот таинственный Жених. Но Ростовы — женившись, расплодившись — всё *такое* забыли. А у Леонтьева этот мотив странной грусти ожидания — продолжает звучать, доминировать. Полуночный Жених — таинственно-волшебен, а земной человек Иисус беден, не сказочен — и этот его образ близок Леонтьеву. Вот замечательный отрывок. Конец ветхого завета. «Заря лучшей жизни как будто ждала весь мир... И не было еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме...»

Потом «Христос является на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развеивается платье; сбоку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как опустело всё! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется и где только тени деревьев становятся всё длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дома и сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь». Как ни странно — но это настроение неожиданно напоминает тот чеховский

рассказ (Студент), где семинарист рассказывает евангельскую историю двум деревенским женщинам. Щемящая грусть — та же и тот же неяркий свет, пронизывающий бедный русский ландшафт. И та же предельная скучность словаря для передачи того, что можно назвать приближением к единственной и последней правде. У Леонтьева этот мотив прекрасной бедности (только ли эстетический?) звучит во всей повести.

Но имеются и другие мотивы. Подрастающий Ладнев увлекается, увлекает. В противоположность главным героям Тургенева, Толстого — он скорее удачив в любви. Он сильнее всех своих подруг, друзей. И в поисках самого лучшего он понемногу от них отходит: ведь он хочет полного счастья, настоящего дела.

Его мечта: соединить лучшие качества двух своих товарищ, которыми он тогда увлекался: «Конечно, я не так умен, как Юрьев, и не так блестящ и не так грациозен духовно, как Яницкий... Что же, тем лучше! ...я полнее их... Я как лиловый цвет — смесь розового с глубоко-синим!» Так вот тоже тогда не писали! И здесь — ни тени самодовольства; «мерзение, жестокое мерзение чувствовал я при одной мысли о духовной нищете моей». Однако — это мерзение не мешало ему всё пристальнее — и с какою-то мучительной страстью — взглядываться «в зеркало своей души». Самодовольства — нет, но есть самовлюбленность. Есть упорное желание — стать лучше, «идеальнее» — чтобы быть достойным любви к самому себе. Совестливая русская литература того времени этой *реальности* «нарциссизма» не знала. Она стала позднее понятна декадентам. В. Иванов воспевал юношей Эллады, которые «влюблялись... в себя»... Но в начале XX-го века всё «странное» было в моде. Леонтьев же был странен — вопреки моде своего времени: и совсем не хотел быть странным!

Но мучительная самовлюбленность Ладнева-Леонтьева и его разочарование — не главный мотив. Сильнее, глубже — очарование грустью, более прекрасной чем все земные радости. Впоследствии это открылось Розанову (Темный Лик).

Грустен последний «роман» Ладнева. Его тайный смысл уясняется в эпилоге. Начался этот «роман» еще в детстве — с тетушкой воспитанницей, поповной Пашей. Она скорее некрасива: «ростом невелика, увальчива и бледна, но бледностью свежей, которая часто предшествует полному расцвету». В последней главе студент Ладнев опять встречает Пашу. Он читает Шатобриана и пишет самому себе письмо от ее лица: чув-

ство свое к нему эта воображаемая возлюбленная называет «музыкой дальней смерти». Символисты бы «ухватились» за эту музыку, но для современников Леонтьева она осталась не-понятной. Здесь поэтизация, но есть и анализ. Он отдаётся музыке дальней смерти, но позднее «изобличает» ее: ведь этой музыкой прикрывается тщеславная страсть. Но он преодолевает — и поэзию и тщеславие: уезжает. Паша выходит замуж за мелкого судейского чиновника. Стаскивает с мужа сапоги, выпачканные глиной и «сама такая выдрочка стала». Она рано умирает.

Роман кончен. Мелькание «пятен», мотивов может даже несколько утомить. Но остается то, что от чтения настоящей книги должно остаться — не отдельные картины, а единый образ: и это, главное, есть в «Подлипках». Скупой грустный русский ландшафт и рай усадебного житья. Увальчивая Паша, которая в самом конце неожиданно заслоняет самовлюбленного Ладнева и наконец бедный земной Иисус и Он же — таинственный, волшебный Жених, грядущий в полуночи (не главный ли «герой» всей книги?). По прочтении этого романа — не забытого, а просто никем не замеченного — могут вспомниться *имена*: Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевского, Чехова, Розанова, Бунина... Эти писатели, большие или великие, по сравнению с Леонтьевым, конечно, удачники. Но все эти Счастливцевы литературы едва ли забирались выше или глубже Несчастливцева-Леонтьева.

Он был абсолютно одинок в 50-х гг. (когда писал «Подлипки»), да и позднее — а угадал и запечатлел — второй, лучший и более чистый план бытия — слабо просвещивающий на плотном экране всё того же, такого знакомого — усадебно-помещичьего и отчасти городского интеллигентского быта. Быт этот яркий, очевидный, но случайный, а свет отраженный (сквозь этот быт), неяркий, но не случайный и не более ли убедительный, чем привычная явь жизни? У других были только *приближения* к этому плану бытия: у Лукеры на сеновале (Живые Моши); у Пети Ростова, когда он, накануне гибели, лежал на возу и прислушивался к невидимому концерту; у чеховского Студента или Архиерея; у бунинских мальчиков (в рассказе Святые), а также в некоторых записях Розанова. У Достоевского была «реальность, доходящая до фантастического», но при этом его фантастика (романтика) не обедняла ли «действительности?» «Подлипки» же целиком построены в двух планах: «натуралистическом» или «реалистическом» (усадьбы,

города) и — «импрессионистическом», музыкальном, почти «декадентском» (смутные переживания, неясные «чаяния»). Но это — техника построения. Существенно же что это планы показанного быта (проза) и угаданного бытия (поэзия, очищенная анализом). Чтобы понять эту удивительную, единственную книгу — надо ее прочесть и надо ее перечитывать: тогда раскроется ее «тайная тайных» — очарование грустью, щемящая светлая грусть. Пересказ с комментариями — дает только намек.

Из других повестей Леонтьева ему наиболее удался «Старый Муж». Это странная вещь: старик уступает свою молодую жену юноше. Но «жертвенности» нет: старый (но не грозный!) муж кажется влюбленным в «созданную» им чету. Имеются и другие романы, например, «В своем kraю» (русский усадебный быт и идеологические декларации главного героя, высказывающего мысли автора). В «Одиссее Полихрониадесе» — записки эпирского грека, боготворящего русского консула — очень похожего на Леонтьева. Прелестный «Египетский Голубь» — явно автобиографический роман. Еще много рассказов из balkанской жизни. Эти вещи утомительно пестрят восточной этнографией и вместе с тем они слишком идеологичны. Везде проповедуется леонтьевская «хищная эстетика». Идеология его острее, ярче — в статьях. Его публицистика — на уровне Герцена. Он был также замечательным критиком (очерки о Толстом и Достоевском). Мировоззрение его — разложенное на плюсы и минусы — верно, хотя очень уж гладко изложил Бердяев (в книге, ему посвященной). Розанов же идеологию комкал, но, конечно, проник в Леонтьева глубже. Как уже говорилось, оба они более всего способствовали его признанию, но «Подлипок» не оценили. Они проглядели «духовное рождение» Леонтьева — его юность, когда был он еще беззащитен, необстрелян, но более *открыт* музыке, ветрам бытия и красоту прозревал не только в языческом великолепии и мрачной (христианской ли?) аскезе, основанной на страхе, но и в евангельской бедности и правле.

Некоторый итог: «по несчастному стечению обстоятельств» Леонтьев никогда полностью не проявился. Здесь его неудача. Он не гений, который тоже полностью никогда не «реализуется» и может быть самое главное утаивает. Но у гения всё-таки должны быть произведения его достойные. У Леонтьева таких вещей нет. Он был, однако, «гениально-одаренной натурай» и всё еще остается неизжитой творческой реаль-

ностью (хотя не имеет и не будет иметь широкого читателя). Спор о нем — не кончился! Говорить о нем беспристрастно — трудно. Он всегда или отталкивает или притягивает. В этой статье мне хотелось только отметить, что «Подлипки» существенны для понимания Леонтьева. Эту книгу (увы, редкую!) прочесть стоит — особенно теперь, когда русская литература на какое-то время кончается и поэтому — в *перерыве* следовало бы пристальнее взглянуться в ее прошлое.

Ю. Иваск

**
*

Воспоминания... кому нужны?
 Воспоминаниям не верьте.
 Так, разве, для себя...
 Так, разве, для тебя:
 Вновь растревоженные сны
 За несколько секунд до смерти?
 Воспоминания... кому нужны?
 Воспоминаниям не верьте.

П. Фатъянов

МОИ ДНИ С К. А. КОРОВИНЫМ*

Судьба дала мне редкое счастье прожить много лет вместе с художником Константином Алексеевичем Коровиным. Это был один из замечательных русских людей. Память о нем, ввиду его исключительной талантливости и значения для русского искусства, должна быть сохранена. То, что я пишу, это не монография о Коровине и не просто мои воспоминания, это рассказы Коровина о том, что он сам считал наиболее интересным в своей жизни и о тех людях, которых он считал достойными внимания. В долгие осенние и зимние вечера в русской деревне я записал, по возможности в собственных выражениях К. А. Коровина, то, что он мне рассказал.

Театр и декорации

Когда Коровину было еще 20 лет, Поленов пригласил его писать декорации для частной оперы Мамонтова. Здесь для Коровина открылась новая эра деятельности, надолго определившая развитие его таланта и сразу давшая ему известность, построенную на удивленном признании и удивленном негодующем отрицании. Коровин с детства любил театр и особенно музыку. Но бывая в театре и особенно в опере, Коровин постоянно замечал, что самое плохое, как искусство, это — декорации. Железные деревья садов с их коричневыми и красно-коричневыми стволами, без света и жизни, охровые, коричневые терема и комнаты с какими-то невероятными финтифлюшками («Ох уж эти финтифлюшки», говорил Коровин), какая-то славянщина полотенец и вышитых рубашек — всё это его поражало нелепостью и невежеством.

Коровин совершенно иначе смотрел на художественную задачу декораций: прежде всего он импрессионистически подошел к вопросу разрешения эффекта светотени; в живую атмосферу солнца, сумерек, ночи — онставил артиста, делая

* Мы печатаем здесь несколько отрывков из рукописи, присланной нам покойным Б. П. Вышеславцевым незадолго до его смерти. РЕД.

фон декораций в гармонии с костюмами действующих лиц. Контрасты цветов и тонов, колористические гармонии, сочетания красок с действующими людьми — вот что было им положено в основу его задания. Его декорации были совершенно иные, доселе невиданные. Это была новая эра в декоративном искусстве. Но декоративное искусство эфемерно, оно дает наслаждение на один вечер, на одно мгновение. На эти эфемерные создания Коровин положил массу энергии в течение всей своей жизни. Первой его постановкой у Мамонтова была «Аида». Впервые на сцене было жгучее солнце, живые куски Египта. В комнате Амнерис — стена, дверь и сквозь нее пейзаж залитый солнцем и пальмы, от которых шли синие тени, всё это было написано на одном холсте. Но сила колоритов и контрастов давала иллюзию пространства и открывающейся дали. Невозможно было предположить, что всё это написано в одной плоскости. Сам Коровин считал это дешевым эффектом, второстепенным признаком удачного выполнения основной задачи. Гораздо важнее (чего не замечали) была для него гармония костюмов в отношении к фону неба и теням холодных и торжественных покоев царской дочери. (Костюмы тоже были по его рисункам). Экзотическая роскошь иной дальней страны и вся неожиданная особенность ушедшего мира больше занимали художника, чем простой эффект рельефа, который он называл «задачей паноптикума с его реализмом». Обмануть зрителя как-бы реальностью прелома — этого Коровин достиг в кабачке в «Кармен»; он тогда даже выиграл несколько пари: фонарь на кронштейне производил впечатление полного рельефа даже с самой сцены. Бевиньяни, знаменитый дирижер итальянской оперы, проиграл Коровину бутылку шампанского: он был убежден, что фонарь не написан на холсте, а действительно висит на кронштейне. Такой вздор делал успех Коровину, а настоящую красоту тонов этого кабачка совсем не понимали.

Признание в своей живописи Коровин получил не скоро: она слишком далеко обгоняла развитие общественного вкуса. Его импрессионизм, его протест против навязанных тенденций и предписанных общественным мнением сюжетов, его жажда показать чистую живописью красоту, дать «красочный рай» — всё это могло понравиться скорее в Париже чем в Москве, воспитанной всецело на передвижных выставках с их «литературой» и с идеяными сюжетами. Но Коровин еще не знал Парижа, он был импрессионистом, не видя французских импрес-

сионистов, а поэтому чувствовал себя одиноким и отвергнутым.

Париж, Италия, Испания

22-х лет, заработав за зиму своими декорациями 300 рублей, Коровин едет в Париж. Париж — это великий перелом в каждой русской душе, одаренной чувством прекрасного; это любовь наших прадедов, воплощенная в садах и дворцах, в статуях и парках, нарядах и манерах; это всегдашняя мечта художников и поэтов. Сколько раз я расспрашивал Коровина о его въезде в Париж, об улице, об отеле, о первой ночи и о пробуждении. И всегда он рассказывал с новыми подробностями и с новым волнением.

«Я остановился в Hôtel de la Néva, rue Montigny, против театра «Паризье», в окно ночи были видны трубы большого города, жалюзи окон, вся эта темная таинственная громада... спать я не мог... Я писал письма брату, товарищам, двоюродным сестрам. Огни кафе, рекламы, движение, поток нарядов, вежливость, аристократизм тихой Place Vendôme, вся история, изваянная в камне — всё это я как будто видел когда-то. Лет восемнадцати я написал Париж (акварель) со слов Поленова, он еще сказал тогда: «это очень похоже, ты как будто там был». И действительно Париж был такой.

На утро я поехал в Салон и был поражен невиданными красками, разнообразием художников, праздником для глаз. Светлые краски воздуха, непосредственная, правдивая гамма простоты и изящества, отсутствие условности и олеографичности, свобода от тенденциозности, всё это — восторг, жизнь, веселье, бодрость. Потрясенный, я тихонько сказал себе: так вот что! здесь пишут, как я! Значит я был прав, когда не шел по пути, который мне указывали и избрал свой... Я написал Париж из окна, кусок Парижа, и он был непохож на них, на французов. Мне хотелось его показать кому-нибудь из художников, но я не мог ни с кем познакомиться. Сам я, однако, думал, что мог бы участвовать на выставке, в Салоне».

Первая поездка Коровина была непродолжительна. Но это было настоящее художественное образование: он видел Лувр и, главное, он нашел веру в себя, убедился, что его живопись имеет право на существование, что французский импрессионизм ставит себе те же задачи, хотя и решает их иначе.

По приезде домой Коровин увидел другую Москву и другую Россию. Вот как он изображает Москву после своего возвращения:

«Фонари показались мне кривыми, дома покрытые салом, странная мостовая, маленькие окна, маленькая и грязная Москва. И еще какая-то невозможность работать и безделье. Время идет в разговорах, художники обсуждают, что такое искусство и в чем моя вера? Никто ни в чем не уверен; все говорят о деньгах, тоскуют, что нет денег, как будто, кто сжалится и даст их сейчас. «Хорошо Шаляпину», сказал мне один певец, «эдак всякий споет — получает 20.000 в сезон».

Здесь зарождалось у Коровина то недоверие к русскому обществу и к русской интеллигенции, которое превратилось у него впоследствии в ясное предчувствие неминуемой катастрофы, при этом он вовсе не искал вслед за народниками и Толстым утешения в мужике. Охотник, любитель природы, он слишком близок был к мужику и слишком зорок, чтобы заблуждаться и обольщаться на его счет. «Дикари», говорил он, «глина из которой всё можно сделать».

Двадцати шести лет Коровин едет в Италию и знакомится с великими классиками. Пред ним проходят Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Это второе событие, второй перелом в душе художника. Всё современное показалось ему тогда ничтожным; гениальность мастерства итальянской живописи конечно поражала, но еще более изумлял дух эпохи Возрождения и его творений. «Всякое подражание и заимствование было бы жалким, — говорил он, — мы люди иного духа и иной цивилизации, мы уже не можем так жить и чувствовать... Мелким, больным, дешевым, замученным рабом показался я сам себе», рассказывал Коровин, «не вера и религиозность сюжета поражали, не идея, а мощь искусства, сила красоты, пышность, насыщенность.... Казалось, что люди того времени всё видели через красоту и действовали через красоту: гнев, страсти, любовь и все движения жизни были создаваемы в формах прекрасного... Я не могу сказать, что это христианство, ибо там нет культа бедного, угнетенного, слабого, нет miseria, только сильное и высокое считалось там правым».

В Коровине был редчайший дар проникновения в стиль и дух чужих, далеких культур. Это дар русского гения, как на это указывал Достоевский. К сожалению Коровин воплотил это только в своих эфемерных декорациях. Меня всегда изумляла эта его способность фантастического воссоздания: какая бы, в сущности, эрудиция требовалась там, где он, как бы играя, как бы во сне, вызывал все эти образы:

Как-то раз мы смотрели в окно моей квартиры на Ивана

Великого и на Кремль. «Посмотрите, — сказал Коровин, — в этом Иване Великом, что вы в нем видите? Это монах старой Руси в надвинутом клобуке, высокий, прямой, но придавленный какой-то тяжестью. Великий пост, стояние, затвор, мрак есть в этой архитектуре; весь дух эпохи в ней виден... Недаром русские так любят похороны...».

После Италии К. А. едет в Испанию. Эта страна много дала для его живописи и декораций. Здесь он написал знаменитых «Испанок», выставленных впоследствии в Париже, он сделал также несколько этюдов для декораций Кармен, и на конец увез с собой в своей изумительной художественной памяти всю эту нагроможденно-пышную, экзотическую и величественную архитектуру, все эти скалы и желто-красные пустыни со странными колоритами. Эти видения окаменевших фигур в плащах на папертях храма, всё это он сохранил, чтобы потом воплотить во множестве миниатюр, написанных много лет спустя напамять, а также в декорациях к Дон-Кихоту.

Коровин, замечательно схватывавший стиль наций, часто говорил мне о сходстве испанского и русского характеров. Какие-то испанские художники тотчас же с ним познакомились и до того подружились, что один к нему переселился жить, и всё это без всякого общего языка; тотчас был устроен вечер, вино и речи... Коровин тоже был принужден сказать речь (к концу вечера это было уже не так трудно). И на другой день речь была напечатана в газетах. Ему перевели, и он был изумлен: откуда взяли это красноречие?

«Страна дикая, странная, жутковатая, невероятно богохульная, гостеприимная и благородная. Непохожа на Европу и больше всего похожа на Россию», говорил Коровин. Он любил вспоминать двух своих моделей, Ампару и Леонору, которые ни за что не хотели брать с него деньги, и которым он подарил, вместе с ними выбранные, башмачки и китайские платки.

По возвращении Коровина в Россию, его работы попрежнему не принимались на Передвижную выставку и его «Испанки» долгое время валялись в углу мастерской. Но декорации, сделанные по эскизам с натуры и по мощным живописным воспоминаниям, имели успех. Для театра Мамонтова он сделал «Каменного Гостя» и «Кармен», а также ряд постановок итальянских опер: «Отелло», «Фенелла», «Лукреция Борджия», «Дон-Жуан», «Севильский Цирюльник» и другие.

Серов и Врубель. Мастерская в доме Червенко

Эти три художника — Коровин, Серов, Врубель — были друзьями, вместе боролись за жизнь, за свое искусство, вместе прокладывали новые пути.

С Серовым Коровин познакомился у Мамонтова. В это время Остроухов, Серов и Михаил Мамонтов (который тоже хотел быть художником) занимали в Москве отдельную мастерскую, где писали модели. Коровин никогда не был туда приглашаем, так как считался декоратором, а не художником. К его живописи относились отрицательно, не признавая ее серьезной. Коровин тоже не придавал молодому Серову большого значения. «Видя его еще ребячью наброски и большую трудоспособность, я сначала не заметил в нем ничего интересного», говорил Коровин. Но понемногу отношения изменились. Серов сам стал искать сближения с Коровиным. В это время Коровин жил на Долгоруковской улице в доме Червенко, где у него была мастерская. И вот Серов, который тоже имел мастерскую, предложил Коровину построить отдельную комнату для него при коровинской мастерской. Так и было сделано. Серов переехал к нему и началась их совместная дружеская жизнь и работа.

Материально художники вели довольно трудную жизнь, но их индивидуальности раскрывались и расцветали. Насколько зависть убивает дух, настолько же дружба его окрыляет. Постоянные беседы о живописи давали импульс к работе. Живопись Серова в это время изменилась — сделалась более сильной и темпераментной. Портрет, который он сделал с Коровина, представляет живое воплощение этого периода его творчества. Коровин изображен молодым, полным радости и юмора; изображена знаменитая мастерская в доме Червенко и наконец воплощены колоритные искания Серова — результат его художественного общения с Коровиным. Серов писал этот портрет очень долго и все же он остался незаконченным, эскизным.

К этому времени относятся работы, выставленные обоями художниками на конкурсе общества любителей художеств. Серов выставил портрет, Коровин пейзаж и жанр. Первой премии не получили ни тот ни другой, ее вообще не выдали никому. Оба получили вторую. «Жанр» Коровина изображал людей на террасе на фоне вечернего солнца.

Замечательна та характеристика, какую Коровин, редкий мастер замечать существенное в человеке, дал Серову того-

времени: «Серов был человек мрачный, глубоко тоскующий. Он говорил: жизнь просто ненужная, невольная проволочка и тоска... Серов был брюзглив, ничто ему не нравилось. Вообще он производил впечатление человека совершенно упавшего духом. Он очень любил Веласкеза, ценил Репина и как-то не мог сделать ничего своего, словно не зная, что делать. Юморист и насмешник, по характеру скептик, никогда никем и ничем не довольный, он долгое время собирался писать картину: привоз Иверской в публичный дом. Чем увлекала его такая тема, для меня было не совсем понятно. Он обнаруживал еще необыкновенный интерес к стоящим на бирже извозчикам. Однако он недостаточно писал типичное и смешное, хотя и был юморист. И только в своих карикатурах он вполне проявлял себя, в них он был для меня настоящим художником... 'Опять надо писать противные морды', говорил он, отправляясь на портретные сеансы; казалось он пишет их только из нужды. Возвращаясь с этих сеансов, он рассказывал: — 'Пришел, брат, я писать А., старика. Поздоровались, меня пригласили присесть в гостиной и подождать покуда позавтракают. В открытую дверь виден завтрак — папаша, мамаша, дети, стук тарелок... Долго завтракали. Наконец, вытирая рот, вышел папаша: — ну, теперь, господин художник, займитесь делом. И вот, я занимался делом за 500 рублей', — и Серов качал головой и смотрел мне в глаза. Так Серов «занимался делом», а я — своими декорациями. Мне все хотелось написать русские большие симфонии в пейзажах с людьми, а Серову Иверскую. Но это так и не вышло».

Вскоре в мастерской Червенко произошло одно важное событие: к Коровину и Серову примкнул Врубель. Врубель приехал в Москву из Киева, где он только что закончил свою прекрасную живопись во Владимирском Соборе и в Кирилловской церкви. Его появление и обстоятельства его приезда были необычайны, как, впрочем, и всё в этом человеке. Вот что рассказывал мне Коровин об этой встрече: — «Однажды в октябре, в одиннадцать часов ночи я возвращался домой. Было холодно, грязно, моросил дождик. Москва — мрачная, мокрая, неуклюжая. Все сидят по домам, на улице мрак, туман, слякоть. Из дверей трактиров вырывается пар на улицу. Я шел, задумавшись, в свою деревянную мастерскую. Она стояла в саду, усыпанном мокрыми осенними листьями. Вдруг сзади я услышал: «Коровин»! Я обернулся — в летнем пальто с приподнятым воротником, в легкой шляпе, стоял Врубель.

Узнав, что он две недели уже как приехал, я удивился, что он не отыскал ни меня, ни Серова. В ответ Брубель предложил сейчас же итти с ним в цирк, куда он сам спешил.

— Но ведь цирк уже кончается, поздно?

— В таком случае я приду к тебе завтра.

— Где ты остановился?

Брубель не ответил.

— Я приду завтра в три часа, а вечером пойдем в цирк. Мы простились.

Отойдя он закричал: — Постой, дай мне три рубля! — Я дал.

На другой день Брубель пришел, как сказал, в три часа в нашу мастерскую. Серов тоже очень ему обрадовался. Брубель не посмотрел совершенно на то, что было написано мною и Серовым, и висело в мастерской и, побыв недолго, стал звать нас непременно в цирк, где он будет нас ждать:

— Я вам покажу замечательную женщину, необычайной женственности и красоты!

Вечером мы с Серовым пошли в цирк. После обычных клоунов, силачей, обезьян, на белой лошади выехала наездница.

— Вот она! смотрите! — сказал Брубель.

Наездница прыгала в кольца, пробивала бумагу, ехала стоя на голове. Вглядываясь тщательно в нее я видел бледное лицо брюнетки, с большими темными глазами и сильно зачерченной перевитой косой. Когда она кончила свой номер, Брубель взволнованно сказал: «Пойдемте!». И быстро потащил нас за кулисы какими-то темными лестницами. Мы вошли, когда отводили лошадь. Наездница, одетая в трико, стояла рядом с человеком низкого роста, сильного и грубого сложения, в костюме паяца и с лицом типичного итальянца из народа. Это был ее муж. Брубель нас тотчас же представил. Тут я увидел ее ближе. Она была небольшого роста, с совершенно белым, как мрамор, лицом и с большими, добрыми, как у лошади, глазами. Голова ее была посажена красиво, на ровной, прямой, белой шее. Обычный итальянский тип...

— Хороша? — спросил Брубель в сторону.

— Ничего особенного, — сказал Серов и стал прощаться.

Брубель просил меня остаться, чтобы вместе пойти к ним после представления. Они жили недалеко от цирка на Третьей Мещанской, во дворе, в деревянном доме. По грязной лестнице мы вошли в маленькие комнаты с запахом деревянного

масла и щей. В первой комнате был диван, на котором стояло огромное полотно. На нем изображалась она, эта женщина, размером вдвое более натуры. Портрет был поясной. Рядом были разбросаны картоны. Портрет давал лицо с огромными глазами, в каких-то облачных красках и был удивительно странный и особенный. На полу лежал тюфяк без простыни. Я догадался, что здесь помещалась мастерская Врубеля. Пальто служило ему очевидно одеялом. В соседней комнате, где жила удивительная женщина с мужем, стояла скучная, печальная мебель и стол с вязаной салфеткой, на котором она, положив бумагу, стала резать колбасу и хлеб. Итальянец откупоривал бутылки пива. Одета была она в вязаную, красную шерстяную юбку с голубыми фестонами, в красную шерстяную кофту с синим воротником. На шее у нее была черная, бархатная лента со стертым большим золотым медальоном. Итальянец был тоже в вязаной кофте, подпоясанной широким синим шарфом. В общем они давали цвета каких-то попугаев.

В комнате было жарко. Врубель снял свой элегантный сюртук. Наездница подошла ко мне и сказала почему-то — «Господин Ноблэсс!» — стала снимать с меня сюртук. Врубель и ее муж без умолку говорили по-итальянски. Я понял, что речь идет о цирке, о каком-то клоуне, который взял вперед деньги и досадил антрепренеру. Врубель жил и горел их профессиональными интересами. Мне было очень странно. У них была своя особая жизнь.

Наездница сидела, как царица, изредка вставляя решающее авторитетное слово. Вглядываясь в нее я видел, что она была торжественна и в атмосфере обожания (которая ее окружала) была действительно прекрасна. Это была какая-то особая богема, в которой все эти люди понимали друг друга. Я сидел среди них, как чужой. Только тут, наконец, я узнал, что Врубель приехал из Киева с цирком!

На другой день Врубель пришел ко мне. Я предложил ему переселиться к нам в мастерскую, и он вечером же переехал. Итальянцев он больше уже никогда не видал. Перестал интересоваться ими и портрет оставил у них. Он привез с собою картон, на котором в центре композиции был изображен распятый Христос. Тело Христа было написано все, как бисер; оно было из мелких бриллиантов. Каждая грань была тронута цветами радуги и потому сияла, как алмаз. Херувимы и серафимы, окружавшие Христа, были как бы изумруды, сапфиры, топазы. Поразительными орнаментами соединялись

их крылья, опускавшиеся до земли в причудливых строгих и ритмичных формах. Это был каскад необычайных красочных гармоний; опасная грань модерна, плаката, дешевой изысканности и величия серьезной неожиданной формы, равной классикам. Всё это поражало, восхищало и подавляло меня.

Но каково же было мое удивление, когда через неделю я увидел этот картон разрезанным на четыре части с наклеенной на них ватмановской бумагой, на которых Врубель начал делать иллюстрации к күшнеревскому изданию «Демона». Пораженный я высказал Врубелю свое удивление. Он сказал: «Это же никому не нужно и никто этого не поймет».

Врубель часто делал костюмы для театра, которые ему не заказывали, рисовал на память карандашом лица женщин, с которыми познакомился, но оставлял их там, где делал. Однажды он взял у меня 25 рублей, тогда большие деньги для нас, и привез на них духи, дорогой заграничный кусок мыла и ликер.

Проснувшись утром, Врубель, стоя в глиняном тазу, обливался теплой водой с духами. Каждый день он бывал у куафёра и чуть не плакал, когда манжеты хоть немного были запачканы краской. Он клал в золу печки куриное яйцо, которое ел с хлебом, запивая водой с ликером, что составляло его завтрак и обед. Но одет он был всегда изысканно-элегантно. Он не любил бывать в гостях у богатых людей (хотя ценил роскошь) и всё что получал тратил в тот же день. Тогда он, один, отправлялся в лучший ресторан, требовал лучшего метрдотеля, обсуждал с ним изысканные блюда и вино. Понимая гурманство один метрдотель сказал мне: — «Из всей Москвы это настоящий господин, они понимают и им приятно служить».

Однажды я пришел в мастерскую и застал Врублена за работой. На большой, широкой, атласной голубой ленте был сделан прямо от руки четко, без всякой поправки, удивительной формы, невиданный орнамент. Подходя, он остро водил штрих за штрихом, как будто откуда-то его снимал. За орнаментом следовали стильные особенные буквы, и я прочел: — «Николаю Евгеньевичу слава, Боже Левочку храни, Шурочки привет!».

Оказалось, соседний дом, богатой немецкой фамилии, узнав, что здесь живет художник, поручил сделать этот плакат на именины Левочки; плакат должен был быть повешен над корзинкой со сладостями, которую вывезут на колесиках в разгар именин. Николай Евгеньевич, как оказалось, был док-

тор, Левочка любимец семьи, которому доктор сделал операцию, а Шурочка кто — так я и не узнал. За эту работу Врубель получил 10 рублей».

Странно то, что в Москве, столь занятой искусством, после прекрасных фресок Кирилловской церкви в Киеве и работ во Владимирском соборе, никто не сумел оценить изумительного дарования Врубеля. Повторяя модное слово «декадент», Москва прилагала его к Врубелю, так что даже Коровина на время оставили в покое. С невероятной злобой и раздражением отнеслись к Врубелю и все интересующиеся искусством, и художники.

«Однажды, пришел ко мне Павел Михайлович Третьяков смотреть мои летние картины, — рассказывал Коровин. — Долго раскланиваясь, чем на меня он производил впечатление древнего боярина скромного и серьезного вида, он внимательно осматривал картины, то чуть-ли не касаясь их лицом, то отходя далеко-далеко. На большом столе у стены стояли прекрасные эскизы Врубеля — иллюстрации к «Демону» и «Хождение Христа по водам».

— Павел Михайлович, посмотрите эти замечательные вещи, это работа Врубеля! — Он посмотрел на них искоса и сразу стал со мной прощаться. Я сказал: — Павел Михайлович, вам это не нравится?

— Не знаю, не знаю, — сказал он. — Извините меня, но это не искусство!

Когда пришел Врубель, я рассказал ему, что произошло.

— Если бы он сказал другое, я бы очень удивился, мне было бы очень грустно, если бы это ему понравилось.

Когда Врубель выставил большую акварель — своего умершего сына, в цветах, чудную акварель, дивный трагический портрет, с маленьким шрамиком на губе, который был и у отца, то художественный критик, имевший большие претензии на понимание искусства, написал: «Видно, что это сын декадента».

Прошло 8 лет. Врубель уехал заграницу, в мастерскую ко мне опять пожаловал П. М. Третьяков и спросил, где бы увидеть эскиз Врубеля «Хождение по водам»? Эскиз был у меня и был мною приобретен у Врубеля. Я показал его Павлу Михайловичу и он просил устроить ему эскиз для галереи.

— Отчего же вы тогда не посмотрели, Павел Михайлович?

— Не понял, не понял, — отвечал Третьяков.

Я с радостью уступил ему этот эскиз, как дар. Но на другой стороне этого картона, был другой эскиз: занавес для оперы Мамонтова — «Ночь в Италии», певцы времен Чинквеченто, который Третьяков обещал мне вернуть, разрезав картон, ибо это ему не нравилось. После смерти Третьякова я сообщил это управлению и оно разрезало и возвратило эскиз, иначе он остался бы похороненным на оборотной стороне картины. Я подарил эту вещь в Третьяковскую Галерею, находя ее лучшей, чем первый эскиз...»

Интересно проследить как отразилась совместная дружеская жизнь всех трех художников на их творчестве. Серов здесь получил больше всего для своей живописи, он находился под влиянием Коровина. Будучи талантливым рисовальщиком и человеком редкой трудоспособности и упорства, он старался усвоить живописную насыщенность и пышность коровинских колоритов. Достигнуть этого вполне он никогда не мог, так как был человеком совсем иного жизнечувствования, но всё же живопись его стала сильнее.

Напротив Врубель ничего не мог заимствовать у Коровина, так же, как и Коровин у Врубеля. Это были мощные художественные индивидуальности и каждая шла своим путем. Коровин искал лиризма в русской природе, в русской деревне, в образах ежедневной жизни. Врубель же, напротив, говорил: «Я ненавижу ваши мостики, речки, деревеньки... На этом мостике Сегаль может сломать ногу». Сегаль была кровная скаковая лошадь, а Врубель был страстным наездником.

Врубель не был лириком русской жизни. Его захватывала лишь романтика фантастического потустороннего мира. Другое различие их путей заключалось в том, что Коровин был импрессионист и потому прежде всего живописец. Врубель же не был импрессионистом и живописность никогда не стояла у него на первом плане. Его область была совсем иная: это были гениальная графика, иллюстрация, выражавшая мистические и символические образы, и фантастические орнаменты. Только один раз Врубель увлекся чисто живописной задачей, это в своей картине «Ночное» (Третьяковская Галерея) и нужно признать, он достиг здесь большой силы. Коровин, считавший Врубеля совершенно исключительным, мировым художником, говорил часто, что в нем были заложены все позднейшие искания живописи: и Пикассо, и кубизм.

В силу этого основного различия путей, Врубель не особенно любил жанр Коровина: его «Испанки» ему не нравились;

зато он очень ценил декоративные искания Коровина. Область сказочной фантастики и романтизма далеких стран и культур объединяла художников.

Постановки в императорских театрах

Вновь назначенный управляющий императорскими театрами в Москве, Владимир Аркадьевич Теляковский, приехал однажды к Коровину. По отношению к императорским театрам Коровин был предубежден: безвкусие костюмов и нелепость декораций порою поражали его. Так например, в «Руслане и Людмиле», в пещере волшебника-шамана Финна был поставлен глобус. А Жанна Д'Арк сидела на качалке, покрытой персидским ковром. Трудно было без смеха смотреть на казаков в «Демоне», которых за кулисами называли бершовцами, т. к. костюмы для них сочинил отставной военный Бершов.

Коровин был в недоумении, когда увидел у себя Теляковского.

— Я пришел к вам, чтобы вы заступились за театр, защищили театр, — сказал Теляковский.

Коровин был поражен, не верил прямо своим ушам. Но с первых же слов Теляковский вызвал в Коровине полное доверие и тем заставил его отдать свой труд громадным сценам императорских театров. Однако, с первых же шагов работы Коровину там делались мелкие, но очень неприятные затруднения со стороны прежних служащих. Всё вооружилось против него и он чувствовал отчаянную недоброжелательность, затрачивая огромную энергию на преодоление этих мелочных затруднений: вдруг испорчена печь в мастерской, маляры являются пьяными или не приходят вовсе, балет не хочет надевать коровинские костюмы, те самые костюмы, в которых он впоследствии вызывал восторг и изумление Парижа, Лондона и Америки.

При первых постановках Коровина — балета «Конек Горбунок» и оперы «Демон» — пресса как бы взбунтовалась. Слово «декадент» не сходило со страниц газет. Казалось не было другого дела, как поносить новые постановки императорских театров. Артисты были забыты... Консервативные и либеральные газеты писали одно и то же. Везде только и говорили об этом. Но театры были переполнены. Балет, который раньше давал сорок рублей сбору и старался раздавать билеты по учебным заведениям, теперь был битком набит, хотя, выходя из театра,

зрители и ругали постановку. При этом пресса обеспокоила консервативные правительственные круги с совершенно неожиданной стороны.

Однажды Коровин был приглашен в жандармское отделение в Москве. К нему вышел очень приличный человек, в штатском, маленький, полный. Он был изысканно любезен и просил сесть, предложив папиросы. У него, видите ли, имеется запрос из Петербурга, касающийся Коровина. Постановки, вызвавшие такую сенсацию, требуют маленького объяснения, которое нисколько не должно огорчать художника. После всех этих любезных прелюдий он наконец сказал главное:

— Скажите, пожалуйста, какая связь между импрессионизмом, который вы проводите на сцене, и социализмом?

Коровину редко приходилось так широко открыть глаза, как в этом случае.

— Вы не подумайте, что это допрос, — сказал он. — Это только необходимое разъяснение и мне нужно что-нибудь ответить в Петербург.

Коровин мало понимал в политических учениях, но возразил, что решительно не находит никакой связи между импрессионизмом и социализмом и никогда подобного вопроса себе в своем творчестве не ставил.

— Так, так, — сказал он, — так и запишем. Всё же вы со мной не совсем искренни, хотя я желаю вам только добра. Против вас вся пресса и я мог бы вам помочь.

Коровин ответил ему, что наша пресса невежественна в вопросах искусства. Тем и закончился этот любопытный разговор.

А театры были попрежнему полны, и в самой прессе наконец образовалось два враждебных лагеря, за и против Коровина, и публика также раздвоилась. На репетициях одни жали Коровину руку, другие — мрачно молчали. Работа Коровина была периодом совершенно исключительного расцвета декоративного искусства на сцене императорских театров в Петербурге и Москве. Коровинские постановки были событием в истории балета.

Его сказочные пираты, испанки, испанцы и персианки были вовсе не реалистичны, вовсе не списаны с исторических и национальных костюмов. Театр не этнографический музей, говорил Коровин. Эту мысль К. А. всегда проводил в своих постановках. Он считал, что театр не должен пассивно воспроизводить реальность; изображая лес, не следует тащить

на сцену настоящую березу. Поставить действительные юрты и фигуры самоедов в подлинных костюмах не значит дать декорацию севера. Всякий, кто вступает на этот путь, покидает путь художественного творчества. А театр должен всегда действовать средствами искусства. Художественная фантазия писателя, поэта, драматурга, юмориста, живописца, никогда не должна ставить своей целью пассивно отразить то, что есть, или то, что когда-то было. Искусство берет свои образы, проблемы, идеи из действительной жизни, но оно поднимает их в план прекрасного, в совсем особый мир, и серый мир ежедневной реальности всегда лежит глубоко под ним.

Для бенефиса Шаляпина был поставлен «Демон». Фигуру Демона Коровин выполнил в стиле Врубеля, которого к тому времени уже не было в живых. Он хотел этим выразить уважение к памяти друга и восхищение его художественной трактовкой лермонтовских образов. Кавказ Коровин хорошо знал и удивительно передал родство кавказских скал, врубелевское изваяние демона и лермонтовскую лирику таинственного величия Кавказа. Вслед за «Демоном» он выполнил постановки следующих опер: «Руслан и Людмила», «Игорь», «Садко», «Хованщина», «Жизнь за Царя», «Град Китеж», «Русалка», «Салтан», «Золотой Петушок», «Кошечка Бессмертный», «Снегурочка», «Евгений Онегин», «Богема», «Фауст», «Мефистофель», «Скупой Рыцарь», «Майская Ночь» и, наконец, всё «Кольцо Нibelунгов». Балеты были поставлены: «Конек Горбунок», «Золотая рыбка», «Спящая красавица», «Корсар», «Дон-Кихот», «Раймонда», «Аленький цветочек», «Саламбо», «Баядерка», «Дочь Фараона», «Лебединое Озеро», «Щелкунчик», «Карнавал в Венеции», «Дочь Моря», «Эсмеральда». А в Малом и в Александринском в его декорациях были поставлены: «Ревизор», «Горе от ума», «Вишневый Сад», «Живой труп», «Макбет» и «Буря».

Некоторые из этих постановок вызвали наконец всеобщее и полное признание.

К этому времени относятся и выставки «Мира Искусства» в Петрограде и в Москве. Коровин постоянно участвовал в них, выставляя портреты, декоративные эскизы, панно Парижской выставки, картины Севера, Средней Азии, Сибири и Кавказа. Потом выставка эта разделилась и образовался «Московский Союз русских художников», где Коровин всегда выставлял свои вещи.

Б. П. Вышеславцев

“СКОРПИОН” И “ВЕСЫ”

Москвичам хорошо был известен выстроенный в конце XIX века дом «Метрополь» на Театральной площади. Импозантный пятиэтажный «модерн» с вычурными декадентскими фресками, украшавшими верх фасада. Всю переднюю часть здания, выходившую на площадь, занимали первоклассная гостинница, роскошный ресторан с обширной залой и кабинетами и — что по тому времени являлось небывалой новинкой — нарядный бар, в котором днем и ночью развлекались московские кутилы. А задняя часть здания, выходившая на древнюю Китайгородскую стену, была занята дорогими квартирами, снабженными всем мыслимым в ту пору комфортом. В одну из таких небольших квартир вселилось только что возникшее книгоиздательство «Скорпион».

О нем можно сказать, что оно «вывело в люди» символистов, более известных вначале под кличкой «декадентов», о которых широкая публика в доскорпионовскую пору черпала все сведения из грубо-издевательских статей мало-компетентных газетчиков. Над символистами посмеивались, никто их не печатал. А если немногим из них и удавалось самостоятельно выпускать свои произведения, то они появлялись в виде неказистых книжонок, изданных буднично и небрежно. Но счастье неожиданно улыбнулось смелым новаторам, когда они в лице Сергея Александровича Полякова встретили щедрого мецената и деятельного издателя.

С. А. Поляков был одним из владельцев Знаменской Мануфактуры, а это означало миллионы. Прекрасно помню С. А. Небольшого роста, довольно тщедушного телосложения, с рыжеватой растрепанной бородкой. Одет неизменно в серый помятый костюм. Первое впечатление — какой-то чуть ли не монашеской скромности и нервной застенчивости. А между тем С. А. являлся наредкость образованным человеком с широким диапазоном знаний и интересов. Был настоящим знатоком живописи и безошибочно разбирался во всех стилях, эпохах и школах. Владел чуть ли не пятнадцатью иностранными языками, а норвежский изучил настолько, что очень, порядочно

переводил ставших в то время модными норвежских авторов.

Родившись в патриархальной купеческой семье, в тихой замоскворецкой улице, С. А. впервые ощущил Божий мир в опрятных, небольших, сильно натопленных комнатах с низким потолком. Одна старушка, родственница С. А., так рассказывала моей сестре И. М. Брюсову о его детстве: «А тараканов пришлось бросить морить. Сереженька никак не мог заснуть, если ему не приносили в кроватку коробочки с тараканами. Послушает-послушает, как они в коробочке-то шуршат, ну, плакать перестанет, улыбнется, да и уснет!». Вслед за «тараканьей экзотикой» — когда ребенок подрос — наступила гимназия, а там и Московский университет, в котором С. А. окончил математический факультет. Ни происхождение, ни образование, ничто, казалось, не предвещало той неожиданной эволюции, которая преобразила С. А. в подлинного эстета и незаурядного ценителя всех исхищрений символизма, как в литературе так и в живописи.

«Скорпион» приступил прежде всего к изданию книг. Сборники стихов Бальмонта («Будем как солнце», «Только любовь»), Брюсова («*Urbi et Orbi*», «Стефанос» и др.) Андрея Белого («Золото в Лазури»), И. Коневского и др. Романы Пшибылевского, Брюсова, Андрея Белого... Затем, по совету и настояниям Брюсова, «Скорпионом» начато было периодическое издание сборников «Северные Цветы», в которых появлялись и стихи и проза символистов. Каждая книга, изданная «Скорпионом», являла собою верх изящества. Всё, начиная с формата, обложки и печати, было художественно, оригинально и нарядно. Наконец, кажется в 1903 году «Скорпион» принял издание ежемесячного журнала «Весы», ставшего своего рода академией символизма. Каждая из помещавшихся там статей отличалась не только смелым новаторским содержанием, но и тщательностью и изысканностью языка. На страницах «Весов» читатель встречался с полным отречением от «штампа», от затасканной обезличенности языка, от того устарело-условного стиля, который царил в газетах, толстых журналах и ходких романах того времени.

Руководил «Весами» Валерий Брюсов. Почти в каждом номере помещал он свои статьи. Боевые и серьезные, где выступал как теоретик и апологет символизма. Его предшественницей он считал школу парнассцев, с которыми его роднили культ формы и пафос величия. На страницах «Весов» Брюсов печатал Э. Верхарна. Переводы Верхарна были мастерски

исполнены Брюсовым, а также переводы стихов Эредиа и Т. Банвиля, помещенные в «Северных Цветах». Кстати о переводах. В статье, озаглавленной «Фиалки в тигеле» были даны Брюсовым почти откровения в области тайны искусства перевода стихов.

К. Бальмонт, между иными интересными статьями — о польской, английской, испанской литературах — поместил в ряде №№ «Весов» очень ценные заметки о своем путешествии по Мексике, излагая по тогдашним новейшим источникам историческое прошлое этой далекой страны и знакомя читателей с своеобразным искусством древних мексиканцев и с тайной символов их скульптуры и архитектуры.

Константин Дмитриевич Бальмонт редко появлялся в редакции «Весов», т. к. чаще всего находился заграницей. Впрочем незримо присутствовал всегда. Главным образом напоминал о себе телеграммами, приходившими с разных концов света. В телеграммах этих было почти всегда одно и то же: «переведите 500». И С. А., не откладывая, посыпал Бальмонту требуемые деньги.

Однажды Брюсов, вскрыв одно из таких очередных посланий, спросил С. А.:

— Как тут быть?

— Пошлем, конечно. И скажем слава Богу, что он не требует тысячи, — ответил, смеясь, С. А.

Обычно в редакции собирались часам к четырем, т. к. к этому времени появлялся С. А., освободившись от занятий в правлении своей фирмы, где заведывал контролем и отчетностью по многотысячным операциям. Между собравшимися писателями и художниками нередко возникали споры, иногда из-за каких-нибудь разногласий в области чисто вешней — качество бумаги, шрифт, тон краски и т. д., но иногда — на почве более глубоких расхождений во взглядах на сущность того или иного произведения или по теоретическим вопросам искусства. С мягкой, доброжелательной улыбкой прислушивался С. А. ко всем этим часто пылким спорам. Сам говорил чрезвычайно мало. Только в глазах светился живой огонек понимания, соединенного не то с хитрецой, не то с насмешкой.

Когда приступали к изданию какой-нибудь книги, то как-то так повелось, что вопрос о ее будущей внешности обсуждался всеми присутствовавшими сообща. Решали кому из художников заказать обложку, заставки, шмуцтиттель. Присяж-

ным «скорпионовским» художником состоял Н. Феофилактов, но нередко иллюстрации поручались и Судейкину, и Лансере, и Сомову и др. Многое принималось во внимание при выпуске книги: личный вкус автора, подходящая бумага, нарядность оригинальной обложки, от которой требовалась безусловная гармония с содержанием. Но один вопрос не возникал никогда: о стоимости. Этого вопроса в «Скорпионе» просто не существовало, ибо его не пугали никакие расходы. Иные клише изготавливались в Германии; оттуда же выписывали специальную бумагу-картон для обложек. Всё, что выпускал «Скорпион», печаталось в одной из лучших типографий и на дорогой бумаге «верже». Понятно, что такая чисто московская, баснословная щедрость С. А. Полякова привлекала в редакцию «Весов» немало художников и писателей.

Вспоминается один приезд в Москву Мережковских. О дне и часе своего прихода в редакцию они предварительно дали знать. Цель этого прибытия уже заранее была известна. Дмитрий Сергеевич Мережковский, совместно с Г. Чулковым, намеревался издавать религиозно-революционный журнал «Новый Путь» и на это ему были нужны 40.000 рублей. Целый день супруги Мережковские разъезжали по Москве. Встречи, деловые свидания, очень умные мистически-пророческие разговоры с рядом влиятельных, могучих москвичей. Заодно чета Мережковских посетила и Донской монастырь, где Д. С. принял участие в каком-то диспуте, на котором выступали учёные богословы. (Злые языки утверждали, что и там Мережковские — тщетно, правда — но пытались получить нужные им деньги).

Странное впечатление производила эта пара; внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он — маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Черные, глубоко-посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно-растущей бородой и тем легким взвизгиванием, с которым переливались слова, когда Д. С. раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства, и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов.

А рядом с ним — Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлинен-

ных глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий гром. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то греческим всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же — поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благодеянии (т. е. об авансах и гонорарах) ведала почти исключительно З. Н., и что в этой области ею достигались невероятные успехи.

Атака на С. А. повелась с обоих флангов. Д. С. пророчески заговорил о грядущей революции, в которой «выступит не народ... а Христос». И к этому событию следует подготовляться, т. е. нужен был журнал. А З. Н., расхваливая «Скорпион» и его издания, настаивала на том, что без «мистического венца» это дело останется незавершенным. С. А. Поляков вежливо слушал, улыбался, но не выражал ни протеста, ни согласия. А вечером того же дня все встретились у Брюсовых. С. А. и З. Н., несколько отдалившись от прочих гостей, пили вино. На этот раз С. А. был на редкость разговорчив. Вел себя как откровенно ухаживающий кавалер. Подливая вино в бокал своей дамы и став неожиданно находчивым, он весело сказал:

- А знаете, какая в ваших стихах самая мудрая мысль?
- Нет...
- Вот какая:

И только одно я знаю верное:
Надо всякую чашу пить до дна...

- З. Н., подняв бокал, смеялась:
- Я имела в виду совсем не такую чашу!

Заканчивать вечер отправились всей компанией в отдельном кабинете «Метрополя». Там хлопали пробки, подавалось шампанское, читались стихи. Расстались около 2-х часов ночи. Так как вопрос о сорока тысячах не был всё же решен, Мережковские взяли с С. А. слово, что он на следующий день зайдет к ним в отель. Но к этому времени по адресу З. Н. была послана огромная корзина роз и элегантная бонбоньерка с конфетами. С. А. не поехал к Мережковским и вопрос о субсидии отпал.

В разговоре с Брюсовым по этому поводу С. А. дал

такое объяснение нежеланию поддерживать своими деньгами намечаемое Мережковскими издание журнала: — Ни к чему это. Я сказал Мережковскому: — если в вашем журнале будет то же, что и в «Весах», то он не нужен, а если — иное, то он будет вреден нам, как конкурент... Ну, объявят Христа социал-демократом, какой в этом толк?

К Мережковским относились с каким-то недоверием. Конечно, за Д. С. признавали талант большого писателя, а З. Н. считали умной и интересной поэтессой. Но была у этой четы какая-то невероятная неразборчивость: монахи, социал-демократы, анархисты, сектанты, к представителям всех толков и всех идеологических оттенков влекло Мережковских. И чувствовалось, что ни в одном стане они не пользовались полным доверием. По старой французской пословице «ничьим другом не может быть тот, кто дружит со всеми». В литературных кругах о Мережковских всегда ходило много странных разговоров. В особенности о З. Н. Гиппиус. З. Н., действительно, обладала какими-то и душевными и, главное, физическими свойствами, делавшими ее непохожей на своих современниц и все поэты соглашались с тем, что Вл. Соловьев имел в виду З. Н. когда написал известную сатиру, начинавшуюся так:

Я — молодая сатиressа,
Я — бес.
Я вся живу для интереса
Телес.
Таю под юбкою копыта
И хвост...
Посмотрит кто на них сердито
— Прохвост!

Однажды появился в редакции «Весов» Максимилиан Александрович Волошин. Он был редким посетителем, т. к. проживал в Париже, где учился живописи. Его стихи охотно печатались в «Северных Цветах». Вспоминаю его не тем вдохновенным, чуть ли не библейским старцем, каким в наши дни его описывают люди, встречавшиеся с ним в Крыму незадолго до его смерти. Тому Волошину, который хранится в моей памяти, было лет 30-35. Небольшого роста, широкоплечий, приземистый, с крупной головой, казавшейся еще больше из-за пышной гривы золотистых волос. Добродушное мясистое лицо все заросло бородой, густой, беспорядочной, повидимому, не знавшей никакого парикмахерского вмешатель-

ства. Насмешники за его спиной называли его «кентавром» и, пожалуй, это было удачно. Одет Волошин был дико до невероятности. Какой-то случайный пиджак, широкий и очень несвежий. Бумажного рубчатого бархата брюки (их в то время носили в Париже все бедные художники) были прикреплены к теплому жилету двумя огромными английскими булавками. Совершенно откровенно и у всех навиду сверкала сталь этих неожиданных, ничем не закамуфлированных булавок. В позднюю холодную осень он ходил без пальто. Чувствовалось, что у Волошина какая-то невзрослая, неискушенная жизнью душа и что поэтому его совершенно не смущало ни то, как он одет, ни то, что об этом думают люди.

Тогда же посетил Волошин и брюсовскую «среду». Та же нечесаная борода, те же английские булавки. Говорил с сильной одышкой, сипловатым сдавленным голосом. Рассказывал много интересного о парижских импрессионистах, об их нравах и картинах. А потом прочел несколько прекрасных стихотворений, посвященных французской революции. В то время вся русская интеллигенция была настроена в пользу революции. Но у Волошина все прочитанные в тот вечер стихи, по какому-то может быть неосознанному духу противоречия, были исполнены явной симпатией не к революционерам, а к их жертвам.

По словам парижан из мира художников и писателей, с которыми Волошин вел знакомство, он производил там большое впечатление: «Настоящий сын степей!». Впрочем, всё такое часто говорилось русским из французской вежливости. А между собой французы, может быть, над ним и посмеивались. Они не могли постичь ни его сущности, ни даже его французского языка. Одна дама из этого круга, жена поэта Ренэ Гиля, рассказывала моей сестре: — Этот Макс прямо удивителен! Тут у нас произошла история... Мы так хотели... Приходит однажды Макс и приглашает нас к определенному часу в ресторанчик, по случаю приезда... *de ton mère...* Приглашение мы приняли, но были в большом недоумении: кого же мы увидим? Что подразумевал Макс: *ta mère* или *ton père*? Ренэ заявил, что вечером в ресторане выяснится. Друзья собрались в указанном месте. Появляется наконец и Макс в сопровождении... женщины, но волосы стриженые и... в брюках! Оказалось, что и матушка у Макса — довольно оригинальная дама. Она ходила стриженая и в брюках! (Всё это происходило лет 50 тому назад!).

Рассказывали в Париже и о том, как однажды на собрании художников-импрессионистов (а Волошин принадлежал к их числу) он выступил с речью. Говорил о древнем Востоке, который и по сей день вдохновляет художников, ищущих подлинной красоты. Волошин, конечно, говорил по-французски. Но язык этот был настолько экзотичен, что председатель собрания, благодаря оратора, отметил с чисто-французской вежливостью, что слушатели поняли почти полностью речь, пропизнесенную на языке загадочного, отдаленного Востока.

В «Весах» Волошин печатал статьи об импрессионизме и пространные отчеты о парижских выставках. Но и поэт Волошин считался настоящим.

Изредка появлялся на московском горизонте Константин Дмитриевич Бальмонт. И тогда всё шло вверх дном. С. А. ценил в Бальмонте не только одного из лучших поэтов современности, но также и незаменимого собутыльника. В трезвом состоянии Бальмонт отличался замкнутостью и горделивой нелюдимостью. Молчал и капризно показывал, что никого не слушает. Вино же совершенно перерождало его. Он сразу становился общительным и разговорчивым. Принимался очень навязчиво ухаживать за дамами. Так и сыпал стихотворными экспромтами. Начинал вдруг рассказывать невероятно смелые истории, где правда сливалась с безудержной фантазией в стиле Э. По.

Среднего роста, рыжеватый блондин с бородкой. Когда он читал свои стихи, то слова звучали не по-русски. Происходило это не только от презрительной небрежности в произношении, но также и от какого-то прирожденного дефекта: некоторых согласных он не произносил.

У публики Бальмонт пользовался огромным успехом. При его выступлениях, зал был всегда переполнен и овациям и апплодисментам не было конца. «Скорпион» отводил почетное место его прозе в «Весах» и стихам в «Северных Цветах». Книги стихов его расходились больше всего. Его читали и ценили и пожилые люди, и молодежь, и правые, и левые. Сам он был убеждений левых и прихода революции ожидал как откровения. Бальмонт был всегда нарядно одет и надушен крепкими английскими духами. Любил дальние путешествия и разъезжал по всему свету. Жена его, Евдокия Алексеевна, происходила из именитого московского купечества и обладала хорошими средствами. Кроме того, высокие гонорары, постоянные авансы...

Когда Бальмонт приезжал в Москву, то жизнь его проходила в усидчивых занятиях дома, чередовавшихся с длинными и бурными попойками и кутежами. Случалось, что он пропадал из дома по несколько дней. Тогда встревоженная Е. А. принималась разыскивать его по всему городу.

Однажды в редакции Брюсов, держа в руках довольно объемистую рукопись, обратился к С. А.:

— Как-то не решаюсь сдавать в набор. Прислано В. Ивановым «О дионисовом действе». Статья очень большая. И к символизму, собственно, мало отношения...

— А вы всё-таки пустите. Я ее прочел. Уж больно хороший язык. Такое богатство редко где встретишь... Нужно, нужно напечатать... За автором, кстати, большой аванс...

Потом вскоре в «Северных Цветах» Вяч. Иванов был представлен огромным циклом стихотворений. Всё то же эллинско-дионисийское содержание, еще более изысканный язык. И наконец однажды в редакции появился сам Вяч. Иванов с женой, поэтессой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Вяч. Иванов был пухлый блондин с брюшком. Небольшого роста. Красное лоснящееся лицо. Вокруг головы пушистые волосы венчиком. Небольшая бородка. За стеклами *ринг-леэз* недоверчивые, маленькие глаза и от их взгляда становилось неуютно. Фигура Л. Д. Зиновьевой-Аннибал была много импозантнее. Высокая, очень полная блондинка даже уже не средних лет. Как только В. Иванов заговорил, сразу бросилась в глаза та сосредоточенная изысканность, в которую он облекал самые обыденные мысли. Манера держаться какая-то двойственная. Он одновременно давал понять, что знает себе цену и вместе с тем проявлял какую-то нерусскую утонченность в обращении. С. А. явно благоволил этой чете. Певцу вакхических радостей и его жене никогда не было отказа в щедрых авансах.

Совсем особняком среди утонченных художников и писателей стоит у меня в памяти Василий, служивший в «Скорпионе» чем-то вроде артельщика. Ко всем изданиям «Скорпиона», ко всем его сотрудникам Василий относился с почти нескрываемым презрением. Одно время я исполняла там секретарские обязанности и помню, между прочим, такой его разговор с С. А., который, заехав в редакцию в неурочный час, довольно несмело обратился к Василию.

— Вот что, голубчик, мне нужны сто рублей.

— Откуда же я вам их возьму?

— Я думал... из книжных магазинов... за наши книги... Я же вас просил обойти...

— Да ведь книги-то ваши не продаются... А если что и собрал, так это одни пустяки! За квартиру надо было платить... Опять же намедни — за электричество... мое жалованье...

— Мм... значит, денег нет?.. Мне кажется, что всё-таки нам надо тут книги завести и всё записывать...

Несомненно, в много-миллионной фирме Поляковых велась настоящая бухгалтерия и соблюдалась строжайшая отчетность, без которой нельзя себе представить процветающее коммерческое предприятие. Но, повидимому, С. А. смотрел на «Скорпион» как на свою заветную причуду, от которой не ждал никаких доходов. Вероятно, он решил раз и навсегда жертвовать на «Скорпион» какую-то долю из зарабатываемых им денег и, появляясь в редакции, он переставал быть дельцом, превращаясь в барина, которому совершенно чужд мир расчетов и бухгалтерии.

Гонорары сотрудникам, типографские счета, авансы, покупка бесчисленных художественных изданий, — всё это оплачивалось С. А. из того набитого бумажника, в который Василий старался не прибавить ни одного рубля из денег, вырученных за «скорпионовские» издания. Он иногда любил говорить со мной. Рассказывал, что всех Поляковых знает, и никто из родни С. А. этого «Скорпиона» не одобряет.

Но всему приходит конец. После большевистского переворота С. А. лишился своего состояния. Большевики выселили «Скорпион» из здания «Метрополь», реквизировали запасы бумаги и даже мебель. Незадолго до моего отъезда из России, С. А. зашел к Брюсовым. Оказалась там и я. Он похудел и постарел. В растрепанной бородке появилось много седины. Глаза стали совсем грустными и из них исчез задорный огонек.

— Где вы теперь живете, С. А.? — спросил кто-то. После некоторого молчания он ответил с горькой улыбкой:

— Да, собственно, нигде. Говорят так — безопаснее... И мало с кем встречаюсь... Одни уехали, другие скрываются... К тому же со мной теперь рискованно встречаться, наш браткупец в опале и на подозрении... Впрочем, — тут он улыбнулся прежней улыбкой... — виделся не раз с... Василием. Поселился он у какого-то коммуниста и стал крупным спекулянтом. «Мы, говорит, пролетарии, вот и «пролетели в лю-

ди». Очень великодушно снабжает меня маслом и мукой и даже, представьте, деньги отказывается брать: ну, что с вас взять? говорит...

Кто-то стал советовать С. А. уехать заграницу. Некоторое время С. А. не поднимал опущенных глаз, ничего не говорил. И только после нескольких грустных минут сказал:

— Заграницу? А что мне там делать... без денег? Будь у меня прежнее состояние — на худой конец устроился бы там. Завели бы русскую типографию, основали бы какую-нибудь отдушину вольному русскому духу наперекор здешней удущливой уравниловке... Но уезжать заграницу нищим нет смысла... Для нищих самая подходящая страна — Россия... Нас тут будет огромное большинство. А пожилому человеку всегда выгоднее принадлежать к большинству. Оно и безопаснее.

Впоследствии, уже заграницей я получила два сообщения о судьбе С. А. В одном письме сестра писала, что С. А. высыпали из Москвы, запретив проживание в больших городах. А в другом, что о С. А. давно нет никаких вестей, что прежде он нет-нет да появлялся в столице (вопреки предписанию), а что вот прошло уже около года, а о нем ни слуху, ни духу.

Б. Погорелова

ФИЛИПП – ПРЕДШЕСТВЕННИК РАСПУТИНА

«Любовь к Христу — она была всегда так тесно связана с нашей жизнью в течение этих 22 лет. Сначала вопрос о принятии православия, а затем оба наших друга, посланные нам Богом. Вчерашнее евангелие за всенощной так живо напомнило мне Гр. и преследование его за Христа и за нас».

Так писала из Царского Села императрица Александра Федоровна государю в ставку в апреле 1916 года. Письмо было писано по случаю праздника Пасхи, а этот день совпадал с бывшей 22 года назад помолвкой. Царица пишет о своей религиозной жизни и отмечает важнейшие ее моменты. В связи с этим она упоминает и о «посланных им Богом» друзьях. Этими друзьями были французский целитель и мистик Филипп и сибирский «старец» Григорий Распутин.

О жизни Распутина и о той трагической роли, которую довелось ему сыграть в крушении русской императорской государственности и в жизни царской семьи, написано очень много. О другом персонаже знают гораздо меньше. В то время, когда он действовал в Петербурге и в Царском Селе — о нем нельзя было писать по цензурным условиям. О нем упоминается в некоторых дневниках и мемуарах, вышедших после революции, но сведения эти отрывочного характера. Между тем его роль также была немалой: это он приоткрыл дверь для прихода сибирского старца и в представлении императрицы навсегда остался другом царской семьи. Влияние его на царственную чету и на окружающих было весьма велико. Он несомненно обладал какими-то сверхъестественными силами и был и целителем и гипнотизером. Жизнь его была необычна и он заслуживает того, чтобы о нем вспомнить.

1. Происхождение и жизненный путь

Филипп родился 25 апреля 1849 года в скромной крестьянской семье в Савойе, в местечке Луазье. Это была небольшая деревушка, лежавшая высоко в горах, в округе Шамбери, вдали от больших дорог. Родители его владели небольшой

фермой, занимались крестьянским трудом и маленький Филипп с детства пас стадо баранов, принадлежавших его отцу. В те времена в Савойе школ было мало. Филипп учился грамоте у местного священника, который сразу отметил, что его ученик какой-то странный ребенок, что с ним происходит что-то неладное. Впоследствии в одном интервью сам Филипп так говорил о своем детстве:

«Я ничего о себе не знаю, я никогда не понимал и не старался понять свою тайну. Мне едва минуло шесть лет, а уже наш деревенский священник был обеспокоен некоторыми явлениями, происходившими со мной, и мне говорил: малыш, тебя должно быть плохо окрестили и мне кажется, что твоим господином является диавол. Я производил исцеления с тринацатилетнего возраста, когда я еще едва ли был способен отдать себе отчет в странных вещах, которые я делал. Моя роль ограничивалась тем, что я был бессознательным посредником между людьми и высшей силой, которая была вне меня и которую, если хотите, назовите Богом».

Когда Филиппу было 14 лет, родители отдали его к дяде, у которого была мясная лавка недалеко от Лиона. Обязанностью Филиппа было разносить заказанный товар по клиентам своего дядюшки. Работа в мясной лавке оставляла Филиппу свободное время, которое он использовал для пополнения своего образования. Он посещал учебное заведение аббата Шевалье и получил свидетельство о его окончании, что было ему достаточно, чтобы впоследствии слушать курсы на медицинском факультете в Лионе.

Занятие медициной — целительство — стало его подлинным призванием. Двадцати трех лет он окончательно обосновался в Лионе и начал самостоятельно заниматься медицинской практикой. В то же время он записался на медицинский факультет. Но занятия его в университете продолжались недолго — с ноября 1874 по июнь 1875 года. Факультету стало известно, что, не имея диплома, он занимается целительством, и ему отказали в записи в число слушателей. Этот неуспех не остановил попыток Филиппа легализировать свои занятия медициной. Есть сведения, что в 1884 г. он представил — по переписке — докторскую диссертацию на тему «О принципах гигиены во время беременности и родов» американскому университету в Цинциннати. Но этого было недостаточно, и он всю свою жизнь, занимаясь целительством, продолжал оставаться в глазах официальных медицинских властей «не имеющим права практики» и «подлинным шарлатаном».

В 1877 году он женился на девушке по фамилии Ландар, происходившей из богатой промышленной лионской семьи. Его будущая жена, которая была на десять лет его моложе, заболела тяжелой болезнью и доктора считали ее положение безнадежным. Филипп ее вылечил и впоследствии на ней женился. Брак был очень счастливым. У них было двое детей — мальчик, умерший вскоре после появления на свет, и дочь, которую отец очень любил. Она была впоследствии замужем за доктором Лаландом, помогавшим в медицинской работе своему тестю. Вместе с тем доктор Лаланд был известный оккультист и писатель. Его перу принадлежит известная книга о Калиостро — «Le maître inconnu». Писал он под «оккультным» псевдонимом Dr. Marc Haven.

Жена Филиппа принесла своему мужу значительное приданое, главным образом, в земельных владениях в Лионе и его окрестностях. Филипп мог спокойно предаваться своему занятию медициной. Медицина перестала быть для него источником необходимого заработка. Он получил возможность бесплатно приходить на помощь своим неимущим пациентам, чем в широкой мере и пользовался. Однако, вопросом материального благополучия он тоже не пренебрегал. Он постоянно играл на бирже, что многих интересовало, так как считали, что он обладает даром предвидеть будущее. Этот дар его, однако, на результатах биржевых операций не сказывался, а самое увлечение биржей было одним из главных против него обвинений со стороны его недоброжелателей.

Вышедший из крестьянской семьи Филипп сохранил до конца своих дней и во внешнем облике, и в своем обращении черты крестьянина. У него была грузная фигура, крупные черты лица и большая в себе уверенность. Он носил большие усы и зачесанные назад густые, черные волосы. Светло-карие глаза светились золотистыми искорками. Он был необычайно живым и быстрым в обращении со своими собеседниками. Как свидетельствуют его близкие, к каждому он умел подойти сообразно его качествам. В особенности он умел говорить с людьми простыми, не получившими большого образования; он быстро им импонировал и становился для них авторитетом. Многие его не любили, но зато у него были друзья и ученики, которые в него свято верили и готовы были для него на всяческие жертвы.

В 1885 году Филипп поселился в небольшом особняке в Лионе. Это был одноэтажный дом с садом, где проживала его

семья, помещалась приемная для больных и происходили медицинские консультации. В этом доме прошла вся его дальнейшая жизнь; в нем он получил и свою известность и, можно сказать, свою славу. В этом же доме нашли его те, кто подвели его к русской царской семье, к русскому императорскому двору и дали ему возможность сыграть свою странную и жуткую роль в деле крушения былой России.

2. Филипп — целитель

Всю свою жизнь занимаясь целительством, иначе говоря, нелегальной медицинской практикой, Филипп быстро составил себе большую клиентуру. Он получил известность не только в Лионе и его окрестностях, но и во всей Франции. Впоследствии слава о его чудесных исцелениях распространилась и по всему свету. В его приемной, где раньше бывали по преимуществу простые, малообразованные люди, стали появляться «сильные мира сего», представители интеллигенции, высшего общества, крупные чиновники и даже духовные лица. Правда, к нему шли не только лечиться, но и советоваться о своих делах и использовать его дар предвидения будущего. Зачастую он лечил и давал советы бесплатно, двери его приемной были широко открыты для всех.

Филипп лечил по преимуществу внушением, беседами с больными и своего рода молитвой. Он несомненно обладал сверхъестественным даром «целительства» — в этом отношении сходятся все, кто наблюдал или изучал его деятельность. Его ученики и друзья считали его магом и чудотворцем. Другие наблюдатели — из числа профессоров и доцентов медицинского факультета в Лионе — не идут так далеко; но и они утверждают, что сила внушения была у него весьма велика и что в его практике целителя были удивительные результаты.

Как бы то ни было, количество больных у Филиппа росло, появлялись они из разных мест Франции и из заграницы. Но по мере роста успеха росла и враждебность официального врачебного мира, в Лионе в особенности. В этих кругах репутация его, как «шарлатана», можно сказать, была прочно устновлена. Против него началась открытая борьба, которая доставила ему немало хлопот и огорчений. Три раза, в 1887, 1890 и 1892 гг. лионские врачи привлекали его к суду за незаконное занятие медициной. Он всегда бывал осуждаем и ему приходилось платить многочисленные штрафы. Но и в судебной магistrатуре у него были друзья и поклонники. В конце

концов его оставили в покое, увидев, что судебные дела создают ему только рекламу.

Наиболее реальной мерой в деле приведения своего врачевания в соответствие с действующими законами для Филиппа несомненно явилось привлечение к его «сеансам» дипломированных врачей. Сначала это был малоизвестный лyonский доктор Стейнсюа, затем его ближайшим сотрудником стал его зять, доктор Лаланд. Вместе с ними часто работал и доктор Энкесс (Папюс). Но оба эти его сотрудника работали вместе с ним не только в области медицины. Оба — в особенности Папюс — были известными оккультистами, посвящавшими немало времени популяризации «тайных знаний». Правда, в число таковых входила и герметическая медицина, но по существу сотрудничество их с Филиппом быстро перешло совсем в иную область.

3. Встреча Филиппа с царской семьей

Встреча лyonского целителя с русским царем и царицей, оказавшая роковое влияние на судьбу династии и видоизменившая жизнь самого Филиппа, произошла в самом начале текущего столетия, незадолго до его смерти. О том, как и где он был представлен Государю, сколько раз и когда он ездил в Россию и какова была его действительная роль при царском дворе, существует много противоречивых сведений, граничащих с легендами. Заслуживающих доверия источников сравнительно мало.

Лyonский доктор А. Манигэ, один из первых авторов, который писал о Филиппе не в порядке газетного фельетона¹, — дает такое объяснение проникновению учителя в русскую царскую семью: «Около 1900 года, пишет он, в Lyonе обосновалась на жительство княгиня О. Г. С., дальняя родственница царя. Дочь княгини была замужем за агличанином М., подлинным джентльменом. И мать и дочь были пламенными поклонницами Филиппа и впоследствии вошли в его семью. Повидимому, именно они установили его отношения с Двором в России».

Версия эта не соответствует действительности, но некоторое зерно истины в ней имеется. Речь идет о матери и дочери Шестаковых, из которых вторая, Мария Шестакова, была первым браком за англичанином Маршалом, а во втором за ов-

¹ Dr. A. Maniguet. Un empirique lyonnais Philippe. Thèse. Lyon. 1920.

довевшим зятем Филиппа доктором Лаландом. Совсем недавно она опубликовала маленькую книжечку: «*La lumière blanche*», где имеется немало ценных сведений и из коей явствует, что ее роль в этом деле была второстепенной. На самом деле ответственность за появление Филиппа при русском царском Дворе и вообще за его сближение с царем и царицей всецело лежит на трех лицах: на оккультисте Папюсе и на двух Вел. Княгинях Милице и Анастасии Николаевнах, «черногорках», как их называет в своих воспоминаниях граф Витте. Роль этих последних была особенно активна.

Орден Мартинистов был создан Папюсом с целью объединения всех интересующихся оккультизмом и герметическими знаниями, признающих эзотерический и символический метод понимания внешнего мира и желающих соприкосновения с «древней посвятительной традицией». Эта задача не замыкалась никакими национальными рамками и, естественно, что Папюс обратил свое внимание и на Россию. В Петербурге образовалась мартинистская ложа «Аполлоний», и Папюс отправился туда зимой 1900-1901 года читать лекции по «оккультным вопросам». Но на самом деле его надежды и чаяния шли гораздо дальше. Еще во время первого путешествия императорской четы во Францию в 1896 году по инициативе Папюса ряд оккультистских группировок отправил русскому царю приветствие под заголовком «*Message des spiritualistes français*», где между прочим говорилось: — «так как Ваше Величество правит Империей Запада наиболее религиозной и наиболее близкой к Голосам Провидения, мы позволяем себе приветствовать Вас при Вашем прибытии на Французскую землю, которая среди других вмешательств Божественного Провидения заслужила Шарля Мартеля, начавшего дело, которое Святая Русь призвана завершить, и Жанну д'Арк, которая возродила отчество именем Неба... Да благоволит Ваше Величество принять с благосклонностью наше приветствие и обессмертить свою Империю полным единством с Провидением».

На это письмо Папюс получил ответ от российского посла в Париже бар. Моренгейма, где указывалось, что — «Их Императорские Величества были очень тронуты выражением приветствия г-на Жерара Энкосс² по случаю Их прибытия».

Немудрено поэтому, что собираясь поехать в Россию, Папюс имел намерение вновь попытаться войти в соприкосновение

² Папюс.

с императорской четой. Нужно сказать, что у Папюса — равно, как и у его друга и учителя Филиппа, — был уже некоторый опыт привлечения «потусторонних сил» к делу помощи той или иной стране и ее властителям. Как пример, можно привести письмо лионского чудотворца, сохранившееся в архивах Папюса:

«Мой дорогой доктор и друг, я просил благословения для Турецкого Султана. Надо сделать многое: положение в этой стране очень напряженное и тяжелое, ибо она в упадке и обречена на больший упадок... Для Турции, я уверяю Вас, мы сделали то, чему не поверит смертный, и когда дикие звери захотят сожрать охраняемых Вами, прострите Вашу руку над этим народом и звери бегут. Вы хорошо знаете, мой высокий друг, что Бог дал нам полную власть и вооружил нашу руку ветром, градом, огнем, смертью и жизнью. Кто может внушить нам страх? По-моему, никто...».

К сожалению, остается неизвестным, как отразилась эта помощь на судьбе Турции и султана, но это письмо бросает свет на проекты Папюса при его первой поездке в Петербург, куда он, повидимому, уже решил попытаться направить также и своего лионского друга. Судьбе действительно было угодно, чтобы вслед за турецким султаном помочь «из потустороннего мира» стали искать русские царь и царица.

Папюс, видимо, хорошо знал тогдашний Петербург, придавая большое значение лекциям, которые он должен был прочитать там, в присутствии Великих Князей. Его проектами привлечения новоявленных кудесников, как «духовных руководителей» царской власти в России, заинтересовались Великие Князья Николай Николаевич и Петр Николаевич и Великие Княгини Милица и Анастасия Николаевны. Прискорбная роль всех упомянутых четырех лиц в этом деле не подлежит никакому сомнению.

Летом 1901 года две русские дамы, г-жа С. и г-жа П., были в Лионе и присутствовали на консультациях и целительных сеансах Филиппа. Они были поражены его магнетическими способностями и решили познакомить его с проживавшими на юге Франции Вел. Кн. Петром Николаевичем и Вел. Кн. Милицей Николаевной, а также с Вел. Кн. Анастасией Николаевной. Филипп получил приглашение прибыть в Канны, где проживала великолкняжеская чета, и знакомство состоялось. Впоследствии Петр Николаевич и Милица Николаевна нераз приезжали в Лион, бывали на сеансах у целителя, в Лионе их сын подвергался хирургической операции. Велико-

княжеская чета - равно, как и Вел. Кн. Анастасия Николаевна — познакомились со всей семьей Филиппа и бывали в семье целителя, где, между прочим, встретились с г-жой Маршал, урожденной Шестаковой, о которой уже была речь.

В Каннах было принято решение представить Филиппа Государю. Обстоятельства очень этому способствовали, так как осенью того же года российская императорская чета должна была прибыть во Францию, ибо у царя было желание лично познакомиться с французскими военными сухопутными и морскими силами. Царская чета прибыла во Францию, проживала в замке Компьень и там, по инициативе Милицы Николаевны, 20 сентября 1901 года состоялась встреча Государя с Филиппом.

О появлении Филиппа в Компьень имеются сведения в дневнике Мориса Палеолога, которые он приводит со слов Миласевича-Мануйлова, на которого были возложены обязанности ввести лионского целителя в замок, где имел местопребывание русский царь. Вот что пишет бывший французский посол в России³:

«Встреча произошла в сентябре 1901 г. во время путешествия русских царя и царицы во Францию. Мануйлов тогда служил в Охранном Отделении, в миссии в Париже, под начальством знаменитого Рачковского. Вел. Кн. Милица известила Филиппа, что царь и царица будут рады поговорить с ним в Компьене. Он прибыл туда 20-го сентября. Мануйлов был уполномочен его принять при входе во дворец и предварительно поговорить с ним перед тем как провести его в царские комнаты. «Я увидел как вошел — рассказывал он мне, — толстый человек с большими усами, одетый в черное, скромного и серьезного вида, похожий на учителя в воскресный день, его костюм был очень прост, но удивительно чистый. В этом человеке не было ничего примечательного кроме его голубых глаз, полузакрытых тяжелыми веками, но которые иногда вспыхивали и светились странной мягкостью. У него на шее был небольшой треугольный платок из черного шелка. Я его спросил, что это такое? Он таинственно извинился, сказав, что не может на это ответить. Позднее, я всегда видел этот амулет на его груди. Однажды вечером, когда я был один с ним в вагоне и он заснул, я попробовал снять с него этот талисман, чтобы

³ M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. Paris. 1923. v. I p. 218.

посмотреть что там внутри, но как только я до него дотронулся, он вскочил, проснувшись...».

Подробностей о компьенском свидании не сохранилось никаких. Неизвестно даже, сколько раз Филипп видел царя и царицу. Рассказ Мануйлова дает основание предполагать, что встреча 20 сентября не была единственной. Но несомненно одно, что беседа была очень продолжительной, что лионский целитель произвел сильное впечатление на царя и царицу и что он получил приглашение приехать в Россию с обещанием, что будет принят при дворе. Несомненно и другое, что речь шла и о «нелегальности» целительной деятельности Филиппа. Во всяком случае его царственные собеседники выразили готовность помочь ему в легализации его положения, как доктора во Франции. Курьезно отметить, что благожелательное вмешательство русских высоких гостей во Франции в пользу нового знакомого, ставшего вскоре «посланным им Богом другом», чуть-чуть не получило характера дипломатического инцидента, который мог оказаться на судьбе министра иностранных дел Делькассе.

Вот что рассказывает об этом «происшествии» Абель Комбарье, один из ближайших сотрудников президента Лубе. В его дневнике имеется такая запись от 1 ноября 1901 года⁴:

«Сегодня утром Делькассе беседовал с президентом по делу Филиппа. Этот печальный персонаж является французским врачом или называющим себя таковым, занимающим должность при дворе императора Николая. У него нет никакого другого патента на занятия медициной, кроме какого-то американского диплома. Посему он хотел бы, чтобы этот патент, не имеющий ценности, был превращен во французский диплом. Законы и регламенты сему препятствуют. Г. Лейг и Г. Лиар, запрошенные по этому поводу, нашли претензию незаконной и невыполнимой. Делькассе настаивает по причинам, которые он не хотел бы сообщать даже своему коллеге Лейгу. Дело в том, что в Компьене русский император с настойчивостью просил его оказать эту льготу Филиппу, и Делькассе, так сказать, ему это обещал. Как может быть, что Николай II проявляет такой интерес к этому псевдо-врачу, который в действительности является грубым магнетизером и шарлатаном? Мы уже знаем, что император провел с ним с глазу на

⁴ Abel Combarien. Sept ans à l'Elysée avec le Président Emile Loubet. Paris. Hachette. 1931. p. 167.

глаз добрую часть того вечера, которую программа празднеств оставила свободной. Президент мог бы запросить сведения у префекта Роны, так как этот Филипп осуществлял свою деятельность в Лионе и, может быть, там еще имеется его квартира. Г. Алапетит, ловкий и осторожный, мог бы предложить пристойное решение по этому делу, которое является деликатным только потому, что ему придает значение русский император и, как говорят, самые близкие члены его семьи».

Под 3 декабря того же года имеется новая запись⁵:

«Император Николай только что назначил этого магнетизера действительным статским советником и врачом русской армии с чином генерала. Великий князь Петр посетил президента и настойчиво напомнил ему просьбу императора. Но нет способа обойти французское законодательство, которое требует по крайней мере трех экзаменов, чтобы получить степень доктора даже для тех, кто имеет иностранный диплом, даже самый достойный уважения...».

Приведенное свидетельство указывает о «сопричислении» Филиппа к российскому двору еще в Компьене. Устанавливает оно и то, что сам Государь говорил по этому поводу с министром иностранных дел Франции. Существует, правда, другая версия, в силу которой беседы происходили между императрицей и председателем совета министров Вальдек Руссо. Но о вмешательстве последнего в дело Филиппа ничего неизвестно и видимо, как это и естественно, переговоры проходили только через министерство иностранных дел.

Переговоры, которые вел Делькассе о легализовании целительской деятельности Филиппа во Франции, дошли тогда и до Петербурга, в «изустной передаче», и получили там характер какой-то легенды. Курьеза ради можно привести те слухи, которые ходили по Петербургу и которые нашли отражение в некоторых мемуарах. Так, напр., Витте пишет по этому поводу: «Когда одна из черногорок была в Париже, она потребовала к себе заведывавшего там нашей тайной полицией Рачковского и выразила ему желание, чтобы Филиппу разрешили практиковать и дали ему медицинский диплом. Конечно, Рачковский объяснил этой черномазой принцессе всю наивность ее вожделений, причем недостаточно почтительно выразился об этом шарлатане. С тех пор он нажил в ней опасного при дворе врача...».

⁵ Стр. 172, там же.

Версия А. А. Половцева еще более красочна: «...Рачковскому было поручено добиться от президента дарования Филиппу патента на звание доктора медицины. Лубе созвал совет министров и объявил ему о своем желании угодить русскому императору. Министры, и в особенности министр народного просвещения, коего это предложение касалось, заявили о полной невозможности исполнить таковое требование, предвидя, в случае такого исполнения, парламентские запросы и вероятное падение министерства. По доставлении такого отказа Рачковский получил приказание просить о допущении Филиппа к докторскому экзамену с рекомендацией снисходительности. На это министр народного просвещения согласился, но когда этот ответ был передан черногорским покровительницам авантюриста, то Стана объявила, что предложение это будет принято только в том случае, если экзамен будет произведен в ее комнате. На этом дело и остановилось...».

К изложенному, как говорится, комментарии излишни.

4. Филипп в России

О пребывании Филиппа в России существует также немало легенд и сведения, сообщенные авторами его жизнеописаний, весьма противоречивы. Существуют разногласия по поводу того, сколько раз был он на нашей родине и когда была первая его поездка. Наиболее достоверным свидетельством являются воспоминания Марии Лаланд, которая, как уже говорилось, принадлежала к его семье и была русского происхождения. Поездки наставника и учителя на ее родину весьма ее интересовали.

Филипп был в России два раза: поздней осенью 1901 года, т. е. вскоре после компьенского свидания и осенью 1902 года. В первый раз он пробыл в Петербурге около двух месяцев. Во время второй поездки он был не только в столице, но и в Крыму, где проживал в Дюльбер, имении Вел. Кн. Петра Николаевича. В конце ноября он был принужден покинуть пределы России и уже более туда не возвращался.

Пребывание в России лионского целителя было окутано покровом густой тайны, в газетах его имя не упоминалось, и широкая публика совершенно не подозревала о его существовании и о том, что он является гостем царской семьи. Даже близкие ко Двору и к правительству лица знали о нем «по наслышке» и не могли отдать себе ясного отчета в том, что собственно происходит в Царском Селе. Между тем в отношении

его были совершены некоторые акты, которые должны были стать известны сравнительно широкому кругу лиц. Военно-Медицинская Академия по приказу Государя, переданному через военного министра Куропаткина, присудила ему звание доктора медицины. Одновременно он был «награжден» чином действительного статского советника и был назначен инспектором по военно-санитарной части. Но обо всем этом нельзя было писать и самые приказы о назначении были неопубликованы.

В чем именно состояла «миссия» Филиппа при русском императорском дворе? По этому вопросу даже между французскими мартинистами, во главе которых стоял Папюс, нет единодушия. Jean Bricaud⁶ считает, что лyonский целитель занимался при дворе в присутствии императорской семьи всякого рода герметическими и оккультистскими действиями: магнетизмом, спиритизмом, гипнотизмом, некроманией, заклинанием, вызовом духов и т. д. Он приучил императрицу заниматься трансцендентальным спиритизмом, и она ничего не предпринимала, не запросив духов. Этого же мнения держится и Палеолог в его книжке, посвященной Александре Федоровне. Совершенно иначе свидетельствует об этом Папюс. Говоря о своем друге в интервью газеты «Eclair» в 1902 году, Папюс отрицает какие-либо занятия Филиппа в Царском Селе спиритизмом, оккультизмом, черной магией и пр. Истина о «миссии» Филиппа, как это часто бывает, находится посередине, но ближе к Bricaud чем к Папюсу. Чтобы понять, что именно привело скромного лyonского целителя в число ближайших друзей русской царственной четы, да еще как друга, «посланного ей Богом», надо вспомнить о следующем.

В царской семье уже было четыре дочери, но не было наследника. У всех, кто помнит ту эпоху, о которой идет речь, несомненно сохранилось в памяти, как ожидала общественная — не революционная — Россия того времени появления сына у императорской четы. Больше всех хотела иметь наследника, конечно, сама императрица; каждой матери обычно хочется иметь сына, но императрица, кроме того, знала, что ее популярность, в России не очень большая, сойдет на нет, если она не сможет дать русскому царю наследника его престола.

⁶ Jean Bricaud-Joanny, Johannes II, был после Папюса и Гебера Великим Мастером Ордена Мартинистов во Франции, кроме того он был Патриархом Гностической Церкви.

Ее легко было убедить, что лионский целитель, который творил чудеса, сумеет сделать так, — молитвой или магическими действиями, — что она вновь станет матерью и на сей раз на свет Божий явится сын, наследник русской императорской короны. Нет сомнений, что сам Филипп при первых беседах не разуверял императрицу и не говорил ей о невозможности выполнения ее пожеланий. Он верил в то, что он обладает чудодейственной силой и считал, что не обманет ожиданий Александры Федоровны.

Вот почему его приезд в Россию был обставлен такой таинственностью. В первое свое пребывание в России, куда он приехал со своей дочерью и ее мужем д-ром Лаландом, он жил в Царском Селе, недалеко от дворца, в маленьком домике, который был ему отведен. Был он в ведении дворцового коменданта генерала Гессе. Круг лиц, с которыми Филипп имел общение, был весьма ограничен. Он бывал два-три раза в неделю во дворце, часто виделся с двумя Великими Князьями Николаем и Петром Nikolaevichами и с двумя «черногорками». В бумагах доктора Лаланда сохранилось меню обеда, который был в Знаменке 9 ноября 1901 года. Из плана размещения присутствующих за столом видно, каким почетом пользовался лионский кудесник.

Занятия Филиппа в Царскосельском дворце вовсе не были так невинны, как это хочет изобразить Папюс. Великий Мастер французского мартинизма не говорит в упомянутом выше интервью, что за год перед поездкой Филиппа он сам был в Петербурге, делал конференцию по вопросам оккультизма и герметических знаний, дал толчок развитию мартинизма в Петербурге и в России вообще. Это он ввел в обиход жизни царской семьи и занятия магнетизмом, и столоверчением, и интерес к мартинистскому масонству. Когда появился в Царском Селе Филипп, увлечение оккультизмом и спиритизмом уже пустило глубокие корни. В царском окружении была и мартинистская масонская ложа под «отличительным титулом» Крест и Звезда.

Подтверждением того, что в общении Филиппа с царской семьей мартинизм занимал далеко не последнее место, может служить стремление, проявленное французскими мартинистами использовать близость Филиппа к царю для достижения чисто политических целей. Описывая роль Филиппа в Царском Селе, Bicaud утверждает, что царь советывался с Филиппом по разным вопросам государственного управления, и лионский

кудесник зачастую присутствовал на заседаниях совета министров, происходивших под председательством самого царя. Филипп будто бы оказывал на русского монарха самое благодетельное влияние и, в частности, по его инициативе царь выступил с предложением о Гаагской конференции мира⁷. Всё это происходило в рамках насаждения мартинизма. И патриарх гностической церкви очень оторчен тем, что французское правительство того времени не использовало этих богатых возможностей.

Но в то время как французское правительство, относясь с некоторым презрением к лионскому кудеснику, недоумевало, почему царскосельский двор принимает его всерьез, и отнюдь не собиралось утверждать французское влияние в России путем «оккультистского» столоверчения или магнетизма, — у мартинистов это пожелание было единодушным. Об упущенных для Франции возможностях будут говорить и Папюс, и Виктор-Эмиль Мишле, и Филипп Энкосс, осуждая косность и недальновидность французских властей того времени. В своей недавно вышедшей в 1937 г. книге, посвященной истории герметического движения в конце XIX века, Мишле пишет:

«Последний русский царь был... посвящен в мартинизм. Никто не знает, что это было одним из оснований его верности союзу с Францией, несмотря на давления, чтобы этот союз порвать... Французские правители оказались неспособными использовать такое преимущество. Хотя многие из них были членами Лож, но из соображений предвыборного характера, и назывались масонами только по имени...».

В кругах французского мистического масонства было несомненно желание использовать мартинистское масонство для влияния на русские дела. Это были попытки с негодными средствами, но некоторый отклик они всё-таки в Царском Селе имели.

Как уже указывалось, в русском обществе о деятельности Филиппа в Царском Селе было известно очень мало. Дело было так «законспирировано», что первоначально даже слухов было мало. Они поползли — очень быстро — в 1902 году, в связи с мнимой беременностью императрицы. Только

⁷ Все это конечно чистейшая выдумка. В частности, вопрос о созыве Гаагской конференции был поднят за два года до появления Филиппа в России.

тогда и узнали, что в окружении царской семьи имеется лионский целитель; впечатление было большой неожиданности и крупного скандала.

Вот что пишет в своем дневнике А. А. Половцев: «Август 30, пятница (1902 г.). Государь по интригам двух черногорок (Милицы и Станы) попал в руки подозрительного авантюриста, француза Филиппа, которому мы, не говоря о всяких других его проделках, обязаны постыдными приключениями императорских лже-родов. Путем гипнотизирования Филипп уверил ее, что она беременна. Поддаваясь таким уверениям, она отказалась от свиданий со своими врачами, а в середине августа призывала лейб-акушера Отто, чтобы посоветоваться о том, что она внезапно стала худеть. Он тотчас же заявил ей, что она ничуть не беременна. Объявление об этом было сделано в Правительственном Вестнике весьма бесполково, так что во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как, например, что императрица родила урода с рогами, которого пришлось придушить...».

Вопрос о влиянии Филиппа на императорскую чету очень беспокоил автора дневника. Вот что записывает Половцев под датой 1 сентября:

«Заезжал к Витте, застал его весьма мрачным и меланхоличным. Ведение дел и положение лиц, дела ведущих, особенно министра финансов, делается всё более затруднительным. Главная причина — опять таки всё более и более резко выдающееся настроение государя, настроение, главным образом внущенное черногорками и их протеже Филиппом. Этот, по оценке своих покровительниц, святой человек внушает государю, что ему не нужны иные советники, как представители высших духовных сил, с коими Филипп ставит его в сношение. Отсюда нетерпимость какого-бы то ни было противоречия и полный абсолютизм, выражающийся подчас абсурдом. Если на докладе министр отстаивает свое мнение и не соглашается с мнением государя, то через несколько дней получает записку с категорическим приказанием исполнить то, что ему было сказано...».

Примерно так же расценивает лионского целителя в своих воспоминаниях и граф Витте. Но его мемуары написаны не в виде дневника или записи событий, происходивших под свежим впечатлением, а как оценка и характеристика «давно минувших дней». Он говорит о Филиппе главным образом в связи с деятельностью «черногорок». Витте очень не любил обеих

дочерей черногорского князя Николая, ставших русскими Великими Княгинями. Он называл их «черномазыми принцесами» и, говоря о том, что именно они ввели в царское окружение лионского кудесника, приходит к выводу: «Ох, уж эти черногорки, натворили они бед России...».

В оценке Филиппа, как «шарлатана и авантюриста», сходились самые разнообразные круги русского общества. Вот что писал о нем Струве в «Освобождении» (№ 8, 2/15, октября 1902 г.): — «В петербургских кружках, близких ко дворцу, много говорят про настроения Государя. С весны нынешнего года на него имеет большое влияние некий г. Филипп, гипнотизер и оккультист-спирит. Это какой-то неизвестного происхождения выходец из Марселя, а по другим сведениям, черногорец или чех. Через Великого Князя Николая Николаевича с этой личностью познакомили Государя. Без г. Филиппа, говорят, не принимается никаких решений, г. Филипп дает советы по важным вопросам как семейной, так и государственной жизни. Он вызывает тень покойного императора Александра III, внушающего те или иные решения. Влияние Филиппа неоспоримый факт и неудивительно, что близкие ко двору люди в большом смущении...».

Струве писал на основании слухов и частных сведений, но и ему, как и петербургским сановникам, было ясно, что в Царском Селе начинает твориться что-то неладное. Нет ничего удивительного, что вскоре после первого появления Филиппа в Царском Селе делались попытки «открыть государю глаза» и повлиять на него в целях высылки Филиппа из России. Дворцовый комендант генерал Гессе, в ведении которого Филипп находился, предложил начальнику тайной русской полиции во Франции Рачковскому собрать о нем сведения и представить соответствующий доклад. Рачковский, имеющий огромные связи во французском министерстве внутренних дел и, в частности, в полиции, без труда получил эти сведения. За Филиппом полиция следила уже давно и сведения о нем у французских властей были мало благоприятны. Они вошли в доклад Рачковского, который рисовал Филиппа с мало привлекательной стороны. Между прочим, там указывалось, что он не имеет права заниматься медициной и играет на бирже. Рачковский привез лично свой доклад в Петербург и представил его министру внутренних дел Сипягину. Последний отказался его принять, говоря, что он не давал Рачковскому никакого поручения на этот счет. Доклад был представлен ге-

нералу Гессе, который вручил его Государю. Царь был очень недоволен и показал его Филиппу. Последнему ничего другого не оставалось, как заявить, что если Государь придает веру докладу, то он немедленно вернется во Францию. Но Государь сказал, что считает доклад злыми измышлениями, и бросил его в камин. На этом дело закончилось, а Рачковский и отчасти генерал Гессе впали в немилость. Есть данные, что Рачковский писал императрице Марии Федоровне.

Были и другие попытки добиться удаления Филиппа. Половцев передает со слов Вел. Кн. Владимира Александровича бывший у него разговор с его двоюродным братом: «Во время маневров они ехали вдвоем в коляске и Владимир Александрович сказал Николаю Николаевичу, что считает его преступником в этом деле, что проделки Филиппа навлекли на императорскую чету всеобщие насмешки и поругание... Николай Николаевич ответил, что, если он преступник, то готов нести голову на плаху, но что настанет время, когда все убедятся, что он не мог поступить иначе».

В том же дневнике есть свидетельство, что императрица Мария Федоровна говорила про это дело «*c'est un crime*⁸», а Вел. Кн. Алексей Александрович выражался еще энергичней. Однако все эти неудовольствия царского семейства не производили впечатления на Государя. Царственной чете пришлось расстаться со своим другом только тогда, когда скандал с мнимой беременностью императрицы стал достоянием более или менее широких кругов Петербурга. В газетах об этом, конечно, не писали, но изустная передача заменяла отсутствие газетных сведений. О лионском целителе говорили все — и никто, кроме небольшой группы мартинистов, не хотел сказать о нем доброго слова. Такое же отношение было и в царской семье, кроме «черногорок» и их мужей, и Государю в конце концов пришлось уступить. Есть, впрочем, сведения, что и сам Филипп совершил какую-то неосторожность, вмешавшись в семейные дела царствующего дома, что очень не понравилось Государю. А Струве указывает, как на причину высылки, на сведения о спиритическом сеансе, где Александр III устами Филиппа посоветовал отдать концессии на городские железные дороги некоему Галинскому, что даже в Ливадии показалось «слишком большим чудом».

Во всех этих версиях есть известная доля истины, во вся-

⁸ «Это — преступление».

ком случае Филиппу пришлось возвращаться во-свояси. Мартинисты любят говорить, что не было официального приказа о высылке. Его и быть не могло, так как Филипп приехал в Россию «по высочайшему приглашению». По высочайшему же повелению ему пришлось и покинуть пределы России, что в сущности равняется высылке.

Перед своим отъездом Филипп вновь предсказал императрице, что она будет иметь сына. Г-жа Лаланд, не раз уже цитированная, дает по этому поводу следующие любопытные подробности (стр. 62):

«Я видела г-жу О. Мусину-Пушкину несколько раз после этого и она мне рассказала что едучи в карете императора и императрицы мсье Филипп обещал императрице сына и на этот раз не он, а царица поцеловала руку Учителя. У Ольги Мусиной-Пушкиной были на глазах слезы. Это обещание впоследствие исполнилось...».

Возможно, что это сбывшееся пророчество заставило императрицу чтить до конца своих дней память о Филиппе.

Лионский целитель, уезжая на родину, увозил множество подарков. Он вез с собой и диплом доктора медицины и генеральский мундир военно-санитарного ведомства и роскошный автомобиль, подаренный ему царственной четой.

6. Конец Филиппа

Вернувшись на родину, к себе в Лион, Филипп возобновил прием больных и магнетические и гипнотические сеансы. Недостатка в клиентах не было и среди своих почитателей он имел прежний успех. Но в нем самом произошла какая-то перемена, он стал не тот, каким был прежде. Неудача при русском дворе сильно на нем сказалась, характер его изменился, он стал раздражительным. На него тягостно действовала постоянная за ним слежка, он не мог шагу ступить без того, чтобы не натолкнуться на полицейских агентов и его почта приходила к нему в распечатанном виде. И он, и его друзья приписывали эту полицейскую опеку интригам Рачковского, который будто бы преследовал его своей ненавистью. В основе этого мнения была какая-то доля истины, так как Филипп обратился за протекцией к Вел. Кн. Николаю Николаевичу. Вмешательство последнего оказалось действительным, и травля со стороны Рачковского прекратилась. «Самая глубокая благодарность от всего сердца за то, что прекратились действия этого презренного человека, — так благодарили Филиппа своего

высокого покровителя, — благодаря Вам я могу свободно выходить из моего дома...».

Но последствия поездки Филиппа в Россию были таковы, что он невольно стал объектом административного наблюдения. У него началась оживленнейшая переписка с Россией, причем его корреспондентами были самые высокопоставленные лица. Каждый день — это сообщал он сам — почта приносила ему горячие просьбы или больных из княжеских семейств, или сановников, находившихся в опасности. Эти письма проходили через своего рода цензуру префектуры Департамента Ронь. Некоторые письма из Царского Села приходили шифрованными, их в префектуре расшифровывали; даже царские письма приходили распечатанными; с писем снимались копии. Словом, административным властям Департамента Ронь хлопот была масса.

Весь остаток своих дней, после возвращения из России, Филипп оставался под административным надзором. В отличие от русских правительственные кругов в Париже у него не было «высоких покровителей» и хлопотать за него было некому. А постоянно вскрываемые письма давали материал для всякого рода подозрений. Ему очень повредило, что у него началась переписка с германским императором, и последний приглашал его приехать в Берлин. Появились опасения, не агент ли он иностранной державы, может быть даже двойной агент? Возникла даже мысль об его аресте, чего он очень опасался. Но с этой стороны всё обошлось для него благополучно, хотя «слежка» за ним всё-таки велась. Началась против него и газетная кампания.

Филипп чрезвычайно болезненно переживал и полицейский надзор и газетную травлю. Здоровье его изменилось к худшему. От припадков сильной раздражительности он переходил к полной прострации и обратно. В ноябре 1904 года ему пришлось пережить тяжелую драму: скончалась после очень короткой болезни его любимая и единственная дочь г-жа Лаланд. Он, исцеливший стольких тяжелых и безнадежных больных, ничего не мог сделать для нее. Его ученики говорили, что «оккультические законы» не позволяли ему лечить свою собственную дочь. Он отошел совсем от целительства. Передал больных своему помощнику и уехал в имение своей жены, где вскоре — 2 августа 1905 года — умер. Похоронен он в местечке Лояс и могила его до сей поры является местом паломничества его почитателей.



В русской истории имя Филиппа навсегда останется связанным с именем Распутина. Его нельзя не рассматривать иначе, как предшественника сибирского старца. Что это было так, сомнений быть не может: достаточно перечитать переписку императора и императрицы, где он не раз упоминается в письмах Александры Федоровны, правда, далеко не так часто, как Распутин⁹; и обычно оба имени упоминаются вместе. Вот выдержки из этих писем:

№ 313. Царское Село. 10 июня 1915 г. (III. 199).

«В такое время, как теперь, необходимо, чтобы послышался твой голос, звучщий протестом и упреком, раз они (министры) не исполняют твоих приказаний или медлят их исполнением. Они должны поучиться дрожать перед Тобой. Помнишь, т. Ph. и Гр. говорили то же самое».

№ 318, Царское Село. 14 июля 1915 (III 213).

«Мы сегодня пошли к А. окольным путем. Он был с нами у нее от 10 до 11½. Посылаю тебе Его палку (рыба, держащая птицу), которую Ему прислали с Нов. Афона, чтобы передать тебе. Он употреблял ее, а теперь посыает тебе, как благословение — если можешь, то употребляй ее иногда, мне так приятно, что она будет в твоем купэ, рядом с палкой, которой касался т-р Philippe. Он много и прекрасно говорил, что такое русский император».

№ 320. Царское Село. 16 июня 1915 (III 220).

«Наш первый друг дал мне икону с колокольчиком, который предостерегает меня о злых людях и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом могу и тебя оберегать от них. Даже твоя семья чувствует это и поэтому они стараются подойти к тебе, когда ты один, когда знают, что что-нибудь не так и я не одобряю. Это не по моей воле, а Бог желает, чтобы твоя бедная жена была твоей помощницей. Гр. всегда это говорил, т-р Ph. — тоже».

№ 346. Царское Село. 6 сентября 1915 (III 312).

«Скоро праздник Пречистой Девы — 8-го числа. Это мой день — помнишь, т-р Philipp'a — и Она нам поможет».

№ 464. 17 марта 1916 (IV. 159).

«Ради Бэби мы должны быть твердыми, иначе его наследие

⁹ В переписке Николая II и Александры Федоровны (1914-1917 гг.) имя Филиппа упоминается 7 раз, а имя Распутина 381.

будет ужасным, а он с его характером не будет подчиняться другим, но будет сам господином, как и должно быть в России, пока народ еще так не образован, и Филипп и Гр. того же мнения».

Выдержка из письма от 8 апреля 1916 г. приведена в начале нашего изложения.

№ 640. Царское Село. 14 декабря 1916 (V. 190).

«Глупец тот, кто хочет ответственного министерства, писал Георгий¹⁰. Вспомни, даже т-р Филипп сказал, что нельзя давать конституцию, так как это будет гибелью России и твоей, и все истинно русские говорят это».

**

Мы уже видели, что русские современники лионского целителя единодушно давали его личности крайне отрицательную оценку. И Витте, и Половцев, и Родзянко, и Гессен, и Мосолов, и Кизеветтер — все рассматривают его, как «авантюриста» и «шарлатана», и все считали его влияние при дворе вредным и опасным для России. Но только после опубликования переписки царя и царицы стало ясно, какого рода советы он давал царской семье и насколько его влияние по своему характеру было близко к влиянию сибирского старца.

В этом и заключается главный интерес личности и деятельности Филиппа для русского исследователя.

Пав. Бурышкин

ОТ РЕДАКЦИИ. Настоящая статья была получена от П. А. Бурышкина незадолго до его смерти. Автор статьи был известным общественным деятелем, как в России, так и в эмиграции. Его книга «Москва купеческая» недавно вышла в издательстве имени Чехова.

¹⁰ Вел. кн. Георгий Михайлович.

РАННИЕ ГОДЫ ЛЕНИНА*

БРАТ ЛЕНИНА — А. УЛЬЯНОВ

Брат Ленина — Александр, Саша как его звали в семье, окончив гимназию с золотой медалью, осенью 1883 г. поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Еще в гимназии он погрузился в самое серьезное изучение естественных наук, в частности, зоологии. При его огромных способностях, влюбленности в науку, трудолюбии, знании трех языков, позволявших ему следить за иностранной литературой, всё говорило за то, что этот выдающийся молодой человек мог стать крупным ученым. В возрасте 19 лет, во время летних каникул в Кокушкине, он написал солидную работу об «органах сегментарных и половых пресноводных annulata (кольчатых червей)». Его отец, скоропостижно умерший в январе 1886 г., не дожил двадцати пяти дней, чтобы узнать, что Саша, на которого, именно как на будущего ученого, он возлагал большие надежды, будет за эту работу награжден золотой медалью Советом Петербургского Университета.

Ни в 1883, ни в 1884 г., ни в 1885 г., Александр не принимал участия в студенческих политических кружках. Он относился к ним даже отрицательно. — «Болтают много, а учатся мало. В революционные организации не вступаю потому, что не решил многих вопросов касающихся лично меня и, что еще важнее, вопросов социальных. Больно уж сложны социальные явления. Ведь если естественные науки только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда становятся науками, то что же представляют собою социальные науки? Я предполагаю, конечно, научное решение. Иное не имеет никакого значения. Смешно, более того, безнравственно, профану в медицине лечить больных, еще более смешно и *безнравственно* лечить социальные беды, не понимая их причин».

Ясного, а тем более научного решения социальных про-

* См. кн. 36, 37 и 39 «Нов. Журн.».

блем не имел в это время не один только Александр Ульянов. Всё, что было так ясно еще совсем недавно, теперь раздиралось противоречиями, сомнениями. Прежний лозунг гласил: «иди в народ!». И в семидесятые годы сотни молодежи, среди которой преобладали дети дворян, двинулись в народ. «Движение это, — как писал Кравчинский, — едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения. Тип пропагандиста 70-х годов принадлежал к тем, которые выдвигаются скорее религиозным, чем революционным движением. Социализм был его верою, народ его божеством». На хождение интеллигенции в народ правительство ответило арестами, тюрьмами, ссылками в Сибирь. И тогда встал вопрос — как отвечать на репрессии правительства и возможна ли какая-либо деятельность среди народа — пока существует деспотическое правительство?

Но велико было смятение в народнических, революционных кругах, когда беспощадную критику их идеологического святая святых они услышали от своих же, от тех, которые еще вчера разделяли их взгляды. Эту критику повела в начале 80-х годов группа эмигрантов, возглавленная Плехановым, сменившая народничество на марксизм. Написанные в 1883 и 1884 г.г. произведения Плеханова «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» колебали основные взгляды народнической идеологии.

Товарищ Александра Ульянова — Говорухин, — вспоминая это время, говорил, что «Наши разногласия» Плеханова произвели громадное впечатление на радикальную молодежь. «Их читали и перечитывали, читали в кружках и в одиночку. Явились ярые сторонники социал-демократизма и ярые противники его». Однако, большинство, в растерянности, не могло дать себе твердого ответа — верны ли взгляды Плеханова? Для Александра Ульянова все эти вопросы были совершенно новы. Впервые он с ними столкнулся, приехав в Петербург. В гимназии, увлекаясь Писаревым, и в этом отношении крепко поддерживаемый отцом, он твердо усвоил его девиз: «в человечестве главное зло — невежество и против этого зла — только одно лекарство — наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми

бочками». Саша своим товарищам всё время говорил, что не будет участвовать в революционном движении, пока для себя научно не решит выдвигаемые этим движением проблемы. До сих пор одной из любимейших им книг была «Что делать» Чернышевского. Она дала ему представление о справедливом общественном социалистическом строе, способствовать появлению которого, по глубоко вкоренившемуся в него убеждению, — «долг» каждого морально развитого человека. Из вставшей перед ним сложности социально-экономических проблем — вытекало ясно, что одной этой книгой они не решаются. Лекарство — науку, нужно принимать не гомеопатическими дозами, нужно обширное знание. Проштудировав «Наши разногласия» Плеханова, он принимается за «Капитал» Маркса, читает всякие курсы политической экономии, достает книги по социальным вопросам на немецком и французском языках.

Январь 1886 г. принес Саше Ульянову огромное горе: 12-го числа скоропостижно умер отец. Вследствие медлительности транспорта того времени, Саше не удалось быть на похоронах отца. Эту смерть он переживал столь мучительно, впадал в такую безутешную тоску и грусть, что его сестра Анна, бывшая в это время студенткой женских курсов в Петербурге, опасалась как бы он не кончил самоубийством. Горе свое Саша хотел подавить усиленным умственным трудом. Работая в университете, подготовляя магистерскую диссертацию, он, кроме того, с головою уходит в изучение социальных и политических вопросов. К этому времени — т. е. к началу 1886 г. — относится его сближение с тремя студентами — Лукашевичем, Говорухиным, Шевыревым. Первый считал себя марксистом. На допросах, после ареста, он показал, что «труды Маркса, Энгельса, Лассаля, Плеханова указали ему путь кисканию истины». Но в отличие от Плеханова, Лукашевич придавал громадное значение террористической борьбе «Народной Воли» и убежденно отстаивал «существование террора, как роковую необходимость, как стихийное явление, до тех пор, пока будут в полном разладе политика правительства и убеждение передовой части русской интеллигенции». Приблизительно тех же воззрений, соединения, вероятно, примитивного марксизма с терроризмом, придерживался и Говорухин. Что касается третьего студента, с которым сближается Ульянов — Шевырева, для него вопросы теории и доктрины не имели значения. С ранних лет, еще с гимназической скамьи, он проникнут чувством ненависти к самодержавному строю.

Этого ему достаточно. Терроризм у него в крови. Неутомимый и ловкий организатор, он стремится в университете создать тайные кружки. В кружках он хочет вербовать подходящий элемент для настоящего дела, а это, по его мнению, только террор.

Тройка, встречаясь с Ульяновым, часто указывала ему, что его отказ от вступления в революционное движение, пока «научно» не решен весь цикл социально-экономических проблем, не может почитаться обоснованным. Они говорили, что фактически это является примирением с действительностью. Лукашевич, Говорухин, Шевырев хотели переубедить Сашу, понимая, что его помочь революционному движению была бы очень ценной, что их двадцатилетний товарищ — большая сила и личность недюжинная. У него дар быстро, литературно писать и излагать свои мысли, знание иностранных языков, блестящие научные способности, признанные самим Советом Университета. У него знание химии и оно, как увидим, будет утилизировано. Кроме того, он превосходный товарищ, на которого всегда, без колебаний, можно положиться. «В отношении к товарищам, характеризовал его Говорухин, он был редкий человек. Он равно уважал и собственное достоинство, и достоинство других. Это была натура нравственно-деликатная. Он избегал всяких резкостей, да был к ним и неспособен. Никогда я не видел его беззаботно веселым, вечно он был задумчив и грустен. Он любил театр, понимал поэзию, особенно любил музыку и когда слушал ее, становился еще грустнее и задумчивее».

Убеждаясь, что его уклонение от революционной деятельности до момента, когда все вопросы получат окончательное «научное» решение, может быть истолковано как трусость и осуждено с моральной точки зрения, Ульянов от своего отказа отошел. Однако, он хотел быть осторожным, чтобы не подвергнуться за какие-нибудь пустяки высылке в Симбирск, город «оцепенелого покоя и застоя».

«Это ужасная перспектива, — говорил он, — жить, например, в Симбирске, там можно совсем отупеть, ни книг, ни людей».

Осенью, в ноябре 1886 г. он вступил в кружок радикальной части студенчества высших учебных заведений Петербурга. У кружка были большие планы: организовать студентов по всей России, выработать программу и каталоги для систематического чтения, распространить повсюду кружки самообразования.

зования, обмениваться рефератами, обосновать программу революционных требований, издавать подпольную газету и, конечно, при каждом подходящем случае оказывать демонстрациями давление на правительство. 19 февраля 1886 г. кружок (до вхождения в него Ульянова) организовал манифестацию по случаю 25-летия освобождения крестьян от крепостного права. «Полиция прозевала демонстрацию и всё обошлось благополучно». 17 ноября того же года, в 25-летнюю годовщину смерти Добролюбова, тот же студенческий кружок хотел повторить демонстрацию. На этот раз она не удалась; в городе произошли обыски и аресты, несколько десятков студентов высланы из Петербурга. Резко критикуя правительство, кружок выпустил на гектографе прокламацию. В ее составлении и распространении, вместе с Шевыревым, Говорухиным и Лукашевичем, самое большое участие принял А. Ульянов.

С этого времени, он всё более и более прислушивается к террористическим призывам Шевырева. Когда правительство, говорил Шевырев, берет за горло уже наших близких товарищей, уклонение от борьбы с деспотизмом особенно неблагородно, а при нынешних условиях действительной борьбой с царизмом может быть только террор. Болезненно чуткий к указаниям на безнравственность, А. Ульянов, после мучительных колебаний, начинает разделять эти взгляды и, раз на то пошло, делается уже сторонником не случайного, а, как он заявляет, систематического террора, устрашающего, способного сотрясти самодержавие. Инспирируемая главным образом Шевыревым террористическая организация, ставшая ближайшей целью убийство Александра III, складывается с конца 1886 г. и быстро вырастает. А. Ульянов, конечно, не может сказать, что к этому времени все вопросы у него «научно» решены, но уже не знание руководит им, а загоревшееся, охватившее его, чувство «долга» перед страной, ради освобождения которой он готов немедленно принести себя в жертву.

В качестве метальщиков бомб в организацию вступили студенты Андреюшкин, Осипанов, Генералов, в качестве разведчиков, наблюдавших за передвижениями и выездами царя, были привлечены студенты Канчер и Горкун. Другие лица косвенно, разными способами, оказывали помощь опасному предприятию, предоставляя заговорщикам квартиру и выполняя их поручения. В январе 1887 г. Лукашевич принялся за фабрикацию бомб, Александр Ульянов за выделку для них нитроглицерина. Он вступил в полосу жизни полной опасности. Он

не живет, а горит. Он участвует в обсуждении всех деталей организации покушения, в подборе и подготовке необходимых для него лиц и средств. Но не отходит и от науки, с присущим ему рвением продолжая много работать над диссертацией об органах зрения червей. Вместе с тем, по ночам он сидит за изучением социальных вопросов. Ему удалось у студента Водовозова достать «Deutsch-Französische Jahrbücher» изданные в 1844 г. под редакцией К. Маркса и Руге с участием Гейне и поэта Гервега. Из этого сборника, писала А. И. Ульянова, Александр за месяц до своего ареста вместе с Говорухиным перенес статью Маркса «о религии». Речь идет о «Введении к критике философии права Гегеля». Перевод этой статьи Говорухин увез заграницу и там в том же 1887 г. она без указания имени переводчиков была напечатана в Женеве с большим предисловием к ней П. Л. Лаврова¹.

По причинам и мотивам, остающимся лично для нас по сей день непонятными, Говорухин, лицо, стоящее в центре заговора, в феврале, недели за две до покушения, уехал заграницу. Там, через два года, т. е. в 1889 г., с его слов записали всё, что он знал о заговоре. Документация эта очень ценна, однако не для записи же ее он предпочел сменить Петербург на безопасное место? Много лет спустя, уже при коммунистической власти, Говорухин в сборнике «Октябрь» (1927 г. книга III и IV) дал дополнительные «Воспоминания о террористической группе А. И. Ульянова». Сопоставленные с воспоминаниями других лиц и твердо известными фактами, они полны таким искажением событий, что никакой уже ценности не имеют. Отвратительно в них и то, что явно приспособляясь к требованиям воцарившейся в то время государственной религии — ленинизма, Говорухин уверяет, что с того момента, как усвоил марксизм, он «стал ленинцем и остался ленинцем и до настоящего времени». Отсюда можно заключить, что он стал марксистом-ленинцем, когда еще Ленин и не окунулся в марксизм. У Говорухина, весьма спешившего выехать из Петербурга, не было денег для поездки заграницу. Из переписки его с А. И. Ульяновой, лишь в 1928 г., стало известно, что нужные средства Говорухин дал все тот же Ульянов, для

¹ Пользуюсь здесь случаем принести большую благодарность С. Г. Пети: зная, что я собираю материалы, имеющие отношение к А. И. Ульянову — она подарила мне его перевод статьи Маркса, издание ставшее библиографической редкостью.

этой цели заложивший в ломбарде за 100 рублей золотую медаль, присужденную ему Советом Университета.

С первого взгляда, еще большее удивление, чем отъезд Говорухина, вызывает то обстоятельство что, не считаясь с возражениями Ульянова, Шевырев, почти накануне дня покушения, тоже уехал из Петербурга, направляясь в Крым. Его отъезд, как потом писал один из товарищей Ульянова — Никонов, «можно назвать бегством с поля сражения, дезертирством». Такое суровое суждение, приняв во внимание, что Шевыреву принадлежала руководящая роль в заговоре, кажется обоснованным и всё же это не совсем так. Шевырев, как увидим, умер мужественно, но он был болен чахоткой в последней стадии. Нервы этого страстного организатора всяких тайных кружков были расшатаны до крайности. Ему повсюду мерещились шпионы. Не трусость, а видимо боязнь стать невольным виновником провала заговора побудила его покинуть Петербург. Так или иначе, но после отъезда Говорухина и Шевырева, главное руководство покушением падает на Лукашевича и Александра Ульянова. Последний на эту роль никак не претендовал. К террору он склонился после долгих колебаний, но принял это решение, став на этот путь, он пошел убежденно, до конца, зная, что его ждет виселица. У этого внешне-хрупкого юноши слово и убеждение не расходились с поступком...

Покушение на царя предполагалось произвести, когда царь поедет из дворца в Исаакиевский или Казанский Собор. С 26-го февраля метальщики бомб и разведчики дежурили на улицах. Первого марта — в годовщину убийства Александра II-го — организация рассчитывала, что ей удастся бросить бомбу. Но вследствие неосторожного письма одного из метальщиков (Андреюшкина), попавшегося жандармам, за ним и некоторыми другими его товарищами началась слежка. В день 1 марта их арестовали на Невском проспекте, хотя охрана совсем не подозревала, что в этот день подготовлялось покушение на царя. Найденные у арестованных бомбы открыли глаза охране и очень скоро она схватила всю организацию. Арестованы были 31 человек, в том числе Анна Ильинична, сестра Александра, не имевшая никакого отношения к заговору и ничего о нем не ведавшая. Александр, оберегая сестру, держал ее вдали от опасности. Привезен был в Петербург и отысканный в Крыму Шевырев.

Узнав от своей племянницы Веретенниковой об аресте

детей, перепуганная Мария Александровна Ульянова спешно приехала из Симбирска. Здесь, узнав о деле, она пришла в ужас: сыну ее явно грозит смертная казнь. В отчаянии, надеясь умолить царя, 28 марта она подала ему прошение. Дадим его с некоторыми сокращениями.

«Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Вашему Величеству, как единственной защите и помощи. Милости, Государь, прошу! Пощады и милости для детей моих. Старший сын, Александр, окончивший гимназию с золотой медалью, получил золотую медаль и в Университете. Дочь моя Анна успешно училась на Петербургских Высших Женских Курсах. И вот, когда оставалось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса учения, у меня вдруг не стало старшего сына и дочери. Оба они заключены по обвинению в прикосновенности к злодейскому делу первого марта. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения. Я видела дочь, говорила с нею. Я слишком хорошо знаю детей своих и из личных свиданий с дочерью убедилась в полной ее невинности. Да, наконец, и Директор Департамента Полиции еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована, так что тогда предполагалось полное освобождение ее. Но затем мне объявили, что для более полного следствия дочь моя не может быть освобождена и отдана мне на поруки.

О сыне я ничего не знаю. Мне объявили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя. О, Государь! Если бы я хоть на один миг могла представить своего сына злодеем, у меня хватило бы мужества отречься от него и благоговейное уважение к Вашему Величеству не позволило бы мне просить за него. Но всё, что я знаю о сыне, не дает мне возможности представить его таким. Сын мой был всегда убежденным, искренним ненавистником терроризма в какой бы то ни было форме. Он был всегда религиозен, глубоко предан интересам семьи и часто писал мне. Он был увлечен наукой до такой степени, что ради кабинетных занятий пренебрегал всякими развлечениями. В университете он был на лучшем счету. Золотая медаль открывала ему дорогу на профессорскую кафедру и нынешний учебный год он усиленно работал в зоологическом кабинете университета, подготовляя магистерскую диссертацию. Зная это, могу ли я представить сына моего злодеем? Я не знаю ни сущности обвинения, ни данных, на которых оно основано. Но сопоставляя самый факт обвинения в тягчайшем государственном преступлении с фактами относительно воззрений моего сына в самом недавнем прошлом, преданности его науке и интересам семьи,

я вижу непримиримую несообразность, представляющуюся чем-то совершенно необъяснимым. Он был всегда слишком религиозен, гуманен и честен, чтобы, будучи в здравом уме, итти на злодейское дело. Он слишком любил сестру, чтобы ее губить. Он слишком был предан семье, чтобы пятнать ее позором, слишком уважал свой дворянский род, чтобы клеймить его.

О, Государь! Умоляю, пощадите детей моих. Возвратите мне детей моих. Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувство, если в его душе закрались преступные замыслы, Государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил. Милости, Государь, прошу милости».

М. А. Ульянова никогда не была оппозиционеркой, тем более революционеркой. Она могла искренно и убежденно писать царю, что ее сын не стоял за террор. Это была правда. До ноября 1886 года он не разделял террористических воззрений. О перемене его воззрений она не могла знать, с момента его отъезда, после летних каникул в Петербург, она его уже не видела. На зимние каникулы — праздники Рождества и Нового Года — он в Симбирск не приезжал. Но вот чего не знала М. А. Ульянова, подавая 28 марта свое прошение. Арестованный 1 марта Саша подвергался допросу 4, 5, 11, 19, 20, 21 марта. И при первом же допросе он ни минуты не скрывал своей принадлежности к фракции террористов и своего замысла убить царя. Впрочем, кроме Шевырева, убежденного сторонника «тактики отрицания», главные участники заговора все встали на тот же путь открытых признаний и для «истории» подробно объясняли по каким политическим причинам они стали террористами².

Александр III, чрезвычайно внимательно следивший за делом, читавший все зарегистрированные допросы арестованных, покушавшихся на его жизнь, прочтя прошение матери Улья-

² Покушению на Александра III посвящена значительная литература: Воспоминания Новорусского в журнале «Былое» 1906 г. № 4; воспоминания Лукашевича, там-же 1907 г. № 1 и 2; А. И. Ульяновой «Дело 1 марта», «Пролетарская Революция» 1927 г. № 1, 2 и 3; Воспоминания Говорухина в «Голосе Минувшего на Чужой Стороне» 1926 г. № 3, с ценными примечаниями к ней Б. И. Николаевского; статья А. С. Полякова «Второе 1 марта» в «Голосе Минувшего» 1918 г. № 10-12; Никонов «Из воспоминаний о А. И. Ульянове». «Пролетарская Революция» 1929 г. № 2-3 и т. д.

новой, написал следующую резолюцию: — «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность ее милейший сынок и показать ей показания ее сына, чтобы она видела каких он убеждений». Так, вопреки всем российским правилам, и только по царскому приказу, М. А. Ульянова еще до суда, до окончания следствия, получила в Петропавловской крепости свидание с сыном. Она рассказывала об этом много раз своим детям и мы знаем о нем со слов ее старшей дочери А. И. Ульяновой.

«Когда мать пришла к нему на первое свидание, он (Саша) плакал и обнимал ее колени, прося простить его за причиненное ей горе. Он говорил ей, что у него есть долг не только перед семьей. Рисуя ей бесправное, задавленное положение родины, он указывал, что долг каждого честного человека бороться за освобождение ее.

— Да, но эти средства так ужасны.

— Что же делать, мама, если других нет.

Он всячески старался примирить мать с ожидавшей его участью. Он напомнил ей о меньших детях, о том, что следующие за ним брат (Владимир) и сестра (Ольга) кончают в этом году учение с золотыми медалями и будут утешением ее».

Заговорщиков судило особое присутствие Правительствующего Сената с участием сословных представителей. К делу было привлечено 15 человек, суд начался 15 апреля, а приговор был вынесен 19 апреля. Все подсудимые имели защитников, кроме Ульянова. Он отказался от защитника и на суде произнес искреннюю речь, в которой между прочим отметил, что по его мнению «единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды *пером и словом*, но при существующих условиях итти таким путем невозможно: не только социалистическая, но и обще-культурная пропаганда невозможна, да и научная разработка вопросов крайне затруднена».

В отличие от порядков, введенных в СССР, суд над террористами, покушавшимися на Александра III, был гласным. Ближайшие родственники обвиняемых могли на нем присутствовать. Была на нем и мать Александра. «Как хорошо говорил Саша, — вспоминала она, — но мне было так безумно тяжело его слушать, что я не могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из зала». На дознании и на суде, А. Ульянов заботился не о самозащите, а больше о том, чтобы спасти жизнь или смягчить участь своих товарищей. Лукашевич,

избежавший виселицы, писал позднее: — «Когда я увиделся в первое заседание с Ульяновым на суде, он, пожимая мне руку, сказал: если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня, я прочел в его глазах бесповоротную решимость умереть».

Желание Ульянова взвалить на себя главную вину и спасти всех других заметил и обер-прокурор Неклюдов: «вероятно Ульянов признает себя виновным и в том чего не делал». Этот прокурор в 60-х годах был одним из лучших учеников отца Саши — Ильи Николаевича Ульянова, в бытность последнего учителем Дворянского Института в Пензе. Царю тоже бросилось в глаза явное желание Ульянова заслонить союзом своих товарищей и на отчете о заседании суда он написал: — «от него (Ульянова) больше ничего не добьешься».

Шевырев был признан главным руководителем заговора, остальные сообщниками и пособниками. Все присуждены к смертной казни через повешение. Но восьми осужденным Александр III заменил казнь каторгой от 10 до 20 лет, а двум осужденным Лукашевичу и Новорусскому, на квартире которого Ульянов приготовлял нитроглицерин, подавшим прошение царю о помиловании, смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Остальные пять — Ульянов, Шевырев, Осипанов, Генералов, Андреюшкин — просить о помиловании отказались. Отцу Лукашевича удалось убедить в этом сына, но просьбы М. А. Ульяновой, имевшей с сыном свидание после суда, оказались тщетны: — «Не могу сделать этого после всего, что признал на суде. Ведь это будет неискренно».

Молодой прокурор Князев, по должности присутствовавший при свидании Ульяновой с сыном, несколько раз отходивший в сторону, чтобы дать им возможность свободнее говорить, услышав его бесповоротный отказ, со слезами на глазах, сказал: «он прав, он прав».

«Слышишь мама, что люди говорят?».

«У меня просто руки опустились, рассказывала потом убитая горем мать».

Через сорок лет, уже при советской власти, Князев, конечно, уже не бывший прокурором, дополнил несколькими штрихами это свидание Александра Ульянова с матерью. «Прошло 40 лет, но не померкла в глазах моих тяжелая картина этого свидания подавленной несчастьем любящей матери и приговоренного к смерти сына, своим мужеством и трогательной нежностью старавшегося успокоить мать. Она умоляла его

подать прошение о помиловании, выражая надежду и почти уверенность, что такая просьба будет уважена. Видимо с большой душевной болью отказывая матери, А. Ульянов привел между прочим, хорошо помнится, такой довод, несомненно свидетельствующий о благородстве его натуры: «Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего противника, другой еще нет и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить».

Нет сомнения, если бы А. Ульянов подал просьбу царю, она была бы уважена.

На молодого прокурора Князева Ульянов произвел огромное впечатление. По своей натуре, нравственной силе, особой честности, и в большом и малом, Ульянов действительно не был как все. Он далеко выходил из общих рядов. Об этом говорит его поведение до 1-го марта, его поведение на до знании, на суде и после осуждения на смерть. И вот что для него характерно, о чем все другие в его положении, конечно, забыли бы: в тюрьме из его памяти не уходила мысль, что незадолго до ареста он взял в долг 30 рублей у некоего Тулинова. Он считает бесчестным это забыть. При последнем свидании с матерью он просит ее выкупить из ломбарда заложенную университетскую медаль и из вырученной суммы не-пременно заплатить долг. Еще и о другом он просит мать. Он переводил, как уже мы отметили, статью Маркса из «Deutsch-Französische Jahrbücher». Эту редкую книгу ему одолжил В. В. Водовозов с условием хранить «как зеницу ока» и в назначенный срок возвратить. При обыске и аресте книга была забрана жандармами и, следовательно, должна была почитаться окончательно потерянной. Александр этим мучился и просил мать известить Водовозова, что всё будет сделано, чтобы найти где-нибудь другой экземпляр книги.

При последнем свидании с сыном М. А. Ульянова всё время спрашивала какие его желания она могла бы исполнить. Он на всё отвечал, что ему ничего не нужно, но в конце концов робко сказал, что ему хотелось бы почитать что-нибудь Гейне. Мать заволновалась, не зная удастся ли ей осуществить желание сына. Найти в Петербурге сочинения Гейне было трудно, они могли быть только на немецком языке, да были и цензурные препятствия против этого издания. Уже упомянутый молодой прокурор Князев поспешил притти ей на помощь. Ему удалось где-то найти сочинения Гейне, какие

мы не знаем, и в тот же вечер передать их в камеру Ульянову. С Гейне в руках Александр и провел последние дни своей жизни.

После приговора пять осужденных на смерть были переведены из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую тюрьму. 8 мая 1887 г. в 3½ часа ночи осужденным сообщили о предстоящем исполнении смертного приговора. Пред рассветом к воздвигнутым на дворе тюрьмы виселицам вывели Генералова, Андреюшина и Осипанова. Они простились друг с другом и приложились к кресту: священник присутствовал при казни. Взойдя на эшафот Генералов и Андреюшин крикнули: «да здравствует Народная Воля!». Осипанов не успел этого сделать. На голову его был накинут мешок. По снятии с виселиц их трупов, из камер были приведены Ульянов и Шевырев. Священник подошел к смертникам с крестом. Ульянов приложился к кресту. Шевырев оттолкнул руку священника. Оба взошли на эшафот. Чрез мгновение всё было кончено,

Смерть Ульянова и его товарищей обеспечила самодержавию 15 лет без террористических покушений. Но люди, готовые жертвовать своей жизнью за освобождение страны, вновь появились среди студенческой молодежи. В 1902 г. социалист-революционер студент Балмашев убил министра внутренних дел Сипягина. В 1905 г. социалист-революционер Калляев убил великого князя Сергея Александровича. За год до этого в июле 1904 г. студент Егор Сазонов убил министра внутренних дел Плеве, но погиб он не в Шлиссельбурге, а на каторге в Сибири, в Зерентуе. Нужно прочесть письма Сазонова к родным, чтобы до конца понять особую психологию жертвенности русской молодежи народнического толка.

«Вспомните, писал из тюрьмы Сазонов, мои молодые мечты о мирной деятельности на благо несчастного люда. И вдруг при таком-то робком миролюбивом характере передо мною всталась страшная задача. И я не мог сбросить ее с своих плеч. Моя совесть, моя религия, мое евангелие, мой Бог требовали этого от меня. Мог ли я ослушаться? Да, родные мои, мои революционные и социалистические верования слились воедино с моей религией. Я считаю, что мы — социалисты — продолжаем дело Христа, который проповедывал братскую любовь между людьми и умер, как политический преступник, за людей. Не слава прельщала нас. После страшной борьбы и мучений только под гнетом печальной необходимости, мы брались за меч».

На каторге начальник тюрьмы, где был заключен Сазонов, чтобы вытравить всякие протесты среди политических заключенных некоторых из них выпорол розгами. Политические каторжане решили ответить на это массовым самоубийством. Услыхав, что двое заключенных, не дожидаясь общего решения, уже сделали попытки лишить себя жизни и ошибочно считая их умершими, Сазонов принял припасенную им дозу яда, полагая, что смерть его дойдет до высшего начальства Петербурга, остановит самоуправство тюремного начальства и тем спасет его товарищей. Он оставил после себя маленькое письмо. Вот несколько строк из него⁸: «Товарищи! Сегодня ночью я попробую покончить с собою. Если чья смерть и может приостановить дальнейшие жертвы, то прежде всего моя. А потому я должен умереть. Чувствую это всем сердцем. Так больно, что я не успел предупредить двух умерших сегодня».

Тот, кто проник в религиозную душу Сазонова, лучше поймет и Александра Ульянова, его предшественника. При всех вариациях, это всё же одна и та же линия души, тот же тип святых из русской молодежи, кажется, совершенно исчезнувший, убитый в тоталитарном строе СССР. При всём своем увлечении химией, естественными науками и «Капиталом» Маркса, Александр был, конечно, религиозной натурой, жаждущей жертвенного подвига, готовой отдать свою жизнь за идеи, проникнутые любовью к человеку. Но религиозность его совсем не та, о которой писала его мать, обращаясь к царю. Г. П. Федотов хорошо заметил, что в человеколюбии, «в науке любви безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться от современных христиан». Да можно ли их, в особенности революционеров 70-х годов, назвать безбожниками? «Бог — это правда, любовь, справедливость, — говорил видный народник А. Д. Михайлов, — и в этом смысле с чистой душой я говорю о Боге, в которого верую». Сазонов, верящий, что «продолжает дело Христа», не одинок. Программа 1878 г. Северного Союза русских рабочих призывала «воскресить учение Христа о братстве и равенстве, быть апостолами нового, но в сущности, только непонятого и забытого учения Христа». Героиня процесса 50-ти Бардина считала, что всегда оставалась верной принципам христианской религии, «в том чистом виде, в каком они проповедывались са-

⁸ Материалы для биографии Сазонова собраны С. П. Мельгуноным в «Голосе Минувшего».

мим основателем христианства». Подобное же заявление сделал на суде и Желябов, казненный за участие в убийстве Александра II. «Крещен в православии, но православие отвергаю, однако, признаю сущность учения Иисуса Христа. Верю в истинность и справедливость этого учения, исповедую, что вера без дела мертвa есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно за них и пострадать» Такие заявления виднейших русских революционеров полезно напомнить, чтобы не было ложного представления будто русское революционное движение было представлено только *одним типом людей*, крайних материалистов-атеистов, порвавших всякую связь с христианской религией и образом Христа. Пред казнью Александр Ульянов, Генералов, Андреюшкин, Осипов к кресту приложились...

Идя на убийство царя, Ульянов и его товарищи считали своим долгом объяснить русскому обществу почему они стали на этот путь. Ответить для других, как и для себя, чего же они хотят должна была принципиально обоснованная программа. Больше всех других о такой программе, о таком «научном символе веры», думал А. Ульянов. Группа называла себя «фракцией партии «Народной Воли», но понимала, что после произведений Плеханова и усвоения некоторыми ее членами марксизма, не может быть речи о полном повторении прежней программы и воззрений «Народной Воли». Споры о новой программе велись несколько месяцев и лишь в феврале, недолго до 1 марта, удалось ее сформулировать. «С этой целью, передает Лукашевич, я, Говорухин, Ульянов и Сосновский (тоже студент университета) собрались на квартире Ульянова и здесь после продолжительных дебатов Ульянов взялся сформулировать наши положения и составить текст программы нашей фракции. Он вышел в другую комнату и довольно быстро и хорошо справился со своей задачей. Он прочитал нам написанное, мы одобрили и решили напечатать эту программу».

Оригинал этого документа, названного «Программой террористической фракции Народной Воли», не попал в руки жандармов. По требованию следственных властей, находясь уже в Петропавловской крепости, Ульянов по памяти восстановил текст составленной им программы, дав ей другое название: «проект новой программы, объединяющей партии Народной Воли и социал-демократов». Влияние на этот проект марксизма очевидно. Идея детерминизма в нем господствует. По-

явление социалистического строя представляется как «неизбежный», «естественный» результат хода экономического развития на базе капиталистического производства. Из марксизма же заимствуется тезис, что «главной революционной силой являются рабочие, естественные носители социалистических идей и проповедники этих идей в крестьянстве». Роль рабочих имеет «решающее влияние при экономической и политической борьбе» и каждый шаг к социализму возможен «только как результат изменения в соотношении общественных сил в стране, как результат количественного и качественного увеличения силы в рабочем классе». Старонародническое утверждение главенствующей роли крестьянства здесь устраниено. Программа указывает, что при своей отсталости и неорганизованности крестьянство может оказать революции только «бессознательную поддержку своим общим недовольством». За этими частями программы, можно сказать, заимствованными из «Наших разногласий» Плеханова, выступают части, связанные уже с другим, немарксистским мировоззрением. Это теория систематического террора, рассматриваемого как результат неизбежного «столкновения правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь». Роли интеллигенции придается в программе преобладающее, огромное значение. Интеллигенция мыслится как «передовой отряд» всего движения и главные силы ее должны ити на воспитание и организацию рабочего класса и улучшение народного хозяйства. Программу набрасывал А. Ульянов и, зная его отношение к «Что делать» Чернышевского, можно быть твердо уверенным, что революционная интеллигенция выдвигается им вперед под особым аспектом, в духе воззрений Чернышевского, согласно формуле последнего — «цвет лучших людей, двигатель двигателей, соль соли земли». Наконец, полной уступкой народническим воззрениям является утверждение, что так как существует поземельная община, так как крестьянство проникнуто идеей о праве народа на всю землю и имеет «несомненные привычки к коллективному труду», при политическом перевороте нужно надеяться «на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму близкую к социалистической». Исходя из всех этих посылок, программа, при победе над самодержавием, намечала проведение следующих мер: 1) народное представительство, выбранное всеобщей подачей голосов и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни, 2) ши-

рое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей, 3) *самостоятельность «мира» (общины)*, как экономической и административной единицы, 4) полная свобода совести, слова, печати, ассоциаций и т. д. 5) *национализация земли*, 6) *национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства*.

Александр III, читая программу, нашел, что «эта записка даже не сумасшедшего, а идиота», а когда дошел до перечисления конкретных параграфов программы, написал: «чистейшая коммуна». Царь был не очень грамотен: вместо «идиота» он писал «идеота», вместо «коммуны» — «комунна». Но не во всем он ошибся. Программа Ульянова, действительно, настаивала на осуществлении того, что называлось интегральным социализмом. Это национализация *всей* земли, национализация *всех* фабрик, заводов, «всех вообще орудий производства». При полном уничтожении частной собственности — это тотальная социализация хозяйства. В написанной А. Ульяновым программе политический переворот мыслился нераздельно-литным с социально-экономическим переворотом, устанавливающим по всей стране социалистические формы хозяйства. Таким образом отбрасывается категорическое утверждение Плеханова, что до социализма еще очень далеко, что ближайшая революция, даже создавая самые демократические политические формы, будет всё же принадлежать к типу буржуазных революций и откроет дорогу для усиленного и желательного, особенно в отсталой стране, капиталистического развития. Марксизм и его детерминизм, как будто твердо введененные в программу, оказываются, в конце концов, из нее выброшенными. Александру Ульянову в дни суда над ним был только 21 год, но юность не мешала ему, о чем свидетельствуют его работы по зоологии и химии, проявлять большую способность к последовательному научному мышлению. Поэтому *salto mortale* в программе нельзя объяснить только его личной непоследовательностью.

Программа Ульянова возвращается (часто прямо заимствуя из нее) к той, что от имени Исполнительного Комитета опубликована в 1879 г. в № 2 «Народной Воли». Возвращение не только к «Народной Воле», а что гораздо важнее — к самой субстанции, к главенствующей сути народнического мировоззрения.

Н. Валентинов

П. Н. ЛЕБЕДЕВ

К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Немало «острых разумом Невтонов» родилось в недрах физико-математических факультетов российских университетов. В Казани прославился математик Н. И. Лобачевский, в Петербурге химик Д. И. Менделеев, а в анналы Московского университета будет вписано не менее яркими письменами имя физика П. Н. Лебедева. Живший в более позднее время, чем оба его вышеуказанных предшественника, и скончавшийся в сравнительно молодом возрасте, незадолго до революции, Лебедев не был в достаточной степени оценен русскими общественными кругами. Поэтому представляется уместным к 200-летнему юбилею старейшего российского университета напомнить хотя бы вкратце о выдающейся научной работе и трагической жизненной судьбе его профессора.

В своей книге «Москва купеческая» (1954) П. А. Бурышкин, характеризуя культурно-благотворительную деятельность купечества, лишь мельком останавливается на тех представителях его, которые не только меценатствовали, но всю жизнь посвятили научно-исследовательской работе, как например биолог Вавилов, минералог Аршинов, зоолог Лепешкин или пишущий настоящие строки. К числу таких выходцев из торгово-промышленной среды принадлежал и Петр Николаевич Лебедев.

Он родился в 1866 г. в московской зажиточной купеческой семье. Среднее образование получил в немецкой Петровапловской школе, куда купцы охотно отдавали своих сыновей, имея в виду облегчить для них торгово-промышленные сношения с Германией, которые в то время энергично развивались. Но П. Н. не удовлетворился средним образованием и по окончании школы поступил в Высшее техническое училище. В этом специальном учебном заведении он пробыл однако только три года. Его привлекала чистая наука, и он переехал в Страсбург, где стал учеником знаменитого физи-

ка-экспериментатора А. Кундта. Кроме того, он учился в Берлине у не менее прославленного натуралиста Г. Гельмгольца.

По возвращении на родину Лебедев начал работать в Физическом институте Московского университета, которым заведывал проф. А. Г. Столетов, известный не только своими научными изысканиями, но и обширной школой учеников, которые стремились в его прекрасно поставленный институт. В 1891 году П. Н. становится ассистентом Столетова. Он находился в то время в счастливом положении. Благодаря материальному достатку родителей он был свободен от забот о личном заработке, от тех забот, которые так тяжело ложатся на плечи молодых ученых, затрудняя их научно-исследовательскую работу. Он мог всецело отдаться исследованиям в столь близкой его сердцу области опытной физики. У него были все данные для больших успехов. Наряду с прекрасной научной подготовкой и выдающейся даровитостью его духовной природы, он обладал исключительной способностью к конструированию сложнейших приборов.

В 1892 г. он представил физико-математическому факультету диссертацию для соискания ученой степени магистра. Эта диссертация на тему о действии волн на резонаторы была признана факультетом столь выдающейся, а защита ее на публичном диспуте оказалась столь блестящей, что Лебедеву вместо магистерской степени была присуждена высшая степень — доктора физики. Такого рода присуждения предусматривались университетским уставом, но на практике они осуществлялись чрезвычайно редко. А через год, т. е. в возрасте 27 лет, Лебедев сделался профессором Московского университета. Проявившийся у него преподавательский талант, в связи со смелостью и оригинальностью его научных взглядов и с изумительным конструкторским мастерством, способствовали тому, что в его лаборатории быстро сформировалась группа талантливых учеников, положившая основание первой в России школе физиков-экспериментаторов.

Наибольший интерес в этой школе привлекали к себе, конечно, исследования ее главы. После диссертации Лебедев опубликовал работу о коротких электромагнитных волнах Герца, которая возбудила внимание специалистов во всем учебном мире. В этой работе он описал между прочим неизвестные до того времени кратчайшие электро-магнитные волны. Но наибольшую мировую сенсацию возбудили его исследования в области давления световых лучей.

Сущность этого открытия заключается в следующем. Знаменитый английский физик К. Максвелл разработал в свое время совершенно оригинальную теорию, гласящую, что видимый нами свет представляет собой явление электро-магнитное. Г. Герц подтвердил эту теорию опытным путем, и она используется теперь для изысканий в области беспроволочной телеграфии и телефонии. В световых лучах должны существовать по Максвеллу, так же как в волнах беспроволочной телеграфии, электрические и магнитные поля. Но наблюдать эти поля при помощи имеющихся в нашем распоряжении научных приборов невозможно. Однако, как следствие своей теории, Максвелл выставил положение, что электрическое и магнитное поле светового луча должны проявляться в форме силы давления на освещенное тело. Расчеты, однако, показали, что это давление так незначительно, что определить его бесконечно трудно. Для пояснения этого можно привести следующее сравнение. Атмосферное давление равняется приблизительно 10.000 килограммам на квадратный метр; давление же самого яркого солнечного луча не может превышать одного миллиграмма на квадратный метр поверхности. Световое давление соответствует следовательно лишь одной десятимиллиардной доле давления атмосферного. Уже одно это обстоятельствоказалось непреодолимым препятствием для лабораторного демонстрирования солнечного давления. Но помимо незначительного давления, его исследование осложняется целым рядом побочных явлений, как напр., действием теплоты, неравномерностью движения воздуха и т. д. Такие побочные явления могут изменять результаты исследования в тысячу раз. Понятно, что со времени опубликования теории Максвелла никому из ученых не удалось подтвердить ее экспериментальным путем. Но вот в 1900 году молодой московский профессор продемонстрировал на международном съезде физиков в Париже небольшой прибор изумительно тонкой конструкции, посредством которого ему удалось не только показать, но и измерить световое давление. Замечательно, что величина давления, определенная опытным путем, вполне соответствовала теоретическому предсказанию Максвелла.

Поразительное открытие П. Н. Лебедева сразу поставило его на уровень первоклассных мировых ученых. Отблеск этой славы, естественно, пал и на весь Московский университет, в недрах которого открытие было сделано. Автор открытия не почил, однако, на лаврах. Он принялся за продолжение своих

исследований в направлении, которое казалось совершенно неприступным. Им было доказано давление света на твердые поверхности. Но возникал очень серьезный вопрос о том, могут ли световые лучи оказывать давление на тела газообразные. По этому поводу высказывались серьезные сомнения. Так как молекулам газа приписывалась шаровидная форма, то высказывалось соображение, что свет, падающий на такой ультрамикроскопический шарик, может в силу закона дифракции, оказывать не отталкивающее, а наоборот притягивающее действие. Эти чисто теоретические сомнения могли быть разрешены лишь путем опыта. Но такого рода опыты считались неосуществимыми. Близкий друг Лебедева, тоже профессор физики А. А. Эйхенвальд, впоследствии мой большой приятель, скончавшийся 10 лет тому назад в Милане, говорил мне, что работа над газами была примерно в сто раз труднее, чем над твердыми телами. Но для гениального экспериментатора и конструктора, при его исключительной рабочей выдержке, не существовало непреодолимых препятствий. Десять лет посвятил он изучению новой проблемы, и в 1910 году опубликовал работу, в которой доказал, что свет и на газы оказывает такое же отталкивающее воздействие, как и на твердые тела. Это открытие оказалось особенно плодотворным для дальнейшего развития науки. Мы знаем, что значение всякой новой научной теории заключается не только в том, что она расширяет область теоретических и практических сведений человека, но также и в том, что она является побудительным началом для продолжения исследовательской работы. Таким образом осуществляется прогресс научных знаний. В этом смысле открытия Лебедева оказались весьма важными для различных областей естествознания.

Уже давно было известно, что хвосты комет, состоящие из газов, всегда бывают расположены в направлении от солнца. Еще в XVII веке И. Кеплер высказал предположение, что это явление может быть приписано отталкиватальному влиянию солнечных лучей на хвост кометы. Такого же мнения придерживались и многие другие исследователи. Но это была лишь умозрительная гипотеза, не имевшая под собой никакого конкретного основания. Не мог разрешить загадки и видный московский профессор астрономии Ф. А. Бредихин, который во второй половине истекшего столетия много и упорно занимался специальным изучением формы комет. Теоретические расчеты Максвелла придали гипотезе некоторый вид правдоподобия.

добности. Но лишь благодаря экспериментальным измерениям Лебедева гипотеза была подтверждена и приняла характер прочно обоснованной научной теории.

Не менее серьезное значение приобрело открытие московского физика и для изучения развития звезд. Английский астроном Эддингтон выяснил, что когда звезды находятся в примитивном состоянии, т. е. состоят из газообразной огненной массы, равновесие этой массы обусловливается действием двух противоположных начал: силы тяготения, открытой Ньютоном, и давления света, установленного Лебедевым. В том случае, когда размер газообразного небесного тела в десять раз превышает размер нашего солнца, давление световых лучей в нем оказывается более могущественным, чем сила притяжения материи. Притяжение частиц преодолевается отталкиванием, и звезда распадается на части. Вот почему звезды, превышающие десятикратный размер солнца, представляют на нашем небосводе лишь редкое, исключительное явление.

Работы Лебедева отразились весьма интересным образом и на биологических исследованиях. Один из наиболее важных вопросов в этой области заключается в том, каким образом появились на земном шаре первые, самые примитивные организмы. Немецкий профессор Р. Вирхов опроверг в истекшем столетии существовавшее раньше мнение, что живые организмы могут возникать из безжизненной материи. Он доказал, что клетки, из которых состоят организмы, образуются лишь путем клеточного деления. А другой гениальный биолог, француз Л. Пастер, окончательно похоронил гипотезу самостоятельного зарождения организмов, доказав, что даже такие простые живые тела, как бактерии, не могут появляться в стерильной среде. Правда, и после этих неудач делались попытки объяснить происхождение жизни на земле, но эти попытки носили чисто гипотетический характер. Так например, высказывалось соображение, что жизнь может зарождаться на больших океанских глубинах, в условиях, отличающихся от тех, которые доступны нашему наблюдению. Был даже случай, когда из Атлантического океана извлекли своеобразную студенистую массу, которую приняли за примитивный организм. Но тщательное исследование показало, что это было ни что иное, как неорганическая безжизненная материя. Другая гипотеза заключалась в том, что живые существа возникли в древнейший период развития нашей планеты, когда она постепенно переходила из раскаленно-жидкого состояния в твердое. Но

никакими конкретными данными для доказательства этого положения мы не располагаем¹. Наконец, было указано на то, что зародыши (споры) простейших организмов могут быть занесены с других небесных тел метеоритами, нередко падающими на поверхность земли. Споры эти способны переносить как низкую температуру, господствующую в межпланетных пространствах, так и весьма высокую. Они могут также обходиться долгое время без воздуха. Но при быстром полете через земную атмосферу метеориты так разогреваются, трением о воздух, что переходят в раскаленное состояние. Возникает сомнение, могут ли при этом остаться живыми споры, скрытые внутри метеорита.

Эта гипотеза «панспермии» получила, благодаря открытию Лебедева, весьма существенную поддержку. Если мельчайшие живые частицы выйдут из сферы притяжения планеты, они получают возможность путешествовать в небесных просторах под давлением световых лучей и таким образом попадают на землю. Благодаря своим ничтожным размерам они лишь медленно продвигались бы в атмосфере и избегли бы сгорания. Конечно, эти соображения, высказанные шведским ученым Сванте Аррениусом, не в силах коренным образом разрешить проблему появления жизни. Они лишь переносят загадку с земного шара в безграничную область вселенной. Но мне представляется, что они могут в значительной степени удовлетворять нашу научную любознательность, если мы, наряду с принципом вечности материи и энергии, признаем также принцип вечности жизни.

К концу своих исследований над давлением света Лебедев заинтересовался вопросом о движении земного шара в мировом эфире, а кроме того начал разрабатывать чрезвычайно трудную тему о причинах земного магнетизма. Но эти работы были прерваны его преждевременной смертью, связанной с трагическими обстоятельствами тогдашней политической жизни.

Под влиянием революционных событий 1905 года особым Высочайшим указом была возвращена высшим школам автономия, ликвидированная реакционным университетским уст-

¹ На попытках, которые делаются сейчас в Москве, опровергнуть работы Вирхова и Пастера и возродить гипотезу самопроизвольного зарождения организмов я здесь останавливаться не буду, в виду их недостаточной обоснованности.

вом 1884 года. Но исполнительная власть в государстве оставалась старая, и министры нередко действовали в обход принципов самостоятельности университетского управления. В 1911 году на этой почве разразился тяжелый конфликт между министром народного просвещения Львом Аристидовичем Кассо и президиумом Московского университета в лице трех выборных профессоров: А. А. Мануйлова, М. А. Мензбира и П. Н. Минакова. Когда министр отказался отменить одно из своих распоряжений, несогласное с духом университетской автономии, члены президиума подали в отставку от своих административных должностей. Но министр решил наказать непокорных и отрешил их не только от административных, но и от профессорских должностей. Эта вопиющая несправедливость была подчеркнута и тем обстоятельством, что всем троим было предписано освободить в двухнедельный срок предоставленные им университетом казенные квартиры. Поступок министра, решившегося лишить лучших, наиболее заслуженных деятелей университета с их семьями крова над головой, вызвал страшное негодование, как в недрах университета, так и в общественных кругах. В университете повторился известный в истории случай, когда знаменитые «семеро геттингенцев», которые чувствовали себя не только учеными, но и гражданами, отказались в 1837 году служить и работать под начальством короля, нарушившего свое слово, и пожертвовали обеспеченным существованием и любимой работой ради исполнения своего нравственного долга.

В Москве то же самое произошло в более широком масштабе. 130 профессоров и преподавателей университета вышли в отставку в виде протesta против министерского произвола. Среди них были такие выдающиеся профессора как юристы П. И. Новгородцев и В. М. Хвостов, медики В. К. Рот и В. П. Сербский, историк А. А. Кизеветтер. Был среди них и П. Н. Лебедев. Все они, конечно, испытывали горечь расставания с кафедрой и со студенческой молодежью. Но представителей гуманитарных наук оставалась привычная для них кабинетная работа, у медиков врачебная практика, которая обеспечивала их и в материальном отношении. Хуже всех приходилось естественникам, которые должны были покинуть главное основание и средоточие их деятельности — институты и лаборатории, в которых велись научные изыскания как их собственные, так и их учеников. Они шли на разгром всей своей научной работы. Лебедев не остановился перед этой

героической жертвой, которая, помимо всего прочего, вызвала серьезное ухудшение его сердечной болезни.

Но московская общественность стояла на страже. Часть пострадавших была приглашена в Городской народный университет им. Шанявского, незадолго перед тем учрежденный городским самоуправлением. Кроме того, по инициативе энергичного общественного деятеля д-ра М. С. Зернова был основан Комитет для организации Научного института, который возместил бы покинувшим университет, хотя бы отчасти. Я помню, с каким благородным рвением работал Комитет, собиравшийся в квартире Зернова. П. Н. Лебедев также участвовал в этих заседаниях. Было решено восстановить в первую очередь возможность продолжения его научно-исследовательской работы. По соглашению с Университетом Шанявского было для него оборудовано лабораторное помещение, правда весьма неблагоустроенное и расположенное, как бы по иронии судьбы, в Мертвом переулке, в соседстве с церковью «Успенья на могильцах». Через некоторое время лаборатория Лебедева была переведена в более удобное помещение, но сам он не перенес выпавших на его долю испытаний и скончался в марте 1912 года в возрасте всего 46 лет. Но и к мертвому противнику начальство проявило неприязненное отношение. Когда мы хотели воздать ему последнюю земную почесть отпеванием в университетской церкви, нам было в этом отказано. Похороны состоялись при большом стечении студенчества и посторонней публики в домовой церкви того здания, где временно помещался Университет Шанявского. Сильное впечатление произвела надгробная речь священника, которую он начал приблизительно следующими словами: «Померкло солнце! Уходит от нас тот, кто открыл таинственные свойства его лучей».

Конфликт министерства с московской профессурой тянулся, к счастью, недолго. Когда министерский пост занял гр. П. Н. Игнатьев, человек высоко порядочный и благожелательный, я, в качестве члена Государственной Думы, депутата от города Москвы, вступил с ним в переговоры о ликвидации конфликта. Это удалось не сразу. Граф Игнатьев ссыпался на отрицательное отношение государя к московской либеральной профессуре. Но в конце концов всё благополучно уладилось. В 1916 г. трем бывшим членам университетского президиума были возвращены их кафедры. Затем начали возвращаться в университет и покинувшие его протестанты. Но П. Н. Лебедева,

гордости Московского университета и славы русской науки, среди них уже не было.

Он не дождался почестей, которые в таком обилии сыпались на головы Д. И. Менделеева и других выдающихся ученых. Но две главные исключительные почести ему всё-таки были оказаны. В России его именем было названо основанное им Физическое общество, в Англии, этой стране гениальных физиков, Лебедев был, по предложению знаменитого ученого лорда Рейлея, избран почетным членом Лондонского королевского общества.

M. Новиков

ДВА ГОДА БЕЗ СТАЛИНА

БОРЬБА БОЛЬШЕВИСТСКИХ ПОКОЛЕНИЙ

1

Стараясь найти объяснение для конфликта, приведшего к отставке Маленкова, полезно вспомнить что Фукидид в своей истории писал о причинах возникновения Пелопонесской войны. В драматизированной форме ярких диалогов он показал спорные пункты, явившиеся непосредственным поводом для конфликта, воспроизвел взаимные обвинения враждующих сторон, а затем указал на то, что он считал истинной, наиболее подлинной причиной. Наследников Сталина несомненно разделяли спорные вопросы, и в разгаре споров происходил обмен взаимными обвинениями, некоторые из которых, если не прямо, то в косвенной, но достаточно прозрачной форме были высказаны публично. Если бы факты, касающиеся кремлевского конфликта были так же хорошо известны, как Фукидиду были известны события приведшие к Пелопонесской войне, то их наверное легко можно было изложить в очень драматической форме. К сожалению, дело обстоит иначе. Как фактически развивался конфликт, пока что неизвестно. Драматизировать можно только собственные догадки, которые могут подтвердиться, но могут и оказаться совершенно ошибочными. Вспоминая о Фукидиде, я думаю о другом подходе. О том, нельзя ли возможно ближе подойти к «наиболее подлинной причине». Не вскрылись ли за два года после смерти Сталина такие коренные противоречия, которые в той или иной форме, по тому или иному поводу, раньше или позже, но должны были привести к острому кризису? Оговорюсь, что я имею в виду не историческую неизбежность, а конкретный вопрос о неизбежности или очень большой вероятности столкновения между силами, наличными в данное время в Советском Союзе.

Имевшая место борьба обычно изображается, как борьба за власть между Маленковым и Хрущевым. В известном смысле это, по всей вероятности, правильно. Но что скрывается за этой видимостью? Маленков и Хрущев не являются одино-

кими фигурами, изолированными от общей обстановки, в частности от положения в правящей партии. Каждый из них имеет своих сторонников, опирается на какие-то силы. За каждым из них кто-то стоит. При структуре советской диктатуры — диктатуры единственной партии — прежде всего встает вопрос о возможных группировках в этой партии. И поскольку никакой публичной внутрипартийной дискуссии не существует, исходить можно только из фактических данных, которые могут быть объективно установлены и являются доказуемыми. Чтобы облегчить читателю понимание моего анализа, я наперед формулирую мой первый вывод, который сводится прежде всего к тому, что внутри партии и в особенности ее аппарата существует проблема отношений между различными большевистскими поколениями. Назревавший конфликт между этими поколениями оставался латентным, пока партией и страной правил Stalin, все подавлявший абсолютным и бесспорным авторитетом. После смерти Сталина конфликт вскрылся и в течение без малого двух лет принял острые формы.

Конечно, всякое деление на поколения является очень условным. Но в истории большевистской партии имелись вехи, которые обозначили вполне реальные водоразделы между разными поколениями. Первой вехой можно с приблизительной точностью считать 1907-й год, — год после поражения первой революции, — а второй вехой — 1920-й год, год конца гражданской войны. Я оставляю в стороне последнюю войну, потому что военное и послевоенное поколения, хотя и составляют большинство членов партии, но еще не заняли большого места в партийном аппарате. Это поколение в будущем может приобрести решающее значение, но в данный момент его условно можно считать как бы подразделом поколения коммунистов, вступивших в партию после 1920 года.

Первое поколение представлено теперь ничтожным количеством не имеющих никакого влияния стариков. Тем не менее некоторое понятие о нем важно для уяснения дальнейшего развития, а именно той трансформации большевизма, которая произошла между революцией 1905-6 гг. и первой мировой войной. Сейчас преобладает представление, что большевизм появился, так сказать, в готовом виде уже при первом расколе внутри русской социал-демократии. Это в известной мере верно для самого Ленина, который однако еще несколько лет маскировал подлинное лицо своего большевизма. Но это совсем не верно для многих — и при том наиболее выдаю-

щихся — из его сторонников того времени. Я не могу здесь останавливаться на том, что привлекало их на сторону Ленина. К тому же это и далеко еще недостаточно изучено, как и вообще настоящая история большевизма еще не написана. Факт тот, что в 1905-6 гг. Ленина окружали люди, многим из которых — я думаю большинству — с ним в сущности было не по пути. Это обнаружилось уже в 1907 году, когда начался их отход от Ленина. В первый период наиболее яркие фигуры из окружавших Ленина большевиков (Богданов, Базаров, Луначарский) были людьми многосторонней культуры, с широким кругом интересов, люди самостоятельно мыслящие, меньше всего догматики ортодоксии, хотя они и числились, по терминологии Ленина, среди «твердокаменных марксистов». Некоторые из них были даже определенно «критическими марксистами». Именно у них возникла та философская «ересь», на которую Ленин позднее яростно обрушился в своей мнимо философской книге об эмпириокритицизме, но к которой он в первые годы относился с большой терпимостью, в отличие напр. от Плеханова. Как в то время и сам Ленин, тогдашние большевики считали себя принадлежащими к русскому отряду международного, т. е. фактически западно-европейского, социалистического движения, и многие из них — в отличие от Ленина — всегда были искренними демократическими социалистами. Когда в 1917 году большевистская партия снова вышла наружу, Ленин был тот же, но его партия была уже совсем другой. Из руководящих большевиков первого периода сравнительно немногие остались в партии до 1917 года. Из остальных некоторые отошли от большевизма навсегда, другие вернулись в партию только после октябрьского переворота. Среди рядовых членов партии также наблюдался большой отход от большевизма, во многих случаях обусловленный главным образом моральными соображениями. В 1917 году в некоторых возродившихся после февральской революции меньшевистских организациях большинство состояло из бывших большевиков, которые, как правило, примыкали отнюдь не к левому, а чаще к правому крылу меньшевизма. С другой стороны те, кто оставались и слепо шли за Лениным, образовали вместе с вновь пришедшими — с 1905-6 гг. и до самой революции 1917 г. — то, что я называю «вторым большевистским поколением». Это были уже чистые «ленинцы» — действительно «твердокаменные», как и сам Ленин, узкие догматики, изверы не стесняемые в выборе средств никакими моральными

соображениями, но по своему «верующие» и гораздо больше люди практического действия, чем мысли. Из большевиков первого периода, вошедших во второе поколение, наиболее выдающимися были Stalin и Свердлов. Не учитывая той роли, которую Stalin играл среди не ушедших в эмиграцию, а остававшихся в России большевиков второго поколения, вообще нельзя было понять, почему после смерти Ленина он оказался в партии самым сильным человеком. Он был таким как лидер второго большевистского поколения, значительную часть которого он сам же потом уничтожил. Это второе — ленинско-сталинское — поколение, конечно, гораздо ближе к нынешним поколениям, чем к поколению Богдановых и Базаровых, Рыковых и Каменевых. И это в особенности относится к тем, кто вступил в партию в годы революции и гражданской войны (1917-20).

Однако большие различия существуют также между вторым и третьим поколениями. Но прежде чем говорить об этих различиях, посмотрим какое место в настоящее время занимает в составе и в структуре партии второе поколение. Я принимаю как водораздел между вторым и третьим поколениями — 1920 год. Значение этой даты — конца гражданской войны — очевидно. В докладе мандатной комиссии на последнем съезде партии была подчеркнута та же дата. О членах партии «со стажем до 1920 года» в этом докладе говорилось, как о «прошедших большую школу подполья и гражданской войны». Какое же место занимают теперь в партии эти ветераны второго поколения? Численно — весьма незначительное, уже вследствие огромного роста числа членов партии с 1920 года, но также и по другим причинам. В марте 1920 года партия насчитывала 612 тысяч членов. В октябре 1952 года — больше шести миллионов, то-есть в десять раз больше. Если бы старые члены партии исчезали только вследствие естественной смерти, то и тогда они составили бы в теперешней партии значительно меньше десяти процентов. Но они кроме того в большом количестве исключались или умирали не только естественной смертью — в особенности во время чисток 30-х годов. С 1934 по 1939 год, между семнадцатым и восемнадцатым съездами, число членов уменьшилось почти на триста тысяч: с 1875 тысяч до 1589. Данные о составе делегатов этих съездов показывают, что чистки особенно сильно поразили именно старшее поколение. Несмотря на уменьшение числа членов партии, доля вступивших в партию до конца гражданской войны в чи-

сле делегатов съездов понизилась с 70% в 1934 до 19,4% в 1939 году. При этом совершенно разгромлена была та часть, которая состояла из вступивших в партию до революции 1917 г.: их доля упала с 22,6 до 2,4 процента. Состав съездовых делегатов нам особенно важен, так как он отражает состав партийного аппарата — партийной бюрократии. И вот на съезде в октябре 1952 года вступившие в партию по 1920-й год составляли только 7,4% всего числа делегатов (с решающим голосом). В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание, что с 1939 по 1952 число членов партии увеличилось немногим меньше, чем в четыре раза. К тому же партия понесла значительные потери во время войны. В числе *всех* членов партии доля старшего поколения должна поэтому быть еще значительно меньше. Как во всех иерархически построенных организациях, в политических партиях такого типа, а в особенности в такой партии, как коммунистическая, на каждой более высокой ступени иерархической лестницы, как правило, стоят люди в среднем с большим стажем, чем на предыдущей. И в политических партиях проблема поколений является весьма обычным явлением. Но положение в коммунистической партии Советского Союза является исключительно парадоксальным.

Взглянем на состав высшего партийного руководства. В президиуме ЦК партии состоят девять человек (в алфавитном порядке): Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Первухин, Сабуров и Хрущев. Из них только двое — Первухин и Сабуров — принадлежат к третьему поколению. Кроме того, особое место занимает Маленков. Он вступил в партию в 1920 г., но уже в предыдущем году принял участие в гражданской войне на стороне большевиков. Однако это произошло, когда в его области большевики уже победили, и к тому же его «опыт гражданской войны» был не столько боевым, сколько политически-административным. Поэтому и вследствие его тесной связи с руководящими партийцами-инженерами на два-три года моложе его, я думаю, что фактически Маленков является представителем уже не второго, а третьего поколения и при этом представителем весьма типичным. Таким образом, если причислить Маленкова к третьему большевистскому поколению, то это поколение представлено в президиуме партии тремя членами из девяти, т. е. составляет ровно треть. А в партийном аппарате оно составляет более девяти десятых.

Такое соотношение было бы ненормальным и в том случае, если бы 1920-й год был искусственной, случайно выбранной датой, не отмечающей никакого резкого перелома. В действительности же именно такой перелом имел место. То поколение, которое я называю третьим, это — люди, вступавшие в окончательно победившую и безраздельно овладевшую властью партию. Вступление в такую партию было своего рода поступлением на государственную службу. Представителей второго и третьего поколений в верхнем слое партийного аппарата можно с небольшой натяжкой обозначить как «шестидесятилетних» и «пятидесятилетних». Разница для многих только в одном десятке лет, но и этого было достаточно для образования коренных различий, формирования различных *типов* партийных деятелей. Пятидесятилетние уже не принадлежат к тому поколению, которое в течение ряда лет вело подпольную работу, отказавшись от мирной жизни и часто от возможности хорошей карьеры, подвергаясь арестам, тюремным заключениям и ссылкам. Они не относятся и к тем, кто, рискуя своей жизнью, вынесли всю тяжесть и все ужасы беспощадной гражданской войны. Для пятидесятилетних вступление в победоносную партию означало уже не жертвы, а преимущества, не отказ от карьеры, а наилучшую возможность сделать таковую. Конечно, не следует слишком обобщать. И в этом поколении было много людей, шедших в коммунистическую партию по убеждению, с верой и юношеским энтузиазмом. Но именно такие особенно и пострадали в ряде чисток, их осталось меньше всего. Терпевшие пятидесятилетние это — выжившие, т. е. сумевшие во внутрипартийной борьбе выбрать более сильную сторону. Это — «сталинцы», птенцы сталинского гнезда, и всё же не люди сталинского поколения. Люди того поколения в своей молодости боролись не за места в аппарате власти, а против власти во имя своего общественного идеала. Их средства и тогда уже были по существу аморальными, нередко очень грязными, но цель была освободительной и гуманитарной. Они были верующими и многие фанатиками. Выживание наиболее приспособленных или наиболее успешно приспособляющихся началось после завоевания власти и достигло самого полного развития в сталинский период. Но хотя выжившие шестидесятилетние шли тем же путем, что и пятидесятилетние, у них всё же что-то должно было остаться от прежнего закала.

Живя в Берлине, я еще до 1932 года иногда встречался

с людьми «оттуда», не боявшимися разговаривать со мной откровенно. В 1929 г. в Берлин приезжал мой старый знакомый, специалист по педагогике. В молодости он был большевиком, но после революции в партию не вступил. Тем не менее он занимал хорошее положение, так как считался вполне лояльным «беспартийным» и к тому же хорошим марксистом. Он рассказал мне, что ему оказали высокое доверие, поручив занятия по марксизму с одним кружком. Он предложил своим слушателям проработать «Коммунистический манифест». От этого молодые коммунисты отказались, не ожидая от «Манифеста» никакой выгоды. Они просили взять что-нибудь «из сочинений товарища Сталина». Это было уже новое поколение.

Летом 1932 года меня посетил молодой коммунист, мой бывший ученик — конечно, не по партийной линии. Он был сыном старого большевика и вскоре после переворота был прикомандирован к ЦК партии. Очень умный и наблюдательный, он сравнительно скоро ясно увидел и оценил прелести партийного аппарата. Настроенный критически, он примкнул к кружку «богдановцев» и очень увлекся теориями Богданова, приводившими в ярость правоверных большевиков. От разгрома, которому подверглись богдановцы, он уцелел потому, что до этого был откомандирован на дипломатическую службу заграницу. Но он несколько раз приезжал в Москву и видел, что происходило. В 1932 году было много разговоров о «второй революции». Имелась в виду проводившаяся тогда колханизация. Мой собеседник сказал, что *вторая* революция произошла уже значительно раньше и была основательно проведена к концу 20-х годов. Это была проведенная Сталиным перетасовка партийного аппарата — мало заметная для сторонних наблюдателей, но очень существенная по своему значению. Он рассказывал, как партийцы «постарше» вытеснялись партийцами «помоложе». Это были люди совсем другого типа, каких он почти не встречал в первые годы после революции — беззастенчивые, энергичные карьеристы и с невиданным раньше умением приспособляться. Это и были нынешние пятидесятилетние. То-есть те из них, которые выжили, и для выживания имели наилучшие шансы, и которые теперь составляют поколение пятидесятилетних — третье большевистское поколение.

Из обоих поколений выжили, конечно, те, кто во время стали «сталинцами», и Сталину, с любовью или без любви, бы-

ли в конце концов все возрасты покорны. Но и тут были существенные различия. Для многих из старшего поколения Сталин как-никак был товарищем, не только в бездушном казенном употреблении этого слова. Молотов был связан со Сталиным с весны 1912 года. Ворошилов знал Сталина и раньше, но особенно сблизился с ним во время гражданской войны. Вместе с некоторыми другими они образовали «сталинскую гвардию» уже вскоре после революции. У пришедших позднее такого отношения к Сталину быть не могло. Культ Сталина был с их стороны, как правило, чистым лицемерием. Именно поэтому они не только не любили своего «любимого вождя», но во многих случаях его в душе ненавидели. Один бывший иностранный коммунист, бывавший в Москве и знавший многих видных коммунистов, говорил мне в конце 30-х годов, что больше всех Сталина ненавидят те, кто больше всех перед ним унижается. И как по разному звучали речи Молотова и Маленкова на похоронах Сталина. Я эти речи не только читал, но и слышал их запись на пленке. Речь Маленкова поражала полным отсутствием какой-либо эмоции, а Молотов не раз боролся с подступавшими к горлу рыданиями.

Имеется еще одно чрезвычайно существенное различие между поколениями, которое менее очевидно и обычно совершенно упускается из виду. Большевики не только называли себя рабочей партией, но и, действительно, хотели быть партией рабочего класса. Они имели связь с рабочей средой, привлекали к себе рабочих, хотели возглавлять рабочее движение. Одни на Западе, другие в своей стране — а после первой революции главным образом в своей стране — они знакомились с реальностью капитализма и были не только теоретически, но и эмоционально ярыми антикапиталистами. Вероятно все русские социалисты того времени читали книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Для самой Англии эта книга давно была уже совершенно устаревшей. Но от тогдашней русской действительности она была не так уж далека. Не всё, но многое могло быть отнесено и к положению рабочего класса в дореволюционной России. Поэтому антикапитализм в самой острой форме мог тогда быть очень сильным революционным стимулом. Старшее большевистское поколение выросло на таком антикапитализме, на почве которого возникла вера в грядущую мировую революцию. Учение о неизбежности такой революции не было только теорией — казалось что иначе быть не может. У теперешних «пятидесятилетних»

таких переживаний быть не могло. Для них капитализм лишь абстракция. Даже те из них, кто вышли из рабочей среды, не имеют сколько-нибудь живого впечатления о капиталистических отношениях. Кроме того, что они читали в партийной литературе, они могли кое-что почерпнуть из воспоминаний детства или из рассказов родителей. Для интенсивного эмоционального антикапитализма этого недостаточно. А рабочее движение для них — это уже нечто совершенно чужое или даже враждебное. Ведь при советском режиме рабочее движение может быть направлено только против государства, ставшего хозяином всех предприятий. У них просто не могло возникнуть чувства связанности с рабочим движением, какое было, скажем, у Томского, кончившего самоубийством, или у Бухарина, который отказывался пользоваться привилегиями своего положения, чтобы иметь право «прямо смотреть в глаза рабочим». Теперешним пятидесятилетним сановникам такая сантиментальность может казаться только смешной.

Значит ли это, что большевики третьего поколения уже не являются антикапиталистами? На этот вопрос не так легко ответить. Если у них нет тех побуждений, из которых вытекает антикапитализм социалистического рабочего движения, то это еще не значит, что у них не может быть враждебного отношения к капитализму не вообще, а в его конкретном воплощении, т. е. к капиталистическим странам. Другими словами, у них может быть и, по всей вероятности имеется, антикапитализм не идеологический, а обусловленный совсем другими мотивами. Во-первых, никакая большевистская диктатура не может не быть враждебной по отношению к капиталистическим странам уже потому, что они в своем большинстве — в Европе и в Северной Америке — страны демократические. В интересах самосохранения диктатура должна оберегать свою страну от демократической заразы, которая тем более опасна, что в демократических странах с их капиталистическим, а чаще более или менее смешанным хозяйством, уровень жизни всюду гораздо выше, чем в Советском Союзе. В демократических странах также давно уже нет такой эксплуатации и такого беспрavия рабочих, как на ленинско-сталинской «родине социализма». Поэтому диктатура не может допустить сколько-нибудь свободного общения своих подданных с так называемым «капиталистическим миром». А для предотвращения тяги к такому общению, необходимо поддерживать настороженное недоверие и враждебность к странам этого мира.

Во-вторых, для большевистской диктатуры антикапитализм является наиболее естественной формой ее империализма. Я очень сомневаюсь в том, что большевики третьего поколения являются коммунистами старого, — скажем, ленинско-сталинского — типа, и что они ставят мировую революцию хотя бы отдаленной целью своей политики. Но они, без сомнения, хотят укрепления могущества и расширения сферы господства своего государства — расширения своей *империи*, какой в самом точном смысле является Советский Союз с его сателлитами. Препятствием же для этого расширения является пресловутое «капиталистическое окружение». Такой антикапитализм во всяком случае менее агрессивен, чем сталинский. Stalin, вероятно, до конца дней своих видел себя в своих мечтах повелителем охватывающего всю землю единого коммунистического мира. Но я просто не вижу, как большевики третьего поколения могли бы быть одержимы подобными бредовыми идеями — ни на фанатиков, ни тем менее на маньяков они не похожи. Это скорее поколение «реалистов». Однако, при всем своем реализме они в чем-то просчитались и позиций, занятых ими после смерти Сталина, удержать за собой не смогли.

2

При огромном численном преобладании третьего поколения в партийном аппарате торжество «пятидесятилетних» являлось, казалось бы, обеспеченным. Но вышло иначе. 8-го февраля Маленков был устранен и председателем Совета Министров на его место стал шестидесятилетний Булганин, член партии с 1917 года. Этот факт может служить аргументом против всей теории борьбы большевистских поколений. Но он может быть объяснен и в рамках этой теории. Как было отмечено выше, в иерархической организации чем выше ступень, тем — в среднем — выше возраст. Старшие поколения, как правило, концентрируются на высших ступенях иерархической лестницы. Находясь на этих ступенях, партийные «старики» имеют немало возможностей обороны свое командное положение по принципу: разделяй и властвуй — разыгрывая одних против других партийцев более низких ступеней партийной иерархии. Это, если и не останавливает вполне, то замедляет, временно задерживает завоевание партийного аппарата более молодым поколением. Нельзя установить общее правило, какой степени численного преобладания должно до-

стичь новое поколениее, чтобы быть способным «овладеть партией». Но чем меньше «внутрипартийной демократии» и чем строже иерархическая структура партии, тем значительнее должно быть это преобладание. Во всесоюзной коммунистической партии, несмотря на все официальные заверения, внутрипартийной демократии нет, а ее иерархическая структура максимально строга. Другим и, вероятно, еще более важным обстоятельством является характер взаимоотношений между чисто партийным аппаратом и партийцами в министерском, главным образом в хозяйственном аппарате диктатуры. Я избегаю говорить в такой связи о государственном аппарате, потому что при системе партийной диктатуры партию и государство противопоставлять нельзя. Партийный аппарат сам является отраслью государственного аппарата. Более целесообразно поэтому, хотя тоже несколько условно, говорить о партийной бюрократии, о министерской бюрократии в разных видах, в частности хозяйственной, и не об армии вообще, а о военной бюрократии. Всюду управляют партийцы, но психология и интересы у разных групп партийцев тоже разные.

Концентрация пятидесятилетних особенно сильна в министерской бюрократии. Для иллюстрации этой концентрации можно привести нечто вроде статистики. В Советском Союзе существует обычай давать ордена в дни рождений, завершающие какое-либо десятилетие в жизни, начиная с пятого. При жизни Сталина пожалование орденов по случаю дня пятидесятилетия было редким явлением. Наоборот за последние годы ордена пятидесятилетним сыпались, как из рога изобилия. С июля 53-го и до конца 54-го г. я насчитал 36 случаев и не ручаюсь за исчерпывающую полноту моего подсчета. В 25-ти из 36-ти случаев ордена были даны министрам и другим лицам высшей министерской бюрократии, но только 7 — высшим партийным секретарям, 3 генералам и один писателю. Я не имею достаточных данных о возрасте высшей категории партийных секретарей и не знаю, преобладают ли в ней люди старше или моложе 50-ти лет. Но для министров картина достаточно ясна: во главе всех или почти всех отдельных министерств стоят большевики третьего поколения. И по крайней мере о министерской хозяйственной бюрократии можно с уверенностью утверждать, что она старается ослабить влияние партии как таковой, ограничить вмешательство партийных комитетов в деятельность хозяйственных ведомств и местных

органов и даже подчинить себе партийную бюрократию. Самым верным средством для этого служит некий подкуп партийных чиновников предоставлением им материальных выгод. Что это так особенно ясно из той тревоги, которую в прошлом году орган Центрального Комитета «Партийная Жизнь» поднял по поводу «зависимости партийных руководителей от хозяйственных органов». И как видно из «Партийной Жизни» подкуп в той или иной форме «партийных руководителей» может иметь место и при прямом участии соответственного министра. Вполне естественно, что в партийном аппарате имеются элементы, которые независимо от их принадлежности к тому или другому поколению, противятся всем попыткам ограничить руководящую роль партии. На этой почве неизбежно возникают более или менее острые трения между значительной частью партийного аппарата и министерской бюрократией. Возможно, что именно поэтому при обострении конфликтов на верхушке диктатуры Маленков и «пятидесятилетние» не нашли достаточной поддержки в партийном аппарате.

Поскольку большевики третьего поколения обладали фактически почти всеми командными позициями в министерском аппарате, с их стороны было вполне естественно перенести центр тяжести управления страной из партийной верхушки в верхушку этого министерского аппарата, т. е. Совет Министров. При этом надо иметь в виду, что собственно правительством является не весь многоголовый Совет Министров, а его фактический президиум, существующий в двух формах: во-первых, в составе председателя и его *первых* заместителей, а во-вторых в составе председателя и всех заместителей. Как распределяются функции между этими двумя формами президиума — неизвестно. Сейчас же после смерти Сталина был образован только «малый» президиум в составе председателя Маленкова и его первых заместителей Берии, Булганина, Кагановича и Молотова, при чем Маленков, Молотов и Берия в ряде разных выступлений (начиная с речей на похоронах Сталина) выделялись как своего рода руководящий триумвират. Как видим, старшее поколение обеспечило себе большинство в президиуме Совета Министров, располагая в то же время определенным большинством и в Президиуме ЦК партии. Кроме четырех первых заместителей тогда был назначен только один просто заместитель — Микоян.

Теперь становится всё более очевидно, что «старики»

отнюдь не с энтузиазмом приняли участие в проведении «нового курса» внутренней и внешней политики. Их согласие, по всей вероятности, было вынужденным в виду неуверенности, создавшейся после смерти Сталина. Но они обеспечили за собой достаточно сильную позицию, чтобы иметь возможность сдерживать, а если понадобится, и осадить «новаторов», которыми были сначала вполне солидарные Маленков и Берия. Так началась эпоха малых реформ, отражавшая больший «реализм» большевиков третьего поколения, хотевших уйти от Сталина с его грандиозными планами в мировом масштабе и его пристрастием к грандиозным проектам в области хозяйства, и в особенности считавших необходимым рационализировать бюрократическую систему хозяйства, включая более или менее существенные изменения самой системы планирования. Они хотели оправдать и укрепить свою власть, идя навстречу наиболее острым нуждам населения (и не забывая и об удовлетворении растущих запросов его более привилегированной части: автомобили, холодильники, шелк, дорогие сорта шерсти, шампанское и т. д.). В программу входило и ограничение роли ненавистного населению МВД. В чем состоял и как возник конфликт, приведший к ликвидации Берии, остается невыясненным. Ясно, что образовалась какая-то могущественная оппозиция, и что Маленков к ней примкнул — может быть, не из согласия с ней, а только чтобы спасти себя. Вряд ли случайно, что после этого конфликта уход от Сталина остановился и покойный «вождь и учитель» был возвращен в официальную жизнь страны, хотя и не в прежнем качестве сверхгения, но всё же (в конце июля того года) в качестве «великого продолжателя Ленина». Похоже на то, что это, как и ликвидация Берии, было частью первого реванша старой сталинской гвардии.

В августе Маленков возвестил новую экономическую программу, а затем в сентябре последовал знаменитый доклад Хрущева о сельском хозяйстве. Между Маленковым и Хрущевым нельзя было найти ни малейшего расхождения. И тогда и до самого последнего времени Хрущев слово в слово повторял формулировки Маленкова: тяжелая индустрия — «основа основ», «крутой подъем производства предметов народного потребления». Любопытно однако, что Хрущев не раз резко критиковал отдельных министров — в особенности министра сельского хозяйства Бенедиктова (его давнего противника) и министра совхозов Козлова, но критикуемые Хрущевым мини-

стры оставались на своих постах. Приезжавший в Москву в составе делегации британской рабочей партии Беван писал, что в разговоре с членами делегации Хрущев откровенно признал, что первый секретарь партии больше не может давать распоряжений министерствам. Не таилась ли за этим злоба из-за умаления значения позиции первого секретаря и вообще роли партии? Но если это и так, то Хрущев продолжал выжидать, стараясь мобилизовать достаточные силы для нового и более полного реванша.

В декабре 1953 года состоялось существенное изменение состава президиума Совета Министров. Сразу было назначено пять новых заместителей: Косыгин, Малышев, Первухин, Сабуров и Тевосян. Всё это — «пятидесятилетние», ярко выраженные представители третьего большевистского поколения, образованные хозяйственники и «реалисты». Президиум в новом составе был утвержден Верховным Советом 27-го апреля 1954 года. Правда, «малый» президиум остался в составе Маленкова, Молотова, Булганина и Кагановича, но разница между полным составом президиума Совета Министров и составом президиума партии стала разительной. Если разделить по поколениям и отнести Маленкова к третьему поколению, то получается следующая картина: в президиуме партии *шесть* большевиков второго и *три* третьего поколения, в президиуме Совета Министров *шесть* третьего и *четыре* второго. К тому же по всему, что известно о Микояне, следует думать, что он по основным вопросам должен быть гораздо ближе к третьему поколению. Если это так, то в президиуме партии всё же остается большинство старой сталинской гвардии, но в «большом» президиуме Совета Министров у третьего поколения имеется большинство двух третей. Трудно отделаться от впечатления, что Маленков хотел и добился назначения пяти новых заместителей, чтобы усилить позиции Совета Министров по отношению к партийному руководству, а в руководстве Совета Министров образовать прочное большинство сторонников менее идеологической и более реалистической политики — внутренней и внешней.

Таково было положение до отставки Маленкова. Как же оно изменилось в результате этой отставки? Количественно изменение было очень незначительным. Состав президиума партии остался прежним. Из президиума Совета Министров никто не выбыл, а прибавился только один заместитель председателя, по партийному стажу принадлежащий ко второму

большевистскому поколению. Большинство пятидесятилетних в президиуме Совета Министров сократилось, но не исчезло. И тем не менее произошло очень существенное изменение, потому что новым заместителем председателя является маршал Жуков, а это не просто один лишний голос. Это прежде всего явственное указание на то, какой фактор перевернул соотношение сил и решил борьбу в пользу старой сталинской гвардии. Схематически можно изобразить победившую группировку как коалицию высшей партийной и военной бюрократии против бюрократии министерской. Схематически: потому что ни одну из этих бюрократий нельзя считать однородной и единомыслящей, и с уверенностью можно говорить только о преобладающей части каждой из этих бюрократий. Военная бюрократия представлена теперь в Совете Министров самым прославленным маршалом и едва ли не единственным человеком, пользующимся широкой популярностью (если таковой не приобрел Маленков). Мы ничего не знаем о позиции МВД (Круглов) и Комитета Государственной Безопасности (Серов). Но, очевидно, вмешательства этих органов в пользу Маленкова победители не опасались — потому ли что считали их руководство на своей стороне или потому, что возможная оппозиция с этой стороны была парализована позицией, которую заняло военное командование, или же, наконец, потому что после смерти Сталина фактическое влияние и потенциальная сила полицейского аппарата были значительно ограничены.

Что же побудило военную бюрократию примкнуть к оппозиции против Маленкова и тем обеспечить победу старой сталинской гвардии? Ее недовольство могло быть вызвано и внутренней экономической и внешней политикой. Точных данных о настроениях военной бюрократии нет, как нет таких данных вообще о том, в чем конкретно состоят вызвавшие конфликт спорные пункты. Всё же в речи Булганина после назначения его председателем Совета Министров имеется очень многозначительное указание на один пункт, в котором армия особенно заинтересована. Булганин подчеркнул крайнюю важность государственных резервов: «Резервы, — горячил он, — это наше могущество, это укрепление оборон способности страны. Было бы поэтому непростительной ошибкой ослабить внимание к этому важнейшему делу или податься соблазну решать частные, текущие задачи за счет государственных резервов». Это совершенно очевидная суро-

вая критика маленковской экономической политики. Правда, эта политика была и хрущевской, но «старики» свалили на Маленкова ответственность за все «ошибки», в том числе и за хрущевские. Их не смущало и то, что может возникнуть мысль: а где же было коллективное руководство? Но кто бы ни был «виноват», совершенно ясно что именно Булганин имел в виду. Новый экономический курс начался не с речи Маленкова в бюджетных прениях августа 1953 года. Он должен был быть определен до того, как был составлен основанный на нем бюджет. Поэтому бюджет на 1953 год и был представлен Верховному Совету только в августе того же года. Новый экономический курс был фактически начат снижением цен 1-го апреля 1953 года. Снижение было очень значительным — явно с целью завоевать симпатии населения к новому правительству. Оно увеличило покупательную способность населения в размере совершенно неоправдываемом данным состоянием производства для широкого потребления. Уже это одно делало неизбежным расширение этого производства в срочном порядке. Но то, что можно было сделать в этом направлении, оказалось далеко недостаточным. Пришлось прибегнуть к использованию государственных резервов для снабжения рынка потребительскими товарами. В отчете о выполнении плана в 1953 году было прямо сказано: «Продажа товаров населению в 1953 году значительно увеличилась по сравнению с 1952 годом. Это достигнуто в результате роста производства товаров народного потребления, а также мобилизации других государственных ресурсов». Это и есть то, что Булганин назвал «непростительной ошибкой... податься соблазну решать частные, текущие задачи за счет государственных резервов». А так как назначение резервов главным образом военное, то в их сохранении и увеличении прежде всего заинтересована армия. Использование резервов, вероятно, продолжалось и в 1954 году. Кроме того армия вряд ли могла одобрять такие операции, как, например, экспорт нефти ради приобретения заграницей предметов потребления вплоть до обмена этого важнейшего для авиации материала на палестинские апельсины — что, кстати сказать, в моих глазах было признаком того, что маленковская политика строилась с расчетом на более или менее длительный период «мирного сосуществования».

Вопросы внешней политики, несомненно, были предметом споров. Очень вероятно, что именно они и привели к оконча-

тельному обострению конфликта. Решения экономического характера, очевидно, были приняты до 22-го января, потому что в этот день было принято постановление о созыве бюджетной сессии Верховного Совета, а бюджет не мог быть составлен до установления экономической программы. Но споры видимо продолжались до самого дня, когда Маленков подал в отставку. Признаком этого было то, что ни один человек из «руководства партии и государства» не выступил в бюджетных прениях. Естественно предположить, что споры могли итти по таким наиболее жгучим вопросам, как политика по отношению к вооружению Германии, и о том, как далеко итти в поддержке борьбы коммунистического Китая за Формозу. Дальше этого предположения итти пока что нельзя. Но в докладе Молотова было одно замечание, представлявшее прямую полемику с Маленковым. В своей предвыборной речи 12-го марта Маленков говорил о мировой войне, «которая при современных средствах войны означает гибель мировой цивилизации». Мировой цивилизации вообще — значит, и цивилизации советской. Это заявление явно произвело неблагоприятное впечатление, и в своей речи на сессии Верховного Совета 26-го апреля того же года Маленков поправил себя. На этот раз он уже не говорил о мировой цивилизации, а о «развале капиталистической общественной системы». Тем не менее, не называя Маленкова, Молотов счел нужным вернуться к его первоначальной формулировке и категорически заявил, что погибнет не мировая цивилизация, а только капитализм. Значит ли это, что Маленков, несмотря на сделанную им самим поправку, остался на прежней точке зрения, вывод из которой можно сделать один, а именно, что нужно избежать войны во что бы то ни стало? И на этот вопрос ответа пока нет. Но замечание Молотова является косвенным подтверждением больших разногласий по внешней политике.

Если сделанные предположения правильны, то получается следующая картина. «Торжество победителей» осуществилось в два приема: в результате экономических споров Микоян лишился поста министра торговли, а конфликт по вопросам внешней политики привел к отставке Маленкова. Повторяю и подчеркиваю: «если сделанные предположения правильны». Факты остаются неизвестными. Но фактом является то, что пока (это пишется 20-го февраля) месть победителей ограничилась этими двумя отставками. Оба, Микоян и Маленков, остались и членами президиума ЦК партии и заместителями

председателя Совета Министров (но Маленков уже не первым), Маленков сверх того поставлен во главе чрезвычайно важного министерства электростанций. Умеренность в советских условиях совершенно необычная! Я не берусь предсказывать, будут или нет дальнейшие кары и новые чистки. Но во всяком случае старой сталинской гвардии теперь не так легко провести такие меры, как было раньше. Уже просто потому, что она не может истребить или хотя бы устраниТЬ от активной деятельности более молодое поколение, занимающее, как мы видели, все или почти все руководящие посты в министерском и в особенности в хозяйственном аппарате. Среди большевиков второго поколения уже нет людей для замены теперешних, более молодых министров, заместителей министров и т. д. И кто знает? Может быть, было достаточно их приугнить, чтобы они по крайней мере еще на некоторое время покорно служили хозяевам положения.

Подходя к концу своей статьи, я всё же должен сказать, что как я ни старался свести к минимуму гипотетический элемент, предложений и домыслов в статье набралось немало. Но иначе и нельзя писать о том, что происходит в Советском Союзе, где и после смерти Сталина, несмотря на некоторое увеличение «откровенности», всё еще многие и часто наиболее важные факты остаются под строжайшим секретом. Думаю, что делать предположения не опасно, если не представлять их как факты, а излагать с должностными оговорками. В какой бы мере ни оказалась правильной или ошибочной изложенная здесь теория «наиболее подлинной причины», она не построена только на предположениях, но и на вполне реальных основаниях. Существование в коммунистической партии Советского Союза во многом очень различных поколений является несомненным фактом. Поэтому проблема отношений между поколениями по меньшей мере заслуживает тщательного внимания и изучения.

Ю. П. Денике

P. S. Когда статья была уже набрана, произошли новые перемены: Микоян, Первухин и Сабуров назначены *первыми* заместителями, назначены новые просто заместители. Эти перемены не меняют общей картины, но подчеркивают, что борьба до конца еще не доведена. Во всяком случае остается впечатление, что старые сталинисты пока боятся слишком резко и явно нарушить относительное равновесие между «поколениями».

ПАМЯТИ Г. О. БИНШТОКА

Несколько лет тому назад мы с Бинштоком условились, что тот из нас, кто переживет другого, напишет «серьезный некролог». Но я пишу эти строки не столько во исполнение условия, сколько из потребности рассказать об этом замечательном и столь близком мне человеке.

Г. О. Биншток начал свою общественно-политическую деятельность как социал-демократ и научно-литературную — как писатель-марксист. Любопытно, что марксизм явился отправной точкой мышления ряда видных ученых, которые в дальнейшем построили свою историко-социальную систему на иных основаниях. Григорий Осипович был одним из них.

В Петербурге, как во всех быстро растущих городах, коренные жители составляли небольшую часть его населения. Биншток принадлежал к этому меньшинству. Здесь он родился, здесь он учился, в немецкой классической гимназии Св. Анны, здесь он поступил в университет. С ранней молодости он примкнул к социал-демократии и принимал деятельное участие в ее работе. Его постепенное «поправление» было ускорено революцией, и еще в России он очутился на правом фланге меньшевиков. Высланный большевиками, после продолжительного тюремного заключения, заграницу, он примкнул к правому ревизионистскому крылу германской социал-демократии, принимал деятельное участие в ее просветительной работе и много печатался в органе ревизионизма *Die Gesellschaft*, издаваемом Гильфердингом. Юрист по образованию, он сосредоточивал свое внимание на вопросах хозяйственной жизни и занял в немецкой литературе положение одного из видных экономистов.

На имеющемся в Библиотеке Конгресса экземпляре книги Бинштока «Введение во всемирную экономику»¹ стоит нацистский штемпель: «Коллекция запрещенных книг». При том неразборчивом уничтожении книг, которым гитлеровцы занялись тотчас по приходе к власти, трудно сказать, почему та или другая книга попала в «Индекс». Но если предположить, что произведение Бинштока подверглось запрещению ввиду

¹ *Einführung in die Weltwirtschaft*, Berlin 1927.

его содержания, то даже наци едва ли могли усмотреть в нем отражение «марксизма». Эта небольшая по объему, но богатая по содержанию и прекрасно изложенная работа носит строго объективный характер и отдает лишь слабую дань классовому подходу (показательно, напр. что в ней отмечены резкие расхождения между рабочими организациями разных стран, пристекающие из противоположности национальных интересов). Скорее уж воинственных националистов мог возмутить дух мирного прогресса и сотрудничества народов, которым проникнута книга Бинштока: он подчеркивает, что всемирная экономика начинает принимать характер международного разделения труда, служащего интересам широких масс населения. В Германии Г. О. принимал также деятельное участие, как публицист, в *Weltbühne*, вокруг которой группировались видные прогрессивные немецкие силы в области политики и искусства. После прихода к власти Гитлера журнал этот был перенесен в Прагу, куда переехал и Биншток. Во второй половине тридцатых годов Г. О. переселился в Лондон, где стал постоянным сотрудником *The Nineteenth Century and After*, одного из старейших и авторитетнейших английских журналов. Научная работа Бинштока, на которой к тому времени заметно сказалось влияние немецкого социолога Макса Вебера, также уже не ограничивалась пределами экономики, стремясь к более широкому социологическому охвату жизни народов и их взаимоотношений в прошлом и настоящем, в мирном соревновании и вооруженной борьбе.

В событиях истории Бинштока интересовали, прежде всего, политические и экономические процессы, отражавшиеся на экспансии государств. Такой подход характеризует его книгу о борьбе за Тихий океан². Вышедшая в 1937 г. на английском языке, она обратила на себя всеобщее внимание и тогда же была переведена на французский, итальянский, голландский и др. языки. «Борьба за Тихий океан» может служить образцом геополитического исследования, где историко-географическое, экономическое и военно-стратегическое познание служит уяснению политической проблемы, поставленной ходом мировых событий. Биншток указывает (не забудем — это было еще задолго до событий, развернувшихся в связи со Второй Мировой войной), что европейско-атлантическая фаза всемирной истории приходит к концу и центр тяжести переносится в тихо-

² The Struggle for the Pacific, London-New-York, Macmillan 1937.

океанский мир, где среди столкновения великих держав — Америки, Англии, России и Японии — исполинский образ Китая вновь вырисовывается в качестве первостепенного политического фактора. Мне хочется отметить еще и другую особенность этой книги, характерную для ее автора: она произведение русского интеллигента, в равной мере далекого и от шовинизма, и от забвения государственных русских интересов. Теперь любят представлять политику коммунистического Кремля сеющего мировую смуту, как проявление некоего специфически русского империализма, отличавшего и дореволюционную русскую политику. В изображении Бинштока былой русский империализм ничем не разнится от империалистических вожделений, которыми в девятнадцатом веке была проникнута политика других европейских держав. Тем же свойством отличалась, на первых порах, и политика Америки, когда она вступила в борьбу за Тихий океан. Ибо «геополитика свидетельствует, что поступательное континентальное движение, раз оно завершилось, неизменно имеет тенденцию продвинуться за пределы морских границ». Строгая объективность и понимание истинных русских государственных интересов ни на миг не покидает автора этого замечательного геополитического труда. Указывая на естественность стремлений России к теплому морю, он отмечает, что Русско-Японская война могла бы быть предотвращена, если бы тому не помешала непримиримость русского правительства. В отношении же после-революционной ситуации он предостерегает от опасности, таящейся в смычке русской и китайской революций и, еще более, в зарождении страшного «континентально-евразийского империализма».

Отметим одну характерную черту в писаниях Г. О. Бинштока. Ему в высшей степени было присуще свойственное русскому интеллигенту стремление понять и осмыслить происходящее. Это стремление, как это ни странно, в связи с скептической природой его ума, явилось отправным пунктом религиозно-философских исканий, озаривших последний отрезок жизненного пути Г. О. Как-то он заметил, что изыскания социологов часто отражают детскую привычку задавать вопрос: почему? Научный ответ на этот вопрос гласит: потому. Позитивное знание устанавливает связь между явлениями — и только. И чем более наука выявляет каузальность событий и известную закономерность в их наступлении, тем более становится очевидным что она оставляет без ответа основной

вопрос: «в чем же смысл происходящего?» Критический ум Бинштока чертил строгие границы позитивного познания, а его душа русского интеллигента властно требовала ответа на «основной вопрос».

Выход он нашел в религии. Не в вере, отвергающей знание или контролирующей его достижения, а в религиозно-философском искании, переступающем за пределы эмпирически познаваемого. Но и здесь он не предался ни следованию прописям, ни субъективному фантазированию, равно легким и непродуктивным. Он старался прежде всего познать, что до него другие алчущие света мыслили на тех же путях. Располагавший глубокими познаниями в области западной философии, он с головою ушел в изучение религиозно-философских систем, родившихся на пространстве от Ганга до Тибра (особенно его привлекали мысли основоположников восточного христианства). Несколько лет тому назад, по поводу выпущенной мною книги, Биншток изложил свое кредо в статье «О смысле истории» (Н. Ж., XXI). «Механистическое истолкование истории — говорит он — может объяснить сцепление исторических событий. Оно бессильно дать нам понятие о смысле истории». Его надлежит искать «не в ней самой, а где-то вне ее, в некой мета-истории», открывающей нам, что смысл истории — в борьбе идеи за свое воплощение. «Через человека в историческом развитии воплощается Идея. Явление Богочеловека в середине, а не в конце истории... показывает, что историческая действительность есть лишь выражение какой-то более действительной Реальности».

Чтобы приблизиться к пониманию многогранной личности Бинштока, надо однако помнить, что религиозно-философское искание не отрывало его от действительности и злоб дня. В отношении всего лежащего «по эту сторону» границ познания он попрежнему требовал и от себя и от других критического, основанного на положительном знании, подхода как к научной работе так и к практической политике. После его переезда в Америку вышла составленная им, совместно с другими, книга об управлении промышленными и сельско-хозяйственными предприятиями в Советской России, — работа строго академического характера⁸.

⁸ Gregory Bienstock, Solomon M. Schwartz, and Aaron Yugow. Management in Russian Industry and Agriculture. New York, Oxford University Press, 1944.

Г. О. далеко ушел от революционно-марксистских идей своей ранней молодости. Эта эволюция явилась результатом непрестанных духовных исканий. И всё же в главном он оставался неизменен: никогда он не уклонялся ни на шаг от того, что считал правдой, ни из страха, ни ради материальных благ, так мало его занимавших: он жил в мире идей. На протяжении всей его, прошедшей на моих глазах жизни, Биншток встает перед моим умственным взором как добродушный скептик, с легкой иронией относящийся к другим и к себе самому и со свойственной ему добротой принимавший, как нечто естественное, широкое разнообразие людских взглядов и поступков. Но за фасадом незлобного юмора и снисходительного понимания человеческих слабостей скрывалась несокрушимая стойкость основных этических принципов и твердая вера в необходимость борьбы с большим злом. Всеми фибрами своей души он чувствовал, что таким «большим злом», главным злом современности является коммунистический тоталитаризм.

Эта мысль намечена у него уже в ряде статей, появившихся в *Nineteenth Century* за 1939-40 гг., т. е. еще тогда, когда Европа флиртовала со Сталиным и ее прогрессивные элементы превозносили его как великого строителя социалистической демократии. «Во истину — писал Г. О. — задаешь себе вопрос, что эти господа разумеют под демократией и социализмом?» Он старался объяснить им, что Stalin давно покончил с коммунистической идеологией, что он ненавидит душу человека, «ибо она свободна и божественна. Он ненавидит Бога, ибо Бог — отец свободной души. Он ненавидит христианство и основанную на нем западную цивилизацию, и в этой ненависти он сходится с Гитлером». Предсказывая (в период их дружбы) возможную перемену позиции Москвы, Биншток в то же время подчеркивал, что политика большевиков является неизменно анти-европейской и анти-демократической, и говорил: «не пора ли европейской интеллигенции освободиться от преклонения пред этой сатанинской аморальностью».

И когда это «освобождение», наконец, обозначилось и началась борьба с коммунизмом, он посвятил ей, как редактор русского отдела Голоса Америки, силы своего разума и сердца в течение последних лет своей жизни.

Евг. Кулишер

Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ, КАК ФИЛОСОФ

Имя Бориса Петровича Вышеславцева, скончавшегося осенью 1954 года, хорошо известно многим русским людям. И те, кто слушал его увлекательные лекции, доклады — и те, кто только читал его книги, чтили и чтут Б. П., как выдающегося русского мыслителя, как одного из виднейших представителей нашей философии. Теперь, когда Б. П. отошел в другой мир, более чем уместно обозреть всё его философское творчество, отдать себе отчет в том, что внес Б. П. в сокровищницу русской мысли. Сам Б. П. не подвел итоги своей мыслительной работы, не создал вообще «системы», — его творчество хочется назвать «неоконченной симфонией». Да, его творчество действительно было симфонично, но богатство тем, превосходная «оркестровка» и какое-то благородное изящество его стиля всё же контрастируют с тем, что вся прекрасная симфония его мысли осталась неоконченной... Тем важнее собрать в кратком очерке наиболее ценные и существенные его построения.

Но прежде несколько слов к биографии Б. П.

Б. П. Вышеславцев (1877-1954) по окончании средней школы (в Москве, где он родился) поступил на юридический факультет Московского Университета, где примкнул к той талантливой молодежи, которая группировалась вокруг выдающегося профессора философии права П. И. Новгородцева. Уже в эту пору стали складываться основные интересы Б. П., и когда он уехал в заграничную командировку для работы, то темой своей магистерской диссертации он избрал этику Фихте. Всё характерно в этом сосредоточении на этике Фихте — и то, что Б. П. выбрал того представителя трансцендентализма, который ближе всех стоял к Канту (Шеллинг и Гегель никак не отразились в творчестве Б. П.), — и то, что у Фихте он взял не его гносеологические изыскания, а именно его этику. Выбор темы, работа над Фихте превратили Б. П. в одного из интереснейших представителей философского персонализма; было бы в этом смысле чрезвычайно интересно и заманчиво

сопоставить идеи Б. П. с построениями современных неофихтеянцев. Но здесь не место касаться этого; укажем только, что три основных темы определяли интерес Б. П. к Фихте: проблема Абсолюта в отношении к бытию (как «системе»), основное значение этической сферы в человеке и, наконец, проблема и загадка свободы в человеке. Две последних темы входят в общие рамки философской антропологии, а основные решения в этой области как раз превращают построения Б. П. в утверждение и раскрытие правды и смысла персонализма. Защита персонализма и углубленное понимание его проблем составляет, пожалуй, коренную философскую заслугу Б. П. С другой стороны углубление в тему Абсолюта (которая в первой работе Б. П. ставилась скорее формально) очень скоро привнесло в его творчество религиозные мотивы — и все дальнейшие работы Б. П., его многочисленные этюды в большей или меньшей степени были посвящены проблемам религиозной жизни. Это расширило, но и обогатило его творчество, усложнило, но и углубило его построения, — тем более грустно думать, что значительная часть творчества Б. П. (как это показывает предварительный очерк ненаписанного 2-го тома книги «Этика преображенного эроса») осталась незакрепленной и не выраженной.

После защиты магистерской диссертации (1914 г.) Б. П. стал доцентом, а позже профессором Московского Университета. Но тут как раз разыгралась революция, внесшая крайнее расстройство в университетскую жизнь. Б. П. сблизился в это время с Н. А. Бердяевым, принял живое участие в созданной Бердяевым в Москве Религиозно-Философской Академии, — а в 1922 году, вместе с другими русскими философами и писателями, был выслан заграницу и поселился в Берлине. Здесь он стал ближайшим сотрудником воссозданной в Берлине трудами Н. А. Бердяева Религиозно-Философской Академии, вместе с Бердяевым переехал (в 1924 году) в Париж, вместе с ним редактировал журнал «Путь», был связан близко с YMCA-Press. Во время оккупации Франции Б. П. на время попал в Швейцарию, где и оставался до конца дней. В годы пребывания Б. П. в Париже он был проф. Богословского Института (по кафедре нравственного богословия).

Б. П-чу принадлежит много выдающихся работ и этюдов. Кроме его первой книги «Этика Фихте», самым значительным его трудом является книга «Этика преображенного эроса» (том I, Париж, 1932 год; том II, темы которого уже были намечены в предисловии к I-ому тому, так и остался ненаписан-

ным). В течение ряда лет Б. П. написал ряд ценнейших этюдов, помещая их в русских, немецких и французских журналах. Особо надо помянуть ближайшее его участие в создании сборника (опубликованного экуменическим центром в Женеве) — *Kirche, Staat und Mensch* (Genf, 1937 г.) — в этом сборнике Б. П. принадлежат две статьи «об образе Божием в человеке».

Еще с 1922 года, когда Б. П. попал снова заграницу, он занялся особенно усиленно вопросами так наз. *Tiefpsychologie*. Философские интересы Б. П. были вообще широки и разнообразны, и он постоянно следил за всем, что выходило значительного по философии на всех языках, но вопросы *Tiefpsychologie*, вообще вопросы внутренней жизни человека стали в центре занятий Б. П., примыкая к центральным в творчестве Б. П. этическим вопросам. Религиозная литература о внутренней жизни (как христианская, так и внехристианская — особенно много занимался Б. П. индуизмом, памятником чего остался его этюд «Сердце в христианской и индусской религии»), литература философская и психологическая (преимущественно из школы знаменитого цюрихского психолога Jung'a) были изучены Б. П. очень тщательно и подробно. Насколько уже тогда Б. П. владел всем относящимся сюда материалом, — это прекрасно видно из его книги «Этика преображеного эроса». Но к концу 30-х годов Б. П. стал усиленно работать еще по вопросам социального характера; между прочим он много размышлял (и писал) о влиянии массовой психологии на современную жизнь. Многочисленные заметки, конспекты, публичные лекции лишь отчасти отразились в его замечательной (предсмертной) книге «Кризис индустриальной культуры». Несколько ранее он опубликовал (под псевдонимом Б. Петрова) блестящий этюд под заглавием «Философская нищета марксизма» — очень яркий и проницательный анализ основных построений марксизма (в философском отношении).

Б. П. работал неутомимо. Будучи настоящим философом большого стиля, Б. П. не спешил с приведением в систему своих размышлений и построений, а наоборот отдавал свои силы на дальнейшие анализы и углубление основных тем. Философское исследование привлекало его больше, чем систематизация его идей. Будучи последователем Фихте, Б. П. сравнительно мало занимался вопросами гносеологии; мало работал он и по вопросам космологии, — но за то все, что входит в область этики и философской антропологии, что хотя бы издалека касается ее, привлекало всецело его внимание. Б. П. писал превосход-

ным русским языком; говорил он, пожалуй, еще лучше, чем писал, но все его книги, статьи, этюды написаны блестяще, — ясно, всегда остро и увлекательно. Этот стиль в его ранней книге о Фихте был уже в полной мере выражен, но быть может, наиболее ярким свидетельством стилистического таланта Б. П. является его замечательный этюд «Философская нищета марксизма».

Обращаясь к изложению философских взглядов Б. П., приведу одну его формулу (из книги «Этика преображенного эроса»)¹, которая как бы суммирует вкратце сложную диалектику его идей и является введением в основные построения Б. П. Вот эта формула (она принадлежит к среднему периоду творчества Б. П.): «человек живет, существует, мыслит и действует лишь в *реляции к Абсолютному*». Всё в человеке *сопряжено* с Абсолютом — независимо от того, знаем ли мы это или не знаем, хотим ли мы этого или не хотим. Конечно, в том или ином освещении эта идея постоянно утверждалась в философии, но то понимание ее, которое развил Б. П. (и в котором он не раз приближается к Мальбраншу, хотя, как мне кажется, сам Б. П. не сознавал этого), не только оригинально, но имеет то преимущество, что оно помогает распутывать сложнейшие соотношения в динамике моральной жизни, вообще во внутреннем мире человека — особенно в теме свободы. Связь человека с Абсолютом отмечена Б. П. и в другой формуле, которую он выражает в словах: «аксиома зависимости», понимая, однако, эти слова совсем не в том смысле, как в свое время развивал Шлейермахер — но мы еще будем иметь случай коснуться этого вопроса.

Б. П. хорошо знал различные гносеологические течения, сам прымкал к послекантовскому трансцендентализму, но вопросы гносеологии мало интересовали его. У Фихте, которого он превосходно знал, его привлекала главным образом этика, — а в гносеологии Фихте его интересовало преимущественно то, как Фихтеправлялся с темой *иррациональности*. Для философских размышлений Б. П. это необычайно характерно; сфера рациональности, если не закончена доныне в своем анализе, то всё же давно стали ясны диалектические взаимоотношения внутри ее, — но в то же время еще более ясны *границы* рациональности. Философское же внимание

¹ Чтобы не загружать изложения, я нигде не указываю, кроме редких случаев, откуда взята мной та или иная цитата.

Б. П. устремляется к тому, чтобы критически подойти к тому, что лежит *вне* рациональной сферы. Как раз для рациональной сферы характерна ее «структурность», что в порядке познания влечет нас к построению «системы» — законченной в себе и замкнутой. Но за пределами рациональной сферы находится иная сфера — «бесконечное», «неисчерпаемое» — то, что не может быть рационализовано, что не вмещается в «систему». Вышеславцев смело и настойчиво борется за то, чтобы философски овладеть этой «бесконечностью» внерациональной сферы, — даже больше: вопреки обычному тяготению философской мысли к тому, чтобы подчинить всё бытие категориям разума, Вышеславцев стремится подняться над этим. Тут уже он подчеркивает, что для обеих сфер бытия (рациональной и иррациональной) одинаково характерна *претензия на абсолютность*, и это чрезвычайно важно для того, чтобы надлежаще овладеть соотношением двух сфер. Конечно, ни одна из них не исключает другую, — но если иррациональная сфера законно претендует на абсолютность по ее беспредельности, бесконечности, то ведь и в сфере, поддающейся рационализации, есть тоже бесконечность, напр., в факте развития, особенно в этических движениях души.

Разбираясь в открывавшейся здесь проблематике, Б. П. с большим успехом использует построения знаменитого математика Кантора, точно и ясно различавшего два типа бесконечности: «потенциальной» и «актуальной». Потенциальная бесконечность — это реальное бытие в его подвижности и изменчивости; при рационализации этого бытия мы стремимся замкнуть его в «систему», — а система есть уже актуальная бесконечность (актуально бесконечное, по определению Кантора, есть бесконечное в собственном смысле, так как оно имеет определенную, постоянную величину — в отличие от переменной, и потому неопределенной, величины в потенциально бесконечном). Но самая устремленность живого бытия к актуальной бесконечности и вносит момент бесконечности в это реальное бытие. «Как целое, — пишет Б. П. — мир есть актуальная бесконечность, и эта актуальная бесконечность существует везде и всегда». «Актуальная бесконечность есть *система*, а не просто обещает быть *системой*», она есть «*всёединство*». Используя эти построения Кантора, Вышеславцев и стремится разрешить гносеологическую антиномию «системы» и «бесконечности» или иначе — антиномию рациональной и иррациональной сферы, которую Б. П. нашел у Фихте и исходя из которой он пролагал себе путь во всех своих размыш-

лениях. Однако, если и потенциальная, а особенно актуальная бесконечность *претендуют* на абсолютность, то и та и другая всё же *не являются Абсолютом*. В этом пункте Б. П. тоже следует за Кантором: Абсолют, по выражению Б. П., «живет за стеной противоположностей актуальной и потенциальной бесконечности». Абсолютное неисчерпаемо, оно не исчерпывается никакой идеей (а всякая идея в себе есть уже актуальная бесконечность), философия поэтому лишь приводит нас к понятию Абсолютного, она только не может *исходить* из него, не может развивать из понятия Абсолюта ничего, не может трансцендентально воссоздавать бытие; в этом пункте Б. П. не идет ни за Шеллингом, ни за Гегелем. В том то и состояла, по мнению Б. П. (и он, конечно, прав в этом), ошибка Гегеля, что он принимал актуальную бесконечность за Абсолют; в этой ошибке, как известно, повинен и Влад. Соловьев, а за ним и вся его школа. Вышеславцев выгодно отличается от этой плеяды русских философов тем, что он, несмотря на всё свое увлечение неоплатонизмом, освободился от тех его чар, которые у Соловьева и его последователей имели роковое на их построения влияние. Только Н. О. Лосский, да В. Д. Кудрявцев оказались в русской философии вместе с Б. П. свободными от неоплатонизма (в его роковых для христианской метафизики моментах). Б. П. писал: «Абсолют выше вселенной, выше актуальной бесконечности. Актуально бесконечны все ступени бытия, но Абсолютное нельзя отождествлять ни с одной из этих бесконечностей». Тут же Б. П. прибавляет: «иррациональность Абсолюта не есть крушение разума, отрицание разума — наоборот к нему (т. е. Абсолюту) приводит сам разум».

Абсолютное потому и иррационально, что оно лежит *в основе* всякого рационального построения, — потому иррациональность, замечает Б. П. (в книге, посвященной философскому анализу марксизма) и уводит нас от метафизики Абсолютного Духа (т. е. от Гегеля). Эти основоположные идеи (развитые в книге «Этика Фихте») в дальнейшем направили мысль Б. П. на религиозные темы, ибо, как он говорит в одном месте, «в абсолютизации (т. е. обращенности к Абсолюту) и заключается сущность религиозного импульса». «Религиозная жизнь, поясняет Б. П. в другом месте, поконится *на аксиоме зависимости* от «Абсолютного Существа». Эта формула лишь внешне напоминает, как мы уже указывали, учение Шлейермахера: в отношении к Универсу, справедливо подчеркивает Б. П., человеческое Я и мистически и метафизически само не-

зависимо. Если в первой стадии в развитии нашего самосознания мы еще признаем свою зависимость от природы, то затем мы неизбежно переходим к чувству независимости нашего я от природы, даже некоей абсолютности я, — «эта независимость я от природы переходит наоборот, пишет Б. П., в утверждение зависимости вселенной от меня». «Вообще, говорит Б. П., упомянутая выше «аксиома зависимости» теряет свой религиозный смысл, если истолковать ее, как зависимость от вселенной в духе пантеистического натурализма и универсализма». Поэтому аксиома зависимости имеет трансцендентальный, а не имманентный смысл. В этом пункте. Б. П. делает одно существенное указание, которое является очень важным для понимания диалектики человеческого духа. Зависимость я от Абсолюта и одновременная независимость я от вселенной ведут к своеобразным трудностям в духовной жизни: если зависимость от Абсолюта, совсем непохожая ни на какую зависимость от мира, от вселенной (даже от сферы ценности), связывает нас с Абсолютом, то наоборот независимость от вселенной ведет к самоутверждению я. «Независимость, суверенность я, пишет Б. П., усматривается раньше и легче, нежели зависимость от более высоко, предельно высоко стоящего Абсолютного. Интуиция самого себя (в суверенности «я») легче, нежели интуиция Абсолюта». Это очень глубоко вводит нас в диалектику движений человеческого духа: если мы всегда обращены к абсолютному, то момент абсолютности в нашем я (в смысле независимости от вселенной) легче и скорее встает в сознании, нежели подлинно Абсолютное, в отношении к которому мы сознаем свою зависимость. Поэтому наша «реляция к Абсолюту» как раз и освобождает наш дух от зависимости от мира, поднимает нас над миром — и тем самым *релятивирует мир*. Посколько самое постижение мира есть его релятивизация, постольку наше познание трансцендентально описывается на «реляцию к Абсолютному».

Все предпосылки этики зафиксированы в этой системе идей, — и в дальнейшем Вышеславцев целиком обращается от гносеологии к антропологии, к исследованию человеческого духа, — от Фихте, от трансцендентализма он обращается к *Tiefpsychologie*. Это обращение к этической реальности, необходимо, чтобы уяснить моральный процесс, совсем не обрекло Вышеславцева на психологизм. Он был совершенно свободен от подмены философского анализа психологическим, но если «реляция к абсолютному» есть основа духовной жизни

(«человек живет, существует, мыслит и действует в реляции к Абсолютному»), то как в действительной моральной жизни дух наш охраняет в себе эту «реляцию к Абсолюту»? От Фихте Вышеславцев вынес идею свободы, но *есть ли в свободе путь к Абсолюту?* Чтобы разобраться в сложной и запутанной сфере моральных движений, надо войти в нее до конца — и это и заставило Б. П. заняться *Tiefpsychologie*. Когда (с 1922 года) он снова оказался в Германии, он занялся тщательным изучением соответственной литературы, — особенно близки оказались ему два автора, Jung и Baudouin. Отныне центральным понятием в исследованиях Б. П. становится понятие *сублимации*, т. е. той силы, тех процессов, в которых низшие (в этическом смысле) движения преображаются («поднимаются») в высшие. Как это было связано с предыдущими построениями Б. П. будет видно из дальнейшего. Понятие сублимации оказалось своеобразным, универсальным ключом, с помощью которого Б. П. удалось проникать в самые различные закрытые соотношения в духовной жизни. С другой стороны, рядом с понятием сублимации стоит у Б. П. и формулированный Baudouin'ом закон «*Loi de l'effort converti*». Б. П. переводит эту формулу, как «закон иррационального противоборства» (подробности см. в книге «Этика преображеного эроса», стр. 55 ff.). С помощью этих двух законов Б. П. дает сначала новое и в высшей степени проницательное истолкование динамики моральной жизни, а затем на основе этого развивает учение о смысле, проявлениях и границах свободы в человеке. Обратимся сначала к первому.

Моральная сфера характеризуется понятием «нормы», морального закона, — и человеческое сознание всюду и всегда создает «мораль закона». Но увы, вековой опыт приводит к признанию *бессмыслицы закона* в регуляции духовной жизни. В блестящей форме, ясно и исчерпывающе Вышеславцев, боясь известное противопоставление закона и благодати у ап. Павла, показывает, что закон не помогает нам овладевать душевными движениями. В порядке уяснения *принципов* морали этика закона является бесспорно «самой возвышенной этикой, какая мыслима до Христа и вне Христа», пишет Б. П. Но вся трагедия этики закона заключается в том, что «он (закон) достигает противоположного тому, к чему стремится: он обещает оправдание, а дает осуждение». В свете закона наша жизнь оказывается накоплением грехов — сам по себе закон не исцеляет от них, а только констатирует («осуждает») — он дает нам правила поведения, которые мы не в состоянии осуществлять

(ярко выражает это ап. Павел в известном месте в послании к Римлянам: «не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю»). Страницы, посвященные у Б. П. «бессилию закона», представляют замечательнейшее истолкование учения ап. Павла о том, «что делами закона не оправдается никакая плоть». Почему? Откуда «бессилие закона»? На это Б. П. отвечает: «закон есть рациональное правило, обращающееся к уму, к сознательной воле»,... между тем в человеке действует иная сила — сила «иррационального противоборства». Наличность «рядом» с моральным законом, обращающимся к сознанию, закона «иррационального противоборства», действующего в сфере подсознания, объясняет нам «бессилие» морального закона, который не имеет, так сказать, иной точки приложения, кроме нашего сознания, и не в состоянии овладеть сферой, лежащей ниже сознания. Выход из этого тупика может быть, очевидно, найден лишь «через овладение подсознательными силами души», что и осуществляется, по Вышеславцеву, через сублимацию их. Христианская этика, покоящаяся вообще не на «законе», а на освящающей силе благодати, как сейчас увидим, и есть как раз *этика сублимации*.

Но прежде обратимся к уяснению самой сублимации. Примыкая к *Vauclusin* и другим, Б. П. развивает учение о том, что сублимация осуществляется через *воображение*. Образы, *зовущие* к себе, помогают душе подыматься до высших форм духовной жизни, и поскольку «подсознание» повинуется только воображению (а не предписанию закона), постолько преображеніе низших движений в высшие возможно лишь благодаря «призыва» (зовущей силе) «прекрасного образа». Заметим тут же, что, разделяя взгляды новейшей психологии о действии воображения, Б. П. вносит в них существеннейшие поправки, привлекая тему свободы в человеке; как мы увидим дальше, и сами движения свободы нуждаются еще в сублимации. Но пока подчеркнем, что сублимирующая сила входит в душу от той сферы, которая «зовет» к себе. Тут Б. П. и начинает решительно отходить от современной *Tiepsychologie*, так как *Tiepsychologie* понимает процессы сублимации, как процессы «самовнушения», но при этом «она не знает, что внушать», т. е. не знает, где искать источник сублимирующей силы. «Весь грандиозный замысел этики сублимации, пишет Б. П., — есть ведь не что иное, как гениальная попытка *обойти* *«Loi de l'effort converti»*, — но чтобы поднять наш дух на необходимую высоту, сублимирующая сила (действующая через воображение) должна вдохновляться «свыше». Сила

сублимации реализуется из глубины эроса (в его постоянном устремлении ввысь — к бесконечности), — но при условии, что «свыше приходит зовущая сила». Можно было бы уже здесь просто сказать: нужна *благодатная* помощь свыше — и тогда возможно преображение низших движений в высшие. Но поставить здесь точку значит обойти существеннейшую сторону человеческого духа — свободу. Как сочетать свободу с этим обращением к зовущей ввысь благодати? Тут мысли Б. П. подымаются как бы по горной тропинке, чтобы вывести нас туда, где благодатное действие свыше не устраниет свободы, где процессы сублимации утверждают, а не подавляют личность.

Если мы овладеваем подсознательной сферой, чтобы «обойти» закон иррационального противоборства, если это овладение совершается через воображение, которое подымает «эрос», преображая его, то не связана ли сублимация с пассивностью (что обычно и усваивают этике благодати)? Но для Вышеславцева ясно, что в динамике моральной жизни существует еще одна сила — свобода человека, — и эта свобода так же может противиться «закону», как противится и сфера подсознания. Не только плоть тянет нас «вниз», но «вниз» (ко злу) может тянуть и наш дух — он свободен в этом. Этика сублимации, как мы ее строили до сих пор, не может «обойти» свободу. Поэтому без углубления в тему свободы весь замысел этики сублимации теряет свою реальность, — и здесь Вышеславцеву надо было до последних глубин исследовать идею свободы. На этом пути он одержал одну из самых трудных, но и плодотворных побед.

Иррациональная сфера, как источник «иррационального противоборства» и как причина «бессилия закона», до сих пор рассматривалась — в соответствии с современной *Tiepsycho-logie*, — как проявление сферы подсознания, точнее проявление «плоти». При таком понимании сублимация движений эроса (их преобразование из низших форм в высшие) открывала путь к реализации идеальных задач, встающих в нашем моральном сознании. Сейчас же мы подошли к расширению понятия «иррациональной сферы», включив туда «стихию свободы». Какой свободы? Не простой, конечно, спонтанности, как игры эмоций, но и не так называемой моральной свободы (суть которой, по общему пониманию, заключается в торжестве разума над «неразумными» движениями души, в торжестве требований морального сознания), ибо в этой моральной

свободе *нет именю свободы*. Между тем человеческому духу присуща свобода — в смысле «чистого» произвола, вне всякой мотивировки (по формуле «человека из подполья»: — «хочу по своей глупой воле пожить»). Реальность *такой* свободы бесспорна, — мы имеем здесь дело с абсолютным «произволом», который и дает нам жуткое ощущение беспредельности нашей свободы («всё позволено»).

Этот чистый произвол может быть обращен к добру, но может обратиться и ко злу; *этическая тема в том* только и состоит, чтобы уяснить, *как преобразить этот чистый произвол*, чтобы он был всецело обращен к добру. Но к преображению чистого произвола *можно только призывать*, — иными словами преображение *это должно быть само актом свободы*. Благодатная помощь свыше может помочь, только опираясь на свободную самоотдачу личности навстречу «благодати», — но можно ли так преобразить «чистый произвол», чтобы обращение к добру было не случайным капризом воли, а устойчивым, внутренно окрепшим? Если такая сублимация, исходящая из вольной устремленности к ней, возможна, тогда мы имеем разрешение темы свободы. Вышеславцев усиленно развивает мысль о возможности такой сублимации, — она ему тем более нужна, что в ней завершается проблема этического восхождения ввысь — не на путях принуждения (хотя бы и самопринуждения, как в этике долга), а на путях всецело самоотдачи добру. Вот ступени этой творческой силы в сублимации: первая ступень характеризуется тем, что в ней «прекрасный образ» освобождает нас от власти низших форм эроса и подымает ввысь движения души; здесь сказывается творческая сила воображения в преодолении «иррационального противоборства». За этой стадией открывается впервые функция свободы (выбора между различными путями действования), но в силу природной («эротической») устремленности духа ввысь возможна и сублимация свободы, т. е. переход от случайных движений свободы к такой свободе в сторону добра (вообще ценностей), которая будет уже не случайна, а будет иметь глубокие корни в нашем духе.

Эта ступень сублимации мыслима лишь там, где духу открыта самая перспектива высшего бытия, т. е. Абсолют. Если бы она не открылась нашему духу, нами владел бы только произвол, сублимация которого не была бы возможна, но такова природа вложенного в человеке эроса, что он влечет нас всё выше и выше. Итак, если над миром нет Абсолюта, то сублимация свободы, ее преображение оставались бы нереализуе-

мыми; если нет благодатных лучей, зовущих нас восходить к Абсолюту, мы оставались бы с переменчивостью чистого произвола, которая обычно присуща нашему духу. Но тем, что душа наша по самой своей природе обращается всецело и вольно к Абсолюту, ищет его, наша этическая жизнь на этой высшей, своей стадии становится уже жизнью религиозной. Душа наша может, конечно, и не последовать призыву свыше, может отказаться от благодатных озарений, но тогда это будет «игра на понижение»...

Вместо подлинного творчества (неосуществимого вне связи с Абсолютом) была бы пустая претенциозность, вместо слияния с Абсолютом (путь «богочеловечества») было бы обожествление самого себя (путь «человекобожия»). Момент абсолютности неустраним вообще в нашем духе — и если мы не обращены к подлинно абсолютному (что дает нам силу релятивировать содержание бытия), мы неизбежно будем абсолютировать свое «я». Где не реализуется сознание зависимости от Абсолюта, там возникает обожествление себя. Это так напоминает слова Кириллова (в «Бесах»): «если нет Бога, то я Бог»...

Так размышления Б. П. вернулись к той теме Абсолюта, которой он был занят в своей первой книге — изучение реальных движений в моральной сфере души, изучение закона «иррационального противоборства», обрекающего моральный закон на бессилие, привело через понятие сублимации к уяснению неотмыслимости для нас Абсолюта; система этики, совмещающая живую реальность этических исканий с верховым понятием Абсолюта, построена. Это есть система сублимаций, преобразующих две движущие силы духа — эрос и свободу, — система, отвечающая глубочайшей потребности духа насытить неутолимую потребность «реляции к Абсолюту».

Мы изложили очень схематически учение Вышеславцева о реальных предпосылках этической жизни; его основная книга («Этика преображенного эроса») можно сказать насыщена различными добавочными идеями, но нам невозможно входить в это. Вышеславцев не построил метафизики личности, не дал в этом смысле метафизической базы для персонализма, но вся сложность этического начала в человеке понята им и раскрыта с большой силой. Выведение всей этической жизни из Эроса связывает моральные процессы с «природой» человека, но в этом нет и следа натуралистического подхода к этической проблематике, так как последней основой моральной жизни яв-

ляется свобода (как «чистый произвол»). Как система этического персонализма, это дает предельно четкое выражение независимости личности от мира при зависимости ее от Абсолюта. Но, конечно, персонализм, вытекающий из анализа этической жизни в человеке, требует своего раскрытия в метафизике человека. Вышеславцев рассыпал не мало намеков на метафиизику личности в своих книгах, но не связал и не углубил этих намеков. Это не уменьшает ценности анализов, развитых Вышеславцевым, — миновать их при построении системы этики совершенно невозможно, настолько существенны основные идеи Вышеславцева в этой области.

Заканчивая статью, считаем уместным сделать несколько критических замечаний по поводу философских построений Б. П.

Привлечение идей Кантора к истолкованию соотношений мира и Абсолюта выгодно отличает Б. П. от построений Влад. Соловьева и всей его школы (Флоренского, Булгакова, Карсавина, Франка). Но у Б. П. нет того понятия, которое единственно связывает Абсолют и мир, понятия *творения*. Метафизическая значительность и даже центральность этого понятия как то ускользнула от внимания Б. П. С другой стороны, в раскрытии этического аспекта персонализма у него нет ни метафизической основы персонализма, ни того понятия индивидуальной «судьбы» (или «креста» в христианской терминологии), без которых нет завершения в системе персонализма. Если мы живем «в реляции к Абсолютному», то каков же конечный пункт этой обращенности к Абсолюту? Ранняя христианская этика выработала понятие «теозиса» (обожжения), чтобы обозначить конечный результат восхождения ввысь. К сожалению, Б. П. не связал свою этику с этим понятием. С другой стороны, в его учении о сублимации отсутствует момент *труда* (во внутреннем смысле слова). Идея сублимации очень легко ведь могла бы быть связана с кардинальным в христианской этике понятием «невидимой брани», — особенно это важно в учении о сублимации свободы. Замечательные построения Б. П. в этой области и должны быть восполнены в указанном направлении. Если Б. П. постоянно утверждал, что новая этика должна быть этикой благодати, то не нужно забывать, что «лишь употребляющие усилия восхищают Царство Божие».

Мы не развиваем наших замечаний — наша цель была лишь ввести читателей в круг философских идей Б. П.

Прот. В. Зеньковский

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНДИЯ

Приглашение ехать в Индию пришло к нам совсем неожиданно. Ни я, ни моя жена никогда не думали об Индии, как возможном месте для нашей работы. Но сама эта неожиданность и побудила нас ответить утвердительно на предложение стать во главе только что открытого Православного колледжа в Траванкоре.

Траванкор самая южная, самая красивая и самая образованная часть Индии. Это единственная провинция, где 33% населения христиане и большинство из них принадлежит к разным разветвлениям ее древней Православной Церкви. Она мало известна за пределами Индии, так как в течение своей долгой и трудной истории, она была отрезана от остальных Православных Церквей.

Согласно преданию, сам Апостол Фома положил основание Православной Церкви в Южной Индии, которая сохранила до наших дней свою независимость и свою верность Апостольскому учению.

За последние десятилетия эта ветвь Восточного Православия стала давать новые ростки, она вместе с остальной Индией стярхнула с себя прежнее оцепенение и почувствовала свою ответственность за судьбы христиан в этой огромной языческой стране.

Одним из следствий этого обновления было и решение руководителей этой Церкви пригласить меня, как Православного богослова из Европы, возглавить их новый колледж.

Десять месяцев, проведенных среди православных траванкорцев, близко познакомили меня с ними, научили меня любить и уважать их. Этот опыт убедил меня также в необходимости более тесного общения с ними, так как в настоящее время они нуждаются в братской помощи других православных церквей.

Для того, чтобы понять место Православия в жизни современной Индии, следует остановиться на той культурной революции, через которую проходит сейчас вся страна.

Наш колледж и отражал и углублял ее.

Местечко Патанамтита, где нам пришлось работать, было расположено среди рисовых полей и пальмовых рощ центрального Траванкора. Страна, окружавшая нас, представляла из себя огромный тропический сад. Благодаря ежегодным ливням, которые буквально заливали эту часть Индии с июня по сентябрь, она не страдает от засух,

как другие провинции и потому она является одной из самых густо населенных стран света.

Желание дать высшее образование своим детям стихийно охватило даже беднейшие слои ее населения и в результате этого движения многочисленные колледжи возникли не только в городах, но и в глухой провинции, одним из таких «деревенских» университетов был и наш колледж. Мне удалось таким образом познакомиться с Индией еще мало затронутой западной культурой, но уже начинающей сдвигаться со своих вековечных устоев и ищущей новых путей жизни. Наш колледж был построен на вершине холма, с которого открывался чарующий вид на горы и долины Траванкора. Каждое утро в 10 ч. толпы студентов и студенток, их было 530 человек, — наполняли лекционные залы и лаборатории и оставались в них до 4 часов. Огромное большинство из них были дети окрестных крестьян. Каждый день они приходили пешком из своих скромных жилищ, раскинутых по всей равнине, не обращая внимания ни на тропическое солнце, ни на тропические дожди. Босиком, в своих белых одеждах, они представляли из себя веселую и жизнерадостную толпу молодежи, горячо отзывающуюся на всякое проявление внимания и ласки, полную желания добиться университетской степени и начать новую более интересную жизнь, чем ту, которая была уделом их родителей и предков.

Они — будущие водители Индии и я с интересом присматривался к их психологии, сопоставляя ее с мировоззрением Оксфордского студенчества, которое я учил до поездки в Индию.

Новый и необычайный мир открылся вскоре передо мною. Его оригинальность состояла в причудливой смеси Восточного Средневековья с новейшими идеями Запада.

Как студенты, так и преподаватели колледжа принадлежали ко всевозможным кастам и исповедовали различные религии, но большинство из них были православные христиане. Сравнивая их с европейской молодежью я был удивлен их оптимизмом и верой в науку. Они не были заражены сомнениями и скептицизмом; они ожидали от профессоров исчерпывающих ответов на все вопросы жизни. Они птили полное доверие к их мудрости и знаниям. Однажды я предложил одному из моих студентов книгу по истории. Он деликатно отказался от нее, заявив мне: «Мой профессор прочел все лучшие книги по этому предмету и в своих лекциях он дает нам их заключения. Если я сам начну читать, я только запутаюсь в их противоречиях».

Патриархальный строй и уважение к старшим всё еще царят среди них. Когда я спрашивал студентов, что они хотят делать по окончании учения, многие из них отвечали: «Мое будущее в руках Божьих и моих начальников. Я готов выполнить их волю».

Атеизм и даже маловерие еще не коснулось этой молодежи. Они все начинали и кончали день молитвой и усердно посещали церковные богослужения.

Касты до сих пор резко разделяют индусов на необщающиеся между собою группы, но в колледже они уже не имели значения. Молодые брамины, христиане и даже дети париев вместе учились и играли и дружили друг с другом. Зато непроходимая стена отделяла студентов от студенток. Они слушали те же лекции, но сидели на отдельных скамейках и никогда не разговаривали друг с другом. Если какая-нибудь девица решилась бы обменяться своими мыслями со студентом, она подверглась бы опасности никогда не выйти замуж. Пример служения народу, данный Ганди, находит широкий отклик в сердцах студенчества и все они горячо обсуждают пути социальной работы, но несмотря на эти высокие идеалы, страх оказаться социально деградированным всё еще силен в их среде. Я помню как я был удивлен вскоре по моему приезде, когда я попросил студентов переставить скамейки в лекционном зале для их же собственного собрания и получил от них ответ, что они не «кули» и что эта работа не соответствует их достоинству. Такая же смесь новых идей и древних верований царят и в их отношениях к окружающему миру. Профессора, которые преподавали химию и физику часто рассказывали мне странные случаи колдовства и заклинаний и приводили примеры таинственной силы присущей животным, в особенности слонам и змеям. Многое, что кажется неправдоподобным человеку городской культуры, становится менее невероятным в атмосфере Индии или Африки. Меня поэтому не поражали самые рассказы, несмотря на их необычайное содержание, но удивляло отсутствие какой-либо попытки сочетать их с теми научными дисциплинами, которые преподавались ими в колледже.

Колледж в Патанамтице был лишь одним из многих рассадников нового мировоззрения, которое сейчас быстро проникает в толщу всего народа. Его студенты и преподаватели жили в двух не соприкасающихся друг с другом мирах и это было типично для состояния умов современной индийской молодежи.

Лозунги демократии с их утверждением равенства всех людей повторяются теми, кто верит, что парии искупают грехи, совершенные в предыдущих воплощениях и что каждое соприкосновение с ними оскверняет человека. Высшее образованиедается девушкам родителями, которые приходят в ужас при мысли, что дочери посмеют заговорить со студентами. Молодежь, горящая желанием помочь социально обездоленным, рассматривает физический труд, как унижающий человека.

Все эти противоречия меньше чувствуются в больших городах,

но они во всей своей силе проявляются в жизни деревенской Индии, а Индия до сих пор преимущественно состоит из земледельческого населения.

Современные водители страны хотят построить новую Индию на основе обновленного индуизма. Они надеются, что демократический строй, индустрия и точные науки могут быть привиты к стволу язычества.

Они уверены, что они сумеют объединить в единое целое древние верования и новые принципы, которые представляются несовместимыми для западного человека, привыкшего к логическому мышлению. Индия всегда отличалась даром синкретизма и это была и есть ее сила и ее слабость. Поэтому необходимо с осторожностью подходить со своими мерками к людям иной культуры. Но все же при сматриваясь к состоянию умов студентов моего колледжа, я сильно сомневаюсь в успехе подобной смеси восточного язычества и западной цивилизации, которая преподается им в университетах. Современное высшее образование в Индии строится на теории, что христианство, индуизм и ислам ничем существенно не отличаются друг от друга, а так как все религии одинаковы, то не стоит терять времени на серьезное изучение ни одной из них. Результатом подобного убеждения является исключение всякого религиозного образования из школ Индии. Умы студентов наполняются мало связанными отрывками знаний по всемирной истории, английской литературе, физике, химии, математике и логике. Их учат предметам, которые не подготовляют их к руководству жизнью своего народа и которые поощряют малообоснованный оптимизм и розовый идеализм в их среде.

Перед Индией стоит трудная задача стать передовой нацией, не оторвавшись от своих древних истоков. Демократическая республика, дающая каждому право участвовать в выборах, социальное обеспечение, равенство всех перед законом, все эти достижения заимствованы Индией от христианства. Их же собственная религия с ее учением о перевоплощении души, с ее верованием, что лица, страдающие от болезней и нищеты, несут заслуженное наказание за грехи, совершенные в предыдущие существования, с ее отрицанием реальности физического мира, находится в открытом противоречии с тем новым строем, который поспешно воздвигается на развалинах прошлого. Индия пытается воспользоваться плодами христианства, не становясь христианской нацией. Она хочет продолжать поклоняться своим древним божествам, Браме, Вишне и Сиве и вместе с тем следовать Евангельскому учению о Боге и человеке.

Я часто ставил вопрос себе, почему так упорно индузы отказываются принять христианство? Сможет ли когда-нибудь Индия занять влиятельное место в среде христианских народов? На эти во-

просы нелегко дать удовлетворительный ответ, ибо причины неудачи христианской проповеди в Индии лежат как в психологии индусов, так и в поведении христиан.

Самоудовлетворение является главным препятствием, мешающим индусам их встрече со Христом. Они рассматривают свою религию, как вершину человеческой мудрости, и видят во множестве богов, которым они поклоняются, доказательство ее всеобъемлемости. Они гордятся разнообразием философских и богословских систем, из которых состоит индуизм, а также своей веротерпимостью, и считают, что они способны совместить весь религиозный опыт человечества. Они склонны смотреть на христианство, как на религию слишком прямолинейную, которая не принимает во внимание всю сложность и таинственность процесса жизни. Индус готов даже признать Иисуса Христа за Сына Божия, но при условии, что таковыми же будут считаться те мудрецы и учителя, которых он привык почитать, как обладающих божественными свойствами. Многие индузы называют себя последователями Христа и противниками христианства. Это отрицательное отношение к Церкви связано с особенностями миссионерской работы в Индии. Она началась в широком размахе в прошлом столетии. Миссионеры со всех концов мира устремились в Индию и принесли с собою не только раздробленное христианство, но и ярко окрашенное в различные национальные цвета.

Однажды я имел разговор с одним из популярных писателей Индии. Он заявил мне, что давно уверовал в истину христианства, но не имеет возможности стать членом Церкви. «Если я стану римо-католиком, сказал он мне, то мне придется молиться Богу на чуждом мне латинском языке. Если я буду лютеранином, то я должен буду изучать германскую теологию, настолько отличную от моего миропонимания, что даже богословские понятия Лютера почти не переведимы на мой язык. Мне предлагают стать американским методистом, англиканином, шотландским пресвитерианином или уэльским баптистом, я же хочу быть христианином и вместе с тем оставаться представителем своего народа, и я не вижу как я могу осуществить это».

Только побывав в Индии становится понятным, почему индузы рассматривают христианство как религию исключительно западную и потому чуждую им. Церковные здания, обычаи, даже самая форма молитвы, как например, сидение на скамейках, всё это чуждо духу Индии и потому христианские миссионеры, несмотря на свои самоотверженные труды, мало успевают в распространении своей веры.

Таким образом западные вероисповедания будь то римо-католицизм или англиканство или различные виды протестантизма в

своей раздробленности не могут обратить Индию в христианство.

Каково же положение, занимаемое Православной Церковью Траванкора в этой трудной задаче? Сможет ли она более успешно приступить к ее выполнению?

Эта Церковь, которую мне удалось так близко узнать, отличается от всех других церквей своим подлинно индийским умонастроением. Она не родилась в результате миссионерской деятельности прошлого столетия, а существует уже почти две тысячи лет. Однако, она в ее современном состоянии неспособна занять подобающее ей место Матери-Церкви этой великой страны. Ее глубокая укорененность в жизни своего народа является одновременно и причиной ее неподвижности. Каждая страна имеет свой дар, который может стать и ее недостатком, если он не используется творчески народом.

Дар Индии — это верность семье. Ради семьи индус готов на любые жертвы, но ради той же семьи он часто отказывается служить народу и Церкви.

Православная Церковь попала в зависимость от семейных интересов одного из племен Индии, говорящего на малзамском языке. Ее члены в течение веков верно хранили святой огонь Апостольского христианства, но они не хотели делиться им с другими индусами. Они считали Православие своим собственным достоянием и, будучи отрезанными от других православных, потеряли чувство вселенской Церкви.

Бо время моих путешествий по Индии, я неоднократно слышал выражение удивления индусов, что я являюсь православным и вместе с тем не говорю на малзамском языке. Настолько кажется им неразрывной связь между ними.

Индия находится накануне больших событий, подходит время выбора ее нового пути и рано или поздно перед ее народами встанет вопрос, войдут ли они в христианскую Церковь или же займут место среди ее врагов.

В этот решительный час ее истории православные Траванкора призваны к особенно ответственной задаче — сказать свое веское слово. Несмотря на свою малочисленность (их меньше миллиона), они полнее, чем кто-либо иной осуществили образ христианской Индии и потому они могут лучше других вероисповеданий доказать индусам, что христианство есть вселенская истина, а не придаток западной цивилизации.

Но для того, чтобы выйти из своей кастовой замкнутости, они должны войти в семью других православных народов и найти самих себя в соборном общении с нами.

Церковь Траванкора православна по своей вере и по своему мироощущению. Попав в ее среду сразу же осознаешь, что нахо-

дишься среди православных. Но она никогда не была в общении с другими православными церквами и они во многом отличаются от нас.

Отрезанные от далекой Европы, они поддерживали хрупкую связь только с христианами Месопотамии и Сирии, которые, поработленные магометанами с середины VII века, принадлежат к вымирающим общинам монофизитов и несториан.

В настоящее время значительная часть православных траванкорцев вышла из подчинения Яковитскому Патриарху Хомса в Сирии и ищет сближения с главными Православными Церквами. Они, однако, не хотят быть поглощенными более многочисленными христианами Византийского обряда, а желают сохранить свои особенности.

К ним мы должны отнестись с особой любовью и вниманием, так как Православие в Индии во многом отличается от всех других его ветвей. Все остальные Православные Церкви родились на почве Византии с ее греческим классическим прошлым. Мы, русские, наименее связаны со средиземноморским миром, где развивались другие Православные Церкви, но и мы все же понимаем и любим его. Православие Индии имеет совершенно иную основу, оно выросло среди индуизма, а не греко-римской культуры и поэтому многое из его проявлений неожиданно для нас.

Так например, у них отсутствуют интересы к догматике, которая была в центре внимания византийских богословов и которая чужда духовному климату Индии. Они подчиняют Церковь семейной иерархии и в случае своих церковных споров православные траванкорцы следуют за старшим в роде, а не полагаются на свое мнение. Верность роду или касте стоит всегда в Индии на первом месте и православные в этой области остаются подлинными индусами.

Наконец, необычен для нас их взгляд на нашу Церковь, как на западное выражение Православия. Для траванкорцев они представляют Восток, а греки, русские и другие балканские народы являются людьми Запада.

Но несмотря на все эти различия, траванкорцы близки нам по духу. Живя с ними мы знали, что мы находимся среди своих братьев по вере. Этот факт показывает насколько Православие есть подлинно вселенское выражение христианства. Встречаясь с Православием в Индии мы видим пример Православия Восточного, но не Византийского образца и узнаем, что наша традиция может процветать на иной почве и в совершенно отличных климатических условиях, чем в Греции или в России.

Если мы поймем эту разницу между двумя типами Православия, мы сможем оказать подлинную поддержку этой Церкви в решающий момент ее истории, когда она вместе с остальной страной вы-

ходит из своей изоляции и вступает на широкую арену международных отношений.

Войдя в общение с нами на основе своей подлинной самобытности православные траванкорцы смогут открыть свои двери и для тех индусов, которые не принадлежат к их области. Они станут Церковью Индии, а не одного Малаборского побережья, а если им удастся освободиться от тех пут, которые они наложили на себя, то они найдут широкий отклик в сердцах многих индусов, ищащих вечной Истины.

Индия стоит на распутьи, она решает сейчас вопрос о своем будущем и от ее выбора будет зависеть не только судьба ее много-миллионного населения, но и судьбы всех ее окружающих народов.

В этом столкновении различных мировоззрений участвует и Православная Церковь и мы покинули эту чудесную страну с чувством нашей общей глубокой ответственности за те решения, которые вскоре должны быть принять ее христианами.

Лондон.

12-VII-54.

Н. Зернов

ЗАПИСИ ПОД ЧЕРТОЙ

Разбираясь в бумагах моего покойного мужа, Н. Н. Евреинова, — а их накопилось несметное количество — я нашла конверт с надписью его рукой: «Тетрадка Аниных профессоров». В конверте — большая статья из берлинской газеты «Руль» от ноября 1922 года и пожелавшая трехкопеечная тетрадь, вся исписанная разными почерками. Вот выдержка из статьи из «Руля», озаглавленной «Приезд высланных из Сов. России»:

«В воскресенье днем штеттинский вокзал представлял необычайную даже для «обрусовшего» Берлина картину. К приходу скорого поезда из Штеттина дебаркадер был переполнен представителями берлинской русской колонии, собравшимися для встречи прибывавшей с этим поездом большой группы профессоров, литераторов и инженеров, высланных из Петрограда. Со штеттинским поездом прибыло 44 человека, выехавших из Петербурга 14-го¹ ноября на пароходе «Прейссен». В эту группу входит 17 предста-

¹ 15-го ноября мы сели на пароход, но отбыл он из Петербурга только 16-го утром на рассвете.

вителей интеллигенции, большинство которых отправилось в изгнание в сопровождении членов своих семейств. В состав группы входят: известный философ проф. Н. О. Лосский, выдающийся ученый, академик Л. П. Карсавин, быв. директор Томского Технологического института, быв. член Гос. Совета проф. Е. Л. Зубашев, знаменитый психолог, академик И. И. Лапшин, бывший проректор Петербургского университета проф. Б. Н. Одинцов, проф. административного права, также быв. проректор Петербургского университета А. А. Боголепов, проф. Агрономического института А. С. Каган, публицисты: А. С. Изгоев, А. Б. Петрищев, руководители Дома Литераторов в Петрограде Н. М. Волковыский и Б. О. Харитон, члены комиссии по улучшению быта инженеры Н. П. Козлов и И. М. Юштим и др. На пароходе «Прейссен» в Германию, кроме высланных, прибыл еще ряд представителей петербургской интеллигенции: Академик Нестор Котляревский, известный режиссер Н. Н. Евреинов, драматург Виктор Рышков и др.»

Моя пожелавшая тетрадка содержит в себе собственноручные записи — «черту», итог — всех этих лиц, вынужденных покинуть Россию навсегда.

Когда 14 ноября 1922 г. мы с мужем приехали на пристань на Васильевском Острове, чтобы сесть на пароход, идущий в Штеттин, то к великой нашей радости мы встретились с кучей близких знакомых: моих — бывших профессоров по Бестужевским курсам, а потом по университету, а муж — с знакомыми по литературным кругам.

«Посадка» на пароход (обыски чемоданов, обшаривание платья, а иногда и самого тела), проверка документов и пр. длились с утра до 9 час. вечера. Всё это время мы находились в запертом помещении при пристани. ГПУ вызывало в разбивку не по алфавиту, держало каждого вызываемого не меньше получаса. Всё это происходило в напряженной тяжелой атмосфере... Поэтому когда мы, наконец, вошли на пароход и капитан распорядился — несмотря на поздний час накормить нас гороховым супом — все пассажиры уже настолько хорошо были знакомы друг другом, что казалось прожили вместе годы... У высылаемых мысли были смятенные, тревожные, мучительные... Судьба сулила мне быть конфиденткой многих из них. Только на третий день путешествия мне пришло в голову попросить моих «конфидентов» написать мне что-нибудь «на память» в случайно найденную в чемодане тетрадку. Вот их записи:

1922 г. 18/XI. Пароход «Прейссен» на пути в Штеттин (via Шпалерная).

Право, не знаю, что написать Вам, Анна Александровна. Конечно, положение мое своеобразное. «Нет власти не от Бога, а «учиненная Богом» власть, да еще отечественная, ввергла меня в узилище и в числе прочих направила заграницу. Даром не сажают. И я полагаю, что по неизвестному замыслу Провидения превращен я в «expulsé»² за нарушение 7-ой заповеди, которую ГПУ по неопытности смешало со ст. 57 Уголовного Кодекса. При таком толковании возражать против действий власти нельзя, хотя и возможно рассматривать ее как «flagallum Dei». Этот же «бич Божий» (он же — «палец Провидения»), указывает нам путь в Германию. Знаменательно, что даже Бруцкус отстав (?) от Балтрушайтиса заказал аэропочтою квартиру в Берлине, где находится часть России (к ней, впрочем, не принадлежат все числящие себя ею). Эмиграция русская принципиально отлична от французской эпохи революции: она продолжение России, ее мозг. Мы же даже не эмигранты, а expulsé, т. е. и юридически продолжаем Россию, сближая ее с Германией, в единении с которой чаем наше будущее («Сумрачный германский гений»).

Итак, изгнанный за тайный порок Богопротивную властью, выполняющей вопреки себе волю высшую, собираюсь и я выполнять оную с Богом согласно, за грехи же свои — на чужбине.

Бывший professor, а теперь confessor Л. Карсавин.

Preussen, 18/XI 22.

По Вашему желанию, Анна Александровна, каждый изгнаник из России, пассажир «Прейссен», должен вписать в эту тетрадь несколько слов. Пусть будет так. Среди нас профессоров и литераторов Вы найдете представителей всех дисциплин и направлений, но напрасно будете искать политиков, опасных для узурпаторов власти в России. За что же нас выслали? Что это глупость или испуг? Я думаю то и другое. Правители России, несмотря на свою наглость, настолько трусливы, что боятся каждого независимо и честно высказанного мнения и по глупости ссылают нас туда, где мы имеем полную возможность сказать ту правду, которую они хотят скрыть от себя и от всего света.

Покидая с тяжелым чувством Россию, надеюсь использовать ссылку, как командировку, и послужить еще Родине, которая жива и не погибнет.

Проф. Б. Одинцов

Нотный стан и ноты.

Подпись: Ведь я не государственный преступник!

(Каменный гость) И. Лапшин³

² Так было написано на паспорте каждого высылаемого.

³ Иван Иванович был моим большим личным другом.

«Прейссен», 18/XI 22.

Прекрасное путешествие на «Прейссен» настраивает меня на благодушный лад. Хотя я и не поумнел еще за эти три дня и по прежнему не понимаю ни смысла, ни цели нашей высылки заграницу, но пока склонен думать что Соввласть в возмешение того, что из 60 месяцев она 26 prodержала меня в своих тюрьмах, теперь представляет мне и шестимесячный отдых заграницей. Она же по-заботится, надеюсь, о моем возвращении на родину, сыном которой я не перестаю себя чувствовать и при правительстве отрицающем отчество.

А. С. Изгоев

В безумии совершающего Сов. властью — высылке лучших людей заграницу усматриваю эгоистический расчет и, может быть, возможность дальнего сохранения этой власти. Но уверен, что все сохранят полнейшую связь с родиной и, живя на чужбине, будут работать на благо России имея постоянным стремлением возвращение в свое отчество.

. Н. П. Козлов

В огромном большинстве случаев изгнанниками бывают или преступники или герои. По отношению ко мне ни то, ни другое не приложимо: преступления я не совершил, но и геройства ни в чем не проявил. Моя высылка есть плод недоразумения, а может быть, что и более вероятно, необходимая дань демагогии современной власти. В первую революцию (1906 г.) я был выслан из Томска за пределы Томской губ. и Степного Генерал-губернаторства в Европейскую Россию, как революционер. Теперь меня изгоняют далее на Запад, из пределов России, как контр-революционера. И в том и в другом случае я украшен чужими перьями.

Проф. Ефим Лукьянович Зубашев

Уходя в изгнание мечтаю о скорейшем возвращении на мою любимую родину.

Пароход «Прейссен», 18/XI 22.

А. Каган

Есть жизнь и на Гороховой, и на Шпалерной, и на «Прейссен».

18/XI. 22.

А. Петрищев.

В среду вечером 15-го ноября мы, изгнанники, сели на пароход «Preussen» и переночевали на нем в Петрограде. На следующий день я встал в 7 час. утра и вышел на палубу. Чуть брезжила заря. На фоне ее вырисовывался красивый силуэт Петрограда с царящими над ним очертаниями Исаакиевского собора. Грустно мне было

думать, что приходится покинуть милую сердцу Россию и чудную своею строгой красотой столицу, где я спокойно работал и мыслил столько лет. Еще грустней стало, когда я вспомнил, что мой старший сын, Владимир, открыл накануне наудачу «Божественную Комедию» Данте и великий поэт поведал ему своими прекрасными терцинами следующую жалобу, написанную им в годы его изгнания:

Era già l'ora che volge il disio a' naviganti...

Когда грусть моя достигла крайнего напряжения, в уме моем блеснула мысль, доставившая мне глубокое утешение. Я подумал: за что меня изгоняют? — не за политические деяния, — их я в течение пяти лет не совершал. Итак, меня изгоняют из России, как за год до того изгнали из Петроградского университета, ставя мне в вину только мою религиозно-философскую идеологию. Значит сами мои противники втайне признают истинным тезис: сознанием определяется бытие, дух господствует над материей. Воздадим же хвалу духу и особенно восхвалим Того, Кто сотворил дух, наделил его творческою мощью и властью над материей.

Н. Лосский

18-го ноября 1922 года.

Когда вспоминаешь все подробности пережитого за последние месяцы — арест, недели тюремного заключения, нелепый «допрос», которому подвергли нас какие-то малограмотные мальчики, мытарства, испытанные после выхода из тюрьмы, галантность большевистской охранки (ГПУ) и презрительно злобное отношение к нам разных представителей советской власти; когда, наконец, поименно называешь себе людей, с которыми я оказался связанным единою судьбой — невольно задаешь себе вопрос: чего во всей истории больше — глупости или подлости? И сейчас на палубе парохода, уносящего нас, быть может, навсегда от мучительной, но любимой родины, сейчас, когда все мысли уже не о прошлом, а о будущем — напрашивается ответ: больше глупости, но ее так много, что исходя из недр государственной власти, она уже превращается в подлость. Единая судьба объединила людей, нередко ничем не связанных между собой, ни в жизни, ни в работе, подчас даже не знакомых друг с другом до встречи в тюремной камере. Но есть одна внутренняя связь между всеми нами: мы все, каждый в своем углу, отведенном ему жизнью имели дерзость в дни всеобщего порабощения, в дни диктатуры кулака над свободным духом сохранить независимость взглядов, независимость идей, которые каждый из нас считал сильнее и могущественнее тех временных властителей русской жизни, которые шквалом налетели на нее. И если глупо, глупо до нелепости думать, что можно поработить идею, поработ-

тить свободу независимой человеческой мысли, то выбрасывать за борт родной жизни тех, кто дерзают не надевать ярма на свою мысль и на свою душу — для гордящейся своей внутренней и внешней силой власти — просто подло. Но без злобы и ненависти, а с тоской по оставляемой родной жизни покидаю я Россию и с твердой верой в победу независимой мысли над диктаторским кулаком.

Н. Волковыский

Штеттин. 19 ноября 1922 г.

Сходя с парохода на германскую землю я думаю о России, так горячо и так разно нами всеми любимой. Может быть я вернусь на родину не скоро и увижу ее не только перерождаемой, но уже перерожденной Революцией. Но я предпочел бы смерть на чужбине возвращению в Россию, если... придет реставрация. Я смотрю на нашу высылку, как на один из последних революционных эксцессов, а в эксцессах никогда не бывает никакой логики, никакого смысла. Потому в душе моей нет места для злобных чувств и для мстительных вожделений. Я был и остался независимым журналистом, а независимая журналистика во все времена и при всех правительствах занятие опасное. Поэтому не ропщу — вызывать неудовольствие власти как бы неразрывно связано с моей профессией. Пишу совсем насекоро и бессвязно, простите, милая Анна Александровна, небрежность стиля и неразборчивость почерка.

Б. Харитон

Штеттин, 19/XI 22. 6 ч. 20 минут утра.

Встряски полезны: они освежают и не дают скисать.

А. Боголевов

Три дня пути, десять недель заключения — пролетели, как сон. Там далеко, далеко осталась родина и семья. Кажется никогда больше так не тосковал о родине, не любил больше семьи! Все свои силы и стремления — к родине, к семье!

И. Юштим

Как вы все далеко, милые спутники!

А. Евреинова

БИБЛИОГРАФИЯ

О. ГЕОРГИЙ ШАВЕЛЬСКИЙ. *Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота.* Т.т. I-II. Изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1954. Printed by Rausen Bros.

Воспоминания о. Георгия Шавельского—одна из самых ценных и интересных книг, выпущенных издательством им. Чехова. Их смело можно назвать историческим документом первостепенного значения. О последних годах императорского режима есть много и других свидетельских показаний. Но едва ли в чьем-либо рассказе можно найти такое же богатство бытовых и психологических подробностей, так же живо нарисованные портреты действующих лиц и так же убедительно переданную атмосферу среды и эпохи, как в этой посмертной книге о. Георгия Шавельского.

Уже самое положение автора дало ему редкую возможность накопить материал для написанной им позднее (уже в эмиграции) истории трагического конца русской монархии. В качестве протопресвитера армии и флота он находился в ставке Верховного Главнокомандующего с самого начала войны вплоть до революции. В августе 1915 г., с переездом государя в ставку, она сделалась центром не только верховного командования, но и политического управления: в нее стали приезжать и министры — для докладов государю, и императрица — нередко для отмены принятых по этим докладам решений. Как человек очень наблюдательный, автор воспоминаний многое мог заметить и сам. Об остальном он узнавал из первоисточников — в силу того исключительного доверия, которое ему оказывали оба верховные главнокомандующие, некоторые из близких к ним людей, включая других представителей династии, большинство членов высшего командования и отдельные министры. К этому надо добавить несомненное литературное дарование автора, придавшее его воспоминаниям такую живость и яркость, каких не найти у большинства других мемуаристов, писавших о тех же событиях.

При всем своем уме о. Георгий Шавельский не был свободен от политических предрассудков, и отдельные его суждения указывают на некоторую ограниченность его кругозора. Но тут же надо сказать,

что он, убежденный монархист, воспитанный в духе национальной и религиозной традиции и к тому же лично преданный как государю, так и, в особенности, вел. кн. Николаю Николаевичу, проявил в своей книге очень большую долю духовной независимости и умственной смелости. Больше того — именно потому, что эта книга написана человеком таких настроений и таких взглядов, нарисованная в ней картина получает особую убедительность. Это — картина глубокого распада на самых верхах государственной власти в один из самых ответственных моментов русской истории. Приведу только один, особенно разительный, пример того, как, в условиях этого распада, решались вопросы важнейшего государственного значения. В конце июня 1916 г. С. Д. Сазонову удалось, наконец, добиться от государя согласия на опубликование манифеста об образовании после войны свободной Польши под протекторатом России. За завтраком, сразу после доклада, Сазонов сказал автору книги: «Поздравьте меня, польский вопрос разрешен». Более того, автор слышал как государь тут же сказал графу Велепольскому: «Вопрос разрешен, и я очень рад. Можете поздравить от меня ваших соотечественников». А через неделю после того «примчалась в ставку императрица и... перевернула всё». «Никаких манифестов по польскому вопросу не последовало. Поляки остались с одним поздравлением» (т. II, стр. 60-61). Сазонов был уволен и министром иностранных дел был назначен Штюрмер. Ни для кого не было тайной, что за императрицей и Штюрмером стоял Распутин. К этому времени, по свидетельству автора, о Распутине уже говорила вся армия. Когда в ставку пришло известие об убийстве Распутина, «и высшие, и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи». «И это, — добавляет автор, — происходило в ставке государя по случаю убийства его 'собинного' друга! Когда и где было что-либо подобное?» (т. II, стр. 249).

В октябре 1915 г. о. Георгий Шавельский был назначен в состав Св. Синода для участия в заседаниях которого он в течение полутора лет ежемесячно ездил в Петербург. То, что он рассказывает о Синоде, свидетельствует об упадке высшего церковного управления не менее глубоком, чем тот, который ему пришлось наблюдать на верхах государственной власти. Незабываемы нарисованные им комические (по существу, конечно, трагикомические) фигуры обер-прокурора Раева и его товарища кн. Жевахова. В особом очерке (т. I, гл. 9-ая и сл.) автор рассказывает о своей поездке, ранней весной 1915 г., в занятую тогда русскими войсками Галицию и о спешно проводившейся там политике воссоединения униатов. Политику эту он осуждает как легкомысленную церковно-политическую авантюру.

В конце второго тома напечатаны также краткие воспоминания

автора о его пребывании на юге России в 1918-1920 гг. При всем своем уважении к ген. Деникину и некоторым другим руководителям Добровольческой Армии, он пишет о «недугах» белого движения и о причинах его «заката» с той же прямотой и независимостью мысли, с какой он обсуждает и крушение русской монархии. И в том, и в другом случае, к основному тексту воспоминаний, написанному в 1920-х годах, автор добавил нечто вроде постскриптов (см. гл. XI-ую и стр. 409-412 второго тома). В них он отдает дань высоким нравственным качествам тех людей, роль которых в исторических событиях он подверг такой суровой критике. От своих критических оценок он при этом не отказывается — и в этом он, конечно, совершенно прав: одно другому нисколько не противоречит.

Под влиянием пережитого нами исторического опыта в некоторых кругах русской эмиграции как старой, так и новой, имеется тенденция к идеализации дореволюционного русского режима. Слов нет, при всех своих недостатках он, конечно, был неизмеримо лучше советского режима. Но если сравнение это для советского режима убийственно, то и для царского правительства оно не слишком лестно. Казалось бы, для исторической его оценки можно было бы обратиться к более высокому критерию. А самое главное — это то, что с него нельзя снять ответственности за постигшую Россию катастрофу. Именно этот вывод должен сделать всякий непредубежденный читатель из написанной о. Георгием Шавельским замечательной книги.

M. Карпович

DMITRY CIZEVSKY: Outline of Comparative Slavic Literatures. American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass., 1952, 143 p.

Д. И. Чижевский поставил себе чрезвычайно трудную задачу: дать очерк истории всех славянских литератур в рамках периодизации, которая была бы применима и ко всей западной литературе. Для этой периодизации он использовал схему, первоначально возникшую в области истории искусства и получившую значительное распространение в немецкой *Geistesgeschichte*. Схема эта устанавливает чередование стилей, сменявшихся во всей Европе, включая и славянские страны, в такой последовательности: романский стиль — готика — ренессанс — барокко — классицизм — романтизм — реализм — символизм. Д. И. Чижевский указывает на необходимость осторожного применения этой схемы к истории славянских литератур: развитие их было неравномерным, и распространение того или иного стиля могло быть замедлено или даже предотвращено усло-

виями политического или социального характера. Тем не менее он всё же приходит к заключению, что «полное расхождение отдельных славянских литератур между собой фактически было предотвращено общей для них всех принадлежностью к более широкому единству литературы европейской» (стр. 12). В некоторых случаях Д. И. Чижевскому пришлось видоизменить эту общую схему путем применения критерииев, в значительной мере продиктованных местным (т. е. национальным) историческим развитием: отсюда — его особая трактовка гусситского движения и московской литературы 16-17 веков. В других случаях он вводит подразделения в установленные общей схемой стили: так в романтизме он выделяет возглавлявшуюся Гоголем «натуральную школу» и то, что он называет славянским *Biedermeier'ом*, а в реализме — импрессионизм, к которому он относит Толстого и Чехова.

Надо признать, что в общем Д. И. Чижевскому удалось доказать применимость избранной им схемы периодизации к славянскому миру. Он дает характеристику главных периодов и перечисляет всех выдающихся представителей различных славянских литератур, кратко характеризуя творчество каждого из них и указывая их главные произведения. Несмотря на свой небольшой размер, книга его содержит в себе очень много интересных и вызывающих на размышления замечаний. Она чрезвычайно ценна как первая попытка дать историю всех славянских литератур в целом, с точки зрения эволюции стилей, общей для всей европейской литературы. Хочется отметить страницы, посвященные барокко, как особенно убедительные и заключающие в себе много существенно нового.

Можно сделать только одно общее критическое замечание: как это несомненно сознает и сам автор, очерк его чрезмерно краток. В сто тридцать пять страниц текста ему пришлось уложить теоретическое обсуждение вопроса о периодизации, характеристику главных литературных периодов и обзор многовековой литературной истории целого ряда славянских стран. В результате изложенное неизбежно получилось крайне схематическим. Но это недостаток, которого в данных условиях Д. И. Чижевский никак не мог избежать. В своих многочисленных предыдущих работах он обнаружил глубокое знание литературных текстов и проблем, относящихся к различным периодам в истории отдельных славянских литератур. Укажем для примера его ценные и обстоятельные работы по истории древней русской литературы, о чешском философе 17-го века Каменском, об украинском мистике 18-го века Сковороде, о словацком национальном возрождении 1840-х годов, и, в особенности, — о влиянии Гегеля в России и о различных сторонах творчества его любимых авторов, Гоголя и Достоевского. То чувство некоторой

неудовлетворенности, которое оставляет рецензируемая книга, может быть целиком рассеяно путем обращения к другим работам автора, с их богатством конкретного содержания и с их подробным анализом литературных стилей и идей.

В своем кратком обзоре славянских литератур Д. И. Чижевскому не удалось полностью избежать некоторых опасностей, связанных с применением метода, характерного для немецкой *Geistesgeschichte*. Так например, хотя, на мой взгляд, он совершенно прав, когда отвергает чрезмерный «номинализм» некоторых современных ученых (особенно из числа эмпирически настроенных англо-саксов), склонных преуменьшать или даже отрицать значение проблемы периодизации, он в свою очередь обнаруживает некоторую тенденцию к «совеществлению» употребляемых им категорий: местами он говорит о барокко или о реализме как если бы они были самостоятельные «существа», живущие вне человеческих идей и литературных предвидений. Так Ржевский у него «переходит» к барокко, а Державин — к пре-романтизму (стр. 68-69). В другом месте универсальный стилистический прием становится движущей силой реализма 19-го столетия: «Метонимия», — читаем мы на стр. 105 — «привела к описанию среды, к изображению «развития», к картине воспитания героев, их генеалогии, круга их друзей». Но ведь все эти темы можно найти много раньше в произведениях таких в высокой степени «метафорических» писателей как Руссо и Гёте.

Возникают и некоторые другие сомнения. Можно ли Достоевского отнести к реалистам после того как общая характеристика реализма определенно исключает гротеск и гиперболу? (стр. 105). Или как согласовать причисление Толстого к импрессионистам с утверждением, что для импрессионизма характерна форма рассказов и очерков вместо монументальности эпических произведений? (стр. 110). Именно в применении к девятнадцатому веку, когда славянская литература достигла своего наиболее полного развития, применение широких категорий становится особенно затруднительным. Впрочем, Д. И. Чижевский знает это не хуже меня. Можно было бы выразить пожелание, чтобы его очерк был раз в десять длиннее, если бы не мысль о том, что обзор такого рода вообще едва ли может быть написан иначе, чем в самых общих чертах. Подлинная жизнь истории обнаруживается только в ее конкретных деталях, и всякое применение широких категорий может лишь наметить основные линии развития. Вероятно, Д. И. Чижевский сделал всё, что можно было сделать в этом направлении, снабдив нас точной картой области славянских литератур — хотя бы и в самом малом масштабе.

Рене Веллек

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ. Отец. Т. I и II. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк. 1953.

Книга А. Л. Толстой вызвала у меня головокружение. Читаешь эти 800 страниц и необыкновенность Толстого всё больше околдовывает. И в тоже время противоречия, скачки, неугомонность в мыслях и поступках, всё, что как буйный степной ветер, проносится через разнообразную и кипучую внешнюю и внутреннюю жизнь великого писателя, ошеломляет, сбивает с толку. Ни в какие логические рамки не втиснешь ни его характер, ни его жизнь, ни даже, что всего удивительнее, его писанья. Его власть, его прелесть в том, что он весь иррационален. В этом его сила как художника, его слабость как искателя новых форм жизни.

Свою непохожесть на других людей Толстой начал рано чувствовать, с годами ощущал всё острее, то тяготясь этим, то испытывая чувство гордости. В 1852 г., когда ему было только 24 года, он записал в дневник: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все». Такое чувство своей неповторимости смолоду многим свойственно. У Толстого оно с годами становится всё глубже, всё крепче врастает в тот сложный умственный и духовный мир, в котором он творил и сражался. С кем? Что считал он силами враждебными? В ком видел противников? Это один из многих вопросов, которые возникают, когда стараешься понять Толстого.

Он всегда был против кого-нибудь и чего-нибудь и всякое разногласие, всякое расхождение обострял. Герцен, у которого он побывал в 1861 г., писал Тургеневу: «Толстой короткий знакомый. Мы уже не спорим, он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек. Только зачем он не думает, а всё, как под Севастополем, берет храбростью, натиском!» Это свойство штурмовать установленный порядок, быть в оппозиции ко всем установленным учреждениям, воззрениям и привычкам сохранил он до конца своей долгой жизни. Переставал он бунтовать только когда его обступали зародившиеся в его душе художественные образы, которым позже суждено было околдовать миллионы читателей всех наций. В этом царстве, вызванном к жизни таинственными силами творческого гения Толстого, его мысли и слова текли властно, плавно, величаво. Перед этим Толстым никто не мог устоять.

Не легко было А. Л. Толстой и ее вдумчивой сотруднице, гр. С. В. Паниной, овладеть богатейшей русской и мировой литературой, посвященной Толстому, отобрать самое необходимое. Обилие материала вынуждало скрупульезно давать цитаты. Всё же по ним

можно судить, какой восторг вызывали произведения Толстого, какое изумление вызывала его личность. Появление «Войны и Мира» положило начало восторженному признанию, настоящей мировой славе. Тургенев, который так грубо с ним поссорился, писал: «Всё-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России». Он же, перед смертью, послал Толстому известное прощальное письмо, где назвал его «великим писателем земли русской». Позже, уже в восьмидесятых годах А. Рачинский, известный коллекционер и деятель по народному образованию, который преклонялся перед Толстым-романистом и очень высоко ставил педагогическую работу Толстого, писал ему: «Вы мне оказываете такое благодеяние тем, что вы существуете, что я не могу от времени до времени не поблагодарить вас за это обстоятельство». Чайковский встретив Толстого писал, что он «совершенно очарован его идеальной личностью, что Толстой представляется ему «не человеком, а полу-богом». Чайковского испугала его необычайность. «Мне казалось, что этот величайший сердцеведец одним взглядом проникнет в тайники моей души. Перед ним уже нельзя скрыть всю дрянь, имеющуюся на дне души». Так говорили русские, но к концу прошлого века магия Толстого уже распространилась на весь мир. Его переводили на все языки. В Ясную Поляну отовсюду шли письма, появлялись паломники, жаждущие повидать великого художника, получить от проповедника праведной жизни наставление как к ней приступить. Для автора «Войны и Мира» и «Анны Карениной» было тяжким искусством то, что в нем должен был уживаться художник с моралистом. Но именно это сочетание увеличивало его мировую известность, его мировой авторитет. Он не мог не чувствовать, что принадлежит не одной России, а всем. Эта всеобщность ограждала его от полицейских преследований. Что бы он ни писал, ни говорил, правительство, не привыкшее церемониться со своими противниками, ни разу не нарушило неприкословенность яснополянского дома. Этот своеобразный иммунитет Толстого охранялся не только иностранным общественным мнением, но и русским. Его произведения ценили люди самых различных воззрений, включая двух последних русских императоров. Ему никогда не грозила полицейская расправа. Его последователей сажали в тюрьму, ссылали, высыпали заграницу, но его не трогали. Толстой считал это вопиющей несправедливостью, возмущался, старался как можно громче высказывать свои противуправительственные взгляды, но власть оставляла его в покое. Это тоже не могло не усиливать в нем сознания своей исключительности. Он и без того не раз каялся в гордыне, в избытке честолюбия. В раннем своем

дневнике записал: «Я люблю больше добра славу». Славу он и заслужил и получил в избытке. Но никогда, ни к кому ради нее не приспособлялся. Он и писал и действовал искренно, прислушиваясь к звучащим в нем голосам. Успех он, конечно, любил, но не искал его. Успех сам отзывался *на голос гения*. Толстой-художник жил в царственной независимости от толпы. В недоступных покоях познавал он высшее наслаждение творчества. «Я опять в тишине и темноте слушаю и гляжу и если бы я мог описать сотую долю того, что я вижу и слышу! Это большое наслаждение», пишет он, вынашивая Анну Каренину.

Много лет позже вписывая в свой дневник наделавшее столько шума завещание, где он, в очень расплывчатой форме, отказывался от прав на свои сочинения, Толстой вдруг переходит к теме, ничего общего с авторскими правами не имеющей, и дает еще более высокую оценку своим писательским переживаниям: «Есть в них (в его писаниях) места, в которых, я знаю, говорила через меня Божья сила... У меня были времена, когда я чувствовал себя проводником воли Божией... Истина проходила через меня и это были счастливейшие минуты моей жизни» (1895). Это уже вторая половина его кипучей жизни, когда Толстого-художника уже не то застынил, не то только затенил Толстой-бунтарь. Не знаю можно ли применить к нему ходкое тогдашнее слово — богоискатель. Очень уж много было в нем нигилизма, страстного, слепого отрицанья традиций, преемственности, общественных достижений, которые в течение тысячелетий в муках рождало человечество. Откровение, на котором зиждется церковь, он сердито отрицал.

Трудно перечислить все противоречия, бушевавшие в этой страстной и буйной душе. Офицер, и вопреки всем рассужденьям, патриот, очень горько переживший наши пораженья в войне с японцами; моралист, оказавшийся не в силах применить к жизни свое учение; отрицатель всякой филантропии, в годы неурожая создавший широкую общественную помощь голодающему крестьянству; книжник, не признававший авторитета чьей бы то ни было мысли, который считал себя призванным опровергать всех, кто думал и творил раньше него, то государствоедов, то Шекспира, то отцов церкви. Искренний народолюбец, пытавшийся поколебать все устои крестьянской жизни — царскую власть, которую они почитали, собственность, в которой нуждались, церковь, которая помогала им различать между добром и злом, учила не забывать Бога.

А. Л. Толстая дала богатую картину насыщенной разнообразными материальными благами и духовным напряжением жизни

своего отца. Невольно удивляешься, отчего он не умел всё это ценить, не умел создавать вокруг себя атмосферу устойчивости, если не гармонии. Как среди таких метаний, мог он создавать художественные произведения, прелесть которых никакие хвалебные эпитеты не передадут? Происходило это конечно потому что, когда «на него находила эта дурь», как он словами Пушкина определял приступы творчества и вдохновения, он сразу отходил от суетных забот и исполнял пушкинский завет: «Ты царь. Живи один».

В первую половину его жизни даже шумевшая вокруг него многочисленная семья не нарушала этого творческого одиночества. Но во вторую половину жизни моралист, проповедующий смиление и кротость, оттеснил романиста. Возможно, что это двоевластие обостряло ту нетерпеливость, порой обострявшуюся до нетерпимости, которая часто овладевала Толстым. Она сказалась и в ожесточенности его отрицания государства, в еще более яростном отрицанье исторического христианства.

Одним из самых резких парадоксов в его воззрениях является сопоставление его печалованья о народе с его неуважением к верованиям этого народа. Ему было 26 лет, когда он записал в свой дневник: «Желаю веровать в религию моих отцов и уважаю ее». Но пять лет спустя, в письме к А. А. Толстой, с которой он откровенно обменивался самыми важными мыслями, он пишет, что собрался говеть, но нашел невозможным «слушать непонятные молитвы и смотреть на попа».

Мимо Ясной Поляны, по Киевскому шоссе, постоянно проходили богомольцы. Большинство направлялось в Киево-Печерскую Лавру. По словам А. Л. Толстой, ее отец, отчасти под влиянием разговоров с ними, стал чаще ходить в церковь и решил поехать в Оптину Пустынь. Эта поездка ему мало дала. Он писал Н. Н. Страхову, что хотел бы от келейника знаменитого отца Амвросия, от отца Пимена, научиться «любви и спокойствию». Но спокойствие этому удивительному человеку меньше всего давалось. Он и вокруг себя сеял тревогу, отгонял от себя и других ту душевную тишину, которую отцы церкви считали необходимой для праведной жизни. Сколько раз в письмах и дневниках Толстой повторяет что хочет умереть спокойно. Но когда почуял он приближение смерти, он ушел из дома и этим внес смятение в души близких и друзей и всех своих бесчисленных читателей. Одни его осуждали, другие — видели в его уходе хотя и запоздалый, но героический отрыв от неправедной условности барской жизни. В эти дни, когда Толстой умирал на маленькой глухой станции в центре России, газеты всего

мира были полны телеграммами о нем. На всех материках миллионы читателей и почитателей с волнением следили за тем как великий русский писатель пожелал перед смертью стать бездомным странником. По всему миру, на всех языках шли споры, прав был Толстой или не прав? С особым напряжением переживали то, что происходило в маленькой комнате на станции Астапово мы, русские. Вся душа была там. В течение этих трех дней всё будничное отодвинулось. Миллионы русских людей невидимо сплотились около умирающего, который дал нам так много радости, который своим гением так много в нашей жизни озарил. Это было действительно всенародное соборное прощание с великим писателем земли русской. В эти дни мы пережили незабываемый опыт единодушия, общения в охватившем нас чувстве любви к Толстому. Точно вся Россия стояла у постели умирающего. С тех пор много событий и бедствий обрушилось на наши головы и рассуждения о том, имел ли Толстой право уйти из дома или не имел, потеряли свою остроту. А. Л. Толстая их снова разбудила. Она дала очень ценные личные подробности, осветила эти дни как могла это сделать только безконечно преданная и любящая спутница сопровождавшая отца в его прощальном странствовании. Одна из привлекательных особенностей этой биографии — то, что в ней обилие тщательно и вдумчиво подобранного материала, соединенного с личными воспоминаниями, которые могла дать только Александра Львовна.

Читая эти два тома, с изумлением видишь, как в этом необыкновенном человеке тонкая художественная способность к гармонии, уменье изображать не только плавное течение быта, в особенности крестьянского и дворянского, но и те таинственныерастительные процессы, из которых складывается жизнь и отдельного человека и всего человечества, сочетались с необдуманной переоценкой всех ценностей. Он ломится как медведь, сокрушая всё кругом, стараясь убедить и себя и других, что он отказывается от материального и духовного наследия предков, что ему не нужно ни государство, ни собственность, меньше всего нужна церковь.

Среди кающихся русских дворян Толстой, по праву гения, занимает особое место. Та русская, в братстве зачатая интеллигенция, которую он так презирал, нашла в нем самом свое властное воплощение. Его бунтарство, особенно когда он говорил о церкви, доходило до нигилизма. Нигилист отрицает всё, что было до него, — все сужденья, источники, доводы, самые факты. Он хочет, чтобы история, духовная и материальная, начиналась с него. Толстой десятки лет посвятил на развенчиванье всего того что было Богом завещано, людьми создано.

Тут одно из самых жгучих противоречий, раздиравших могущую и ненасытную душу этого богатыря. В 1903 г. он писал А. А. Толстой: «Всё сводится к вере в благость Божию — и всё, что у Него и от Него, всё то — благо. В руки Твои предаю дух мой». Но по безмерному своему своееволию он отрицал что Христос сын Божий, отрицал Его божественность. Для него Христос был просто хороший человек, учивший людей хорошей жизни, но вся таинственная, вечная глубина христианства была ему чужда, враждебна. Этот тонкий, взыскательный художник позволил себе дать в «Воскресеньи» такое грубое, такое кощунственное изображение обедни.

Всё же, почувяв веяние смерти, — Толстой опять потянулся к Оптиной Пустыни, где столько православных людей находили наставление и утешение. И вот тут, в этот важнейший миг его жизни, в этом сильном человеке произошла малодушная борьба. Какая-то темная сила не допустила его до старцев. Толстой не поехал прямо к ним, а направился в соседний с Оптиной Пустыней Шемардинский женский монастырь, к своей сестре, монахине. Трудно без волнения читать короткую справку, которую дает А. Л. Толстая: «Тишина и благообразие монастырей всегда привлекали отца. Он разговаривал с монахинями и с монахами Оптиной Пустыни. Несколько раз подходил к святым воротам в ските, видимо ему хотелось поговорить со старцами. Сам не пойду, — сказал он Душану, (сопровождавшему его доктору). — Если бы позвали, пошел бы».

Монахи не позвали. А Толстой сам в двери скита не постучался.

Ариадна Тыркова-Вильямс

THE MOSCOW KREMLIN, by Arthur Voyce. University of California Press. Berkeley. 1954. 147 стр. \$10.

Книга Артура Войса «Московский Кремль», вышедшая недавно в Америке, посвящена истории, архитектуре и сокровищам Кремля. «Московский Кремль» — третий труд Войса о русском искусстве. В 1948 году появилась его книга «Русская архитектура», в 1952 г. — «Русское декоративное искусство». Обе книги чуть ли не единственные на эту тему в Америке; московскому же Кремлю ни в Америке, ни в Англии до сих пор не было посвящено подобной книги. «Московский Кремль, — пишет Войс, — это пышный расцвет многокрасочной архитектуры, сотканной из исключительно русских элементов: лукообразных куполов, одетых в золото и се-

ребро, квадратных и восьмиугольных башен, пестрых крыш, словно сделанных из перегородчатой эмали». Отдельные главы книги посвящены итальянским архитекторам Кремля, которые помогли русской архитектуре освоить высокое мастерство Ренессанса: Аристотель Фиораванти, знаменитый болонский зодчий, выписанный Иоанном III и построивший Успенский Собор (1475), а потом много работавший в Москве... за 10 рублей в месяц; Антонио Соларио из Милана — один из архитекторов Спасской и Боровицкой башен; Алевиз Новый — строитель Архангельского собора (1505); Марко Руффо, положивший начало строительству Грановитой палаты.

Войс подробно описывает все 19 башен Кремля, уделяя особое внимание Спасской башне, «тесно связанной» — пишет он — «со всей историей России, иначе говоря — с историей консолидации и роста Московского Государства. Через ее ворота шел поток всех главнейших государственных и церковных событий: коронации, триумфальные шествия, похороны...». Он говорит о духовном значении Москвы и Кремля для России, «который был тем же, что Капитолий для Рима или Акрополь для Афин». Интересны главы о соборах, пересыпанные занятными историческими деталями. Англичанин Ричард Чанселлор в 1553 году побывал на пиру у Иоанна Грозного. Войс передает его рассказ: «и было там 700 человек, и всем кушание было подано на посуде из золота... Золотые русские вазы в форме единорогов, львов и лебедей столь тяжелы, что поднять их могли только 12 человек».

Описывая драгоценности, хранящиеся в Кремле (главным образом, в Оружейной Палате), Войс широко использовал строгановские «Древности российского государства». Он знакомит иностранного читателя со сложной русской утварью, с мало знакомыми ему названиями вроде братина, чарка, ковш. Сказывается в некоторых его описаниях американская любовь ко всему грандиозному, о чем можно судить по вниманию, которое он уделяет, например, братине П. А. Третьякова (1618); сделанная «из серебра и золота (она) весила три фунта и была почти-что 12 дюймов в вышину». Дан беглый обзор — пожалуй, слишком беглый — икон, царских одежд, русских манускриптов, басменного дела. Но несмотря на краткость обзора автору всё же удалось передать блеск и роскошь русского прикладного искусства.

Последняя глава труда посвящена Красной Площади и Храму Василия Блаженного, «который занимает столь особое место в русской архитектуре, что ему необходимо отвести несколько отдельных страниц». Войс признает особенную и удивительную красоту этого собора, опровергнув тем самым свое

собственное мнение, когда, в 1948 году, он сочувственно цитировал *Gazette des Beaux Arts* 1931 года писавшую, что «Василий Блаженный — это сад из жутких овощей» (в том же духе писал Теофиль Готье: «Этот храм похож на огромный полип или грот из сталактитов, опрокинутый вверх ногами»).

Книга снабжена прекрасными иллюстрациями (все они взяты из русских книг), диаграммами, планами, большинство которых в Америке в печати не появлялось. Перечень 111-ти иллюстраций, их источники, даты и отлично составленные к ним объяснения даны отдельно в конце книги; дана, кроме того, хронология главнейших событий из истории Кремля — своего рода краткая русская история, и генеалогическое древо русских царей. Интересны десять страниц примечаний к книге, дающих пояснения к словам, мало известным американскому читателю. Исчерпывающая библиография дополняет книгу.

Появление этой монографии следует горячо приветствовать, она составлена с большой тщательностью, со знанием дела и любовью к изучаемому вопросу. Знакомство с этой книгой будет интересно и поучительно и для русского человека. С технической точки зрения издание выполнено настолько хорошо, что доставит удовольствие и библиофилю.

Вера Коварская

ПРОТ. А. ШМЕМАН. Исторический путь Православия. Изд-во имени Чехова, Нью-Йорк. 1954.

Книга протоиерея А. Шмемана написана ярко и мужественно. Беспристрастный анализ соединен в ней с глубокой реальностью веры в единую Истину Церкви, которой автор непрестанно проверяет своё отношение к материалу. Он даёт собственную оценку исторических событий, но тут же оговаривается, что не считает её «ни сколько-нибудь окончательной, ни исчерпывающей». И, по его утверждению, оценка эта является скорее вопросом, нежели ответом, или «судом».

В конце своего труда, автор пишет: «Для слишком многих история Церкви есть соблазн и они избегают её боясь «разочарований»... В истории Православия, как и в истории христианства вообще, немало падений и человеческих грехов. Я не хотел скрывать их, потому что верю, что вся сила Православия в правде, и потому еще, что «различение духов» в прошлом считаю условием всякого подлинного церковного делания в настоящем».

Человеческий путь православной Церкви на земле является основной темой книги. «Гонения для Церкви — лучший залог по-

беды... В гонениях и соблазнах выковывается церковное сознание, укрепляется Церковь». На протяжении всей книги автор последовательно доказывает, что Церковь до конца есть и должна быть «не от мира сего». Она не отвергает мира, но полезна миру только в этом своём отделении от него. И потому любая связанность с государством не усиливает, а умаляет её благодатную действенность. «Ибо только тогда Церковь до конца выполняет свою миссию преображения мира, когда столь же до конца ощущает себя и «царством не от мира сего», говорит прот. А. Шмеман.

После первой радости новой жизни в любви, «Церкви надлежало, — по выражению автора, — принять весь зной, всю пыль своего длинного, земного, человеческого пути». В трактовке дальнейших исторических событий в книге Шмемана мы то и дело встречаем, если не новое то обновленное понимание былых оценок. И видим мы, сколь часто «победа оборачивается поражением» и кажущееся поражение приносит неожиданные плоды Духа. Например, в четвертом веке, зависимость Церкви от власти порождает монашество. «В истории Церкви значение этого факта не меньшее, чем обращение Константина», говорит автор и затем раскрывает значение монашества, снова и снова возвращаясь к нему, почти в каждой главе. Строки, посвященные осмыслинию монашеского подвига, являются, быть может, наиболее значительными и светлыми во всей этой книге. «До сего дня монашество являет нам единственную в своём роде, на опыте проверенную, тысячами примеров подтвержденную, практическую «удачу» христианства», говорит прот. А. Шмеман.

Рамки журнальной рецензии не позволяют нам подробнее остановиться на борьбе автора с обычным для многих историков схематизированием. А потому ограничимся всего одной цитатой о судьбе Церкви при Юстиниане:

«Мы видим, например, монахов, бушующих на собраниях и площадях городов, «давящих» на Церковь всей своей массой. Из этого так легко сделать выводы о некультурности, фанатизме, нетерпимости: их и делают, не идя дальше, многие историки. Но вот достаточно только приоткрыть монашескую письменность этих веков, чтобы раскрылся мир «умного делания», такого удивительного «утончения» человеческого сознания, такой глубины прозрений, святости, такого всеобъемлющего и потрясающего замысла о последнем смысле нашей жизни! Да и самого Юстиниана можно ли «без остатка» уложить в его собственную схему?»

В последней части книги — о русском Православии — больше спорных утверждений. В показе «сильвестровской Руси», автор при-

бегает к авторитету профессора Федотова, цитируя его едва ли справедливую характеристику, в которой, между прочим, говорится: «Даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько докторатов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть для него нечто более важное, чем докторат. Обряд, периодическая повторяемость некоторых жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не даёт ей расплазаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта»... Но тут-то и следует вспомнить предостережение, сделанное самим же прот. А. Шмеманом (на стр. 334) о том, что нужно «уметь видеть и другое, менее заметное, но, может быть, более значительное в другой — неизмеряемой человеческими инструментами истории — истории духовной». Путь внезапного и окончательного прозрения всегда был свойственен русской душе. Осиянное исповедание разбойника на кресте или житие Марии Египетской были родственны не только религиозному сознанию русской интеллигенции, но и немудрствующему богомольцу из любой народной среды. А потому и в эпоху наибольшего окаменения сердец и, например, в купеческом укладе, в котором до самой революции сохранялись основные контуры «Домостроя», Православие никогда не было лишь обрядовым, но где-то и как-то просачивалось до самых глубин, разжигало жажду озарения, могло привести к решительному выбору между Богом и Мамоной. Люди эти уходили в монастыри не от житейских неудач, а достигнув наибольшего земного благополучия, вдруг обрывали своё корыстолюбие и шли каяться.

В целом «русская глава» написана с той же, характерной для автора, четкостью исторического анализа, но, возможно, с меньшим, нежели в других разделах, ощущением психологического воздуха. И еще несомненно, что именно к этой главе, с полным правом подошли бы слова прот. А. Шмемана, написанные им по поводу народных преданий Греции, Сербии и Болгарии: «Стало открываться и то, до какой степени глубоко вошло в народную душу что-то самое важное, самое неуловимое в Православии, но без чего всё остальное в нём теряет всякий смысл».

Книга прот. А. Шмемана уже вызвала ряд откликов, но большинство из них не идёт дальше обывательских рассуждений и «сведома или в неведении» ухитряется миновать все основные вопросы, поднятые автором. Быть может о них вовсе и не следовало бы упоминать, но грустно, что вместо оценки серьёзного труда, появляются рецензии, в лучшем случае утверждающие, что прот. А.

Шмеман — «стилист стреляющий метко», а в худшем — его попросту обвиняющие «в обнажении мнимой наготы Матери Церкви».

Стилистическая манера письма Прот. А. Шмемана целиком подчинена его четкой мысли. И единственный упрек можно сделать ему в том, что, рассказывая о былом, он часто использует формы будущего времени. Этот приём допустим в лекциях, но несомненно отяжеляет литературный язык. Но эти мелочи, конечно, не могут замутнить блестящей поверхности и глубокого содержания «вопросительных ответов» и «оценок без суда», которыми так богат этот добротный труд. И нельзя не согласиться с автором его, когда он говорит: «Мне думается, что раздумье над прошлым, оценка его по совести, безбоязненное приятие исторической правды сейчас особенно необходимы всем тем, для кого Церковь стоит в центре всех стремлений, всех надежд».

«Исторический путь Православия» написан «по совести». Книга эта является действительным и действенным раздумьем о земных путях Церкви и, в конечном результате, она призывает нас к самой Истине Церкви.

Глеб Глинка

О РОМАНЕ В. КАВЕРИНА «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

Жила-была в маленьком провинциальном городе десятилетняя девочка Таня, дочка бедной швеи. Нужда заставила ее поступить в трактир судомойкой. Как-то вечером, возвращаясь лютой зимой домой, она была сшиблена и тяжело ранена бешено промчавшимся извозчиком. Пришла в себя в чужом доме. Оказывается, седок в санях — гимназист Митя — пожалел ее, остро почувствовал свою вину, перевез Таню в свою небогатую интеллигентскую семью. Девочка медленно и с трудом выздоравливает; начинается ее дружба с митинским младшим братом, тоже гимназистом, Андреем, и знакомство с таинственным «дядей Павлом», стариком на костылях. В прошлом — практикующий врач, старик теперь живет у сестры, Львовой, матери гимназистов и пишет какой-то сложный, никому неинтересный «труд».

Девочка понравилась ему и он начал учить ее «предметам» и развивать. Она становится «своей» в этом доме и хотя после выздоровления снова живет с матерью-швеей, но сердцем раздвоилась, ей одинаково близки интересы и матери и Львовых.

Приходит февральская революция, затем октябрьский переворот; и жизнь Тани резко меняется... к лучшему. Она учится в трудовой школе, делается «активисткой», затем комсомолкой. Поступает в медицинский институт, усердно трудится, сетуя, что

школа дала ей слабые знания; ее готовы оставить при кафедре микробиологии, но она на три года едет в зерносовхоз практикующим врачом, приобретает опыт и в то же время продолжает там кустарно возиться с пробирками, в которых разводит культуру «зеленой плесени». Эта зеленая плесень — своеобразное завещание дяди Павла, умершего в начале революции и не успевшего завершить свое полу-фантастическое сочинение о предполагаемых чудесных целительных свойствах плесневых грибков.

Превратившись в начале 30-х годов снова в лабораторного исследователя, сотрудника солидного московского микробиологического института, доктор медицины Таня Власенкова борется с рутиной старых профессоров, одно имя которых подавляет. Получает она впоследствии и партийный билет. Проходят трудные, полные разнообразной деятельности годы, проносятся «пятилетки» со сложными политическими зигзагами и бурными событиями. И вдруг..., снова возвратившись к полу забытой зеленой плесени, Таня с самоотверженными сотрудниками нащупывает разгадку грибка «пенициллиум кrustозум», делая за месяц до начала войны 1941 г. первый клинический опыт с блестящим успехом...

Один из элементов замысла романа обнажен: пусть англичанин Флеминг в 1929 году лабораторно и открыл пенициллин, а американец Флорей довершил это открытие, с 1935 г. введя его в клиническую практику, но... пальму первенства следует отдать русским ученым, которые, мол, еще в 70-х годах прошлого века сделали первые шаги к этому открытию (статьи Полотебнова и Манасеина в «Военно-медицинском журнале» за 1871 г. и в «Медицинском Вестнике» за 1872 г., а также диссертация П. Г. Лебединского о зеленой плесени в 1877 г.).

Нет нужды отрицать прозорливость и усердие российской медицины, не раз обогащавшей мировую науку. Конечно, возможно, что опыты над «пенициллиум кrustозум» производились в СССР накануне войны: параллельные и независимые друг от друга открытия в технике и науке известны, но отсюда нет оснований делать вывод о «пенициллиновом приоритете» российских ученых. По крайней мере, медицинская литература СССР до 1941 года не публиковала работ по этому вопросу и клиническая практика не пользовалась фильтратами «зеленой плесени».

В данном случае — явно преувеличенное изображение российско-советских «достижений», это — общая линия советской пропаганды с конца 30-х годов, в особенности (в связи с событиями «второй отечественной войны»), в 1941-1945 гг. В этом отношении роман В. Каверина — лишь одно из звеньев этой пропаганды. Построенный (может быть, вынужденно), по тенденциоз-

ным рецептам советской официальной политики роман упоминает (не очень обильно) и Ленина и Сталина, говорит о значении общественной работы для каждого советского человека, в частности — врача, подчеркивает особенность «советской науки», ее сугубый утилитаризм, т. е. разработку лишь тех проблем, которые могут принести непосредственную помощь в практической жизни (хотя автор понимает законность изучения явлений, кажущихся в данный момент еще отвлеченными, но в дальнейшем могущих стать практически нужными). Мы встречаем в романе и злодеев; все они то явными, то очень скрытыми нитями связаны с анти-советским вредительством. Добротель же олицетворена в образах энтузиастов-партийцев, поддерживающих «генеральную линию». Автор стыдливо и кратко упоминает о борьбе с партийной оппозицией, нигде не выведя конкретного ее представителя и не дав ему слова.

Таня Власенкова часто обращается к советскому «правосудию» (паркком, прокуратура) и кажется, что она с легким сердцем готова запрятать любого «нэпмана» в тюрьму: она не в полной мере пролетарского происхождения, но революционно-классовое сознание у нее на «должной» высоте.

Казалось бы, «Открытая книга» еще одно произведение, лишь утверждающее советский режим. В таком случае, не поставить ли точку и не отложить ли этот роман в изрядную уже, к сожалению, кучу книг, написанных во славу Октября? — Но... в «Открытой книге» что-то задерживает внимание, «что-то» всё-таки выделяет ее и даже привлекает. Что?

В. Каверин принадлежит к культурной и одаренной группе советских писателей. У него незаурядная литературная техника, много знаний, хороший язык. Он умеет видеть людей, природу вещи. Умеет вести интригу романа (это уже сказалось в его давней пьесе «Укрощение мистера Робинзона» и в популярном романе «Два капитана»). Всё это налицо и в новом романе. Но особенно удачна в нем «психологическая живопись», в частности, изображение вечного, как мир, чувства любви. Понимаемая в начале революции (в кругах молодежи), как простое и грубоватое физиологическое состояние (стр. 31), любовь в дальнейшем предстает перед героями сложной душевной тайной. В романе много разных «любовей» (пользуюсь гончаровским множественным числом). У каждого она «своя», самобытная. Чаще — целомудренная.

В центре — длительное, непреодолимое взаимное притяжение Тани и Андрея, начавшееся с отроческой дружбы. Но на пути к их ладной семейной жизни много препятствий, при чем они не только внешние, но и внутренние, лежащие в их сложных харак-

терах. Вот эта игра характеров — самое ценное в книге. И создается впечатление, что в романе два плана, и хотя они органически переплетены, но доминирует для читателя тот, где действительно художественно раскрывается жизнь людей, просто людей, независимо от их партийности, — история чувств, история внутренней жизни. Есть хорошие страницы о материнстве, о до-черней любви и т. д.

Рисовать характеры В. Каверин умеет ловко, сжато. Форма, которую он избрал, — рассказ от первого лица (воспоминания Тани) — несколько мешает повествованию, хотя он мастерски пользуется письмами действующих лиц, показывая не только «Танину точку зрения». Погрешил автор тем, что, изображая Таню не умеющей складно писать, он в то же время награждает ее своим даром беллетриста.

Читая роман, чувствуешь, что В. Каверин кровно заинтересован именно в психологической жизни своих героев, политика же и тенденция — это то *обязательное*, без чего не может выйти в свет ни одно советское произведение.

Издание романа «Молодой Гвардии» свидетельствует, что «Открытая книга» предназначается для советской молодежи, которая, в самом деле, найдет в романе страницы, отмеченные подлинным искусством. Сумеет ли только молодежь отделить политику от искусства?

Читаешь «Открытую книгу» и радуешься, и досадуешь, и думаешь: эх, если бы В. Каверину дать свободно творчески вздохнуть!

Петр Ершов

НОВАЯ КНИГА О БАЛЕТЕ

Своеобразную картину представляла собой в XIX веке литература о балете. Правда, своеобразной картиной была литература и вообще о всяком искусстве: о живописи, музыке, даже о поэзии. В книгах, посвященных живописи, писалось больше не о живописи, а о сюжетах, на которые написаны картины, в книгах, посвященных музыке — о тех чувствах, которые вызывают они в слушателях и которые будто бы вдохновили музыканта, в книгах о поэзии разбирались подробно темы, которым посвящены стихотворения и которые будто бы и составляют содержание поэзии. Это — то, против чего больше ста лет тому назад так горячо протестовал Пушкин: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное?»

Для критиков XIX века в поэзии было главное не поэзия... А в

балете? Балетный критик рассказывал литературное содержание балета; в балете считались главными не танцы, не хореография, а либретто, и в афишах на первом месте ставилось имя либреттиста, а на последнем имя балетмейстера-хореографа, а иногда оно и вовсе опускалось. Так было в XIX веке, так в общем происходило и в начале XX века в России и в Западной Европе. Россия в этом отношении шла скорее впереди Западной Европы, чем сзади. Так или почти так пишутся и теперь рецензии и статьи о балете, несмотря на то, что еще в XVIII веке великий реформатор балета Новерр написал свои замечательнейшие «Письма о танце» и несмотря на то, что в XX веке появились такие писатели о танце, перевернувшие все вверх дном, как Волынский и Левинсон. Имя Волынского совершенно забыто после того, как он был отставлен советской властью от руководства танцевальной школой. Но его не забыл его ученик и продолжатель Андрей Левинсон, блестящий и оригинальный писатель, автор множества книг о танце, из которых две наиболее замечательны: общая книга «*Dance d'aujourd'hui*», насыщенная богатым содержанием энциклопедия современного танца, и книга о Сергее Лифаре «*Le Destin d'un danseur*». После Левинсона, в некоторых отношениях оставшегося непревзойденным (в особенности в стилистическом; он писал по-французски так, как доступно очень немногим французским художникам-стилистам) появился новый балетный писатель — Лифарь, заставивший заинтересоваться мыслями о танце.

К этим трем именам теперь надо прибавить еще имя Бориса Кохно, автора только что вышедшей на французском языке книги «Балет». Кохно дает не философию, а историю балета; ее и нужно было бы назвать «История Балета». Задача эрудита Кохно (эрудиция его действительно потрясающая) — воскрешение истории балета, и с этой задачей он так блестяще справился, что книга его должна быть настольной рядом с книгами упомянутых авторов, с которыми он имеет общее знание танца, знание, которое не позволяет признанному либертисту «Русского Балета» Дягилева отождествлять хореографию с балетным либретто. Кохно — трудолюбивая пчела; его громадный том на каждой странице свидетельствует о большом труде. Книга Кохно особенно ценна своей добросовестностью. Кохно стремится не к тому, чтобы поразить читателя оригинальностью и парадоксальностью, а к тому, чтобы нарисовать верную картину истории балета. Вторым достоинством книги Кохно я считаю многочисленные и прекрасно выбранные иллюстрации. Очень многие фотографии появились впервые в этой прекрасной и роскошно изданной книге (между прочим, очень жаль, что одно-

временно с сверхроскошным изданием издательство не выпустило и простого издания; высокая цена книги Кохно делает ее недоступной для многих, а между тем она должна быть у всякого, интересующегося балетом).

Мы еще будем говорить о многочисленных достоинствах книги Кохно (их так много, что трудно не пропустить некоторые при кратком обзоре ее), но укажем сперва на один существенный, с нашей точки зрения, недостаток: отсутствие полноты, вследствие... чрезмерной полноты. Кохно столь многое хочет охватить своим трудом, что некоторые важные отделы или скомканы или совсем обойдены. Например, говоря об относительно не таких уж значительных шведских балетах Рольфа де Маре, Б. Кохно пропускает гораздо более важный современный балет французской национальной Оперы. Кроме пропусков в книге Кохно много слишком беглых эскизов о важных явлениях истории; но то, о чем Кохно говорит подробно — дает совершенно ясное и верное представление своей абсолютно беспристрастной и добросовестной картиной; сам автор книги с его симпатиями и антипатиями нигде не виден. Прекрасно и широко нарисована картина французского балета в XVII и XVIII веках; недостаточно, может быть, изучен великий Новерр (вот тут, пожалуй, сказываются личные симпатии Кохно, чувствуется, что он недолюбливает великого реформатора). Характеристика романтического балета и истории Дягилевского балета, в котором Кохно сам жил и принимал близкое участие, должны считаться образцовыми и увлекают читателя. Но самыми блестящими страницами мы считаем страницы, посвященные трем богам танца, что и дает перспективу истории балета — Вестрису, Нижинскому и Лифарю.

В нашу задачу не входит подробный разбор книги Кохно: она так богата, так насыщена содержанием, что в небольшой заметке невозможно рассмотреть ее. Эта книга — одна из немногих, которая заслуживает безоговорочного признания и заслуживает того, чтобы занять место среди самых крупных хореографических, литературных произведений.

М. Л. Гофман

О Б «ОТТЕПЕЛИ» ЭРЕНБУРГА

Уже давно Илья Эренбург перестал быть литератором, принял роль коммунистического пропагандиста, при чем выказал в ней недюжинную энергию, дипломатическую ловкость и необычайный цинизм. Жизнь Эренбурга с мертвыми петлями его литературных полетов могла бы быть небезинтересной психологической темой. Кто б

подумал, что из поэта-декадента вырастет эдакий «столп и утверждение социализма в одной стране»? Тем не менее это произошло. Когда-то Эренбург писал:

«Иль может-быть в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придете вы ко мне в небрежном пенюаре,
Слегка усталая от сказок и духов.
Портъеру приподняв вы выйдете оттуда,
Уроните в дверях свой палевый платок
И обойдя кругом тяжелые сосуды,
Дадите мне вдохнуть неведомый цветок».

Теперь Эренбург пишет несколько иначе: «Писатель не должен больше довольствоваться ни гениальными предчувствиями, ни спорными догадками, перед ним научная теория марксизма-ленинизма блистательно себя оправдавшая».

За свою бурную и, в сущности, печальную жизнь Эренбург написал много книг, противоречивых по темам, стилю и авторским утверждениям. В русской литературе его книги вряд ли задержатся. В подавляющем большинстве это — злоба дня. За книгами Эренбурга нет автора, нет писательской личности. Его литература в этом смысле *безлична*. Она вся от вечной потребности внутреннего и внешнего подражания. Во времена декадентства Эренбург подражал многим, вплоть до Вертинского («Я плачу о весне, о маленькой гостинной — О бледных ирисах на бронзовых столах»). Когда он литературно повзрослел и его вкус улучшился, сублимировались и образцы подражания. При увлечении католичеством Эренбург подражал уже французскому поэту Франсису Жамму и писал стихи, посвященные Папе Иннокентию Шестому («У ваших светлых ног с глубокими поклонами — Я посвящаю вам, святейший Иннокентий»). Достигнув полной литературной зрелости Эренбург написал свою лучшую вещь, «Хулио Хуренито», при чем образцы подражания были взяты уже у Вольтера. Далее, в «Николае Курбове» и других вещах Эренбург писал под ритмическую прозу Андрея Белого. Естественную для Эренбурга литературную маску (если этим заняться) можно показать во всех его литературных странствиях. Когда в СССР ввели «единый творческий метод социалистического реализма» и тем уничтожили личный стиль писателя, Эренбург неожиданно стал писать вроде как... Крупская («Никогда злая тень войны не подкрадывалась так близко к освещенным окнам дома, где мать склонилась над своим первенцем»). Так многие десятилетия акробатствуя и жонглируя, Эренбург показывал большой класс своей литературно-цирковой работы, что давало ему возможность, украшаясь орденами, появляться в кремлевских залах, поставляя именно

тот товар, на какой был горячий спрос. Недаром же одно время Эренбурга даже прочили советским послом в Испанию. («Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?»). Учитывая все эти качества Эренбурга интересно разобраться в его последней повести.

Скажу сразу: «Оттепель», конечно, не художественное произведение. Это та же злободневная публицистика, облеченный в форму художественной прозы. Это социальный заказ, написанный в дни премьерства Маленкова, когда — и заграницей и внутри страны — было много шума о наступлении политической весны. И до чего ловко Эренбург вставил в повесть всё, что для пропаганды этой весны было нужно. Микоян грозил залить страну шампанским. У Эренбурга на вечере бедных интеллигентов, у отставного учителя Пухова, гости пьют не чай, а именно шампанское. Прославлялось «коллективное руководство». У Эренбурга и оно вставлено, при чем тактично названо (чтоб не бросалось в глаза) «коллегиальным руководством». Говорилось о поощрении ширпотреба. И это есть у Эренбурга. Сталин вышел тогда из моды, но Ленин всё-таки был необходим. Сталина в повести нет. Ленин же подан как надо, не один раз. Причем у тех, кто знает Эренбурга, некоторые из этих пассажей не могут не вызвать улыбки сострадания к автору «Оттепели». Восхваляя своего положительного героя, учителя Пухова, Эренбург пишет: «он рассказывал им о далеком прошлом, как началась революция, как он увидел на улице Ленина». Это, конечно, должно пониматься, как некое счастье лицезрения. В сознании бедных пионеров Ленину действительно отведено место небожителя, но задыхания Эренбурга комичны потому, что он-то его видел не «один раз на улице», а множество раз: и на улицах, и в парижских кафе, и на собраниях эмиграции. И не только видел, но в своем тогдашнем журнальчике «Тихое семейство» зло поносил этого Ленина, обзывая даже «старшим дворником». Но вот на старости лет Эренбургу приходится при упоминании о «старшем дворнике» восторженно задыхаться. Это не требует комментариев. Гораздо загадочнее другое. Восхваляя еще какого-то большевика Эренбург пишет: «он знал Ленина, работал с Иннокентием». Невольно возникает вопрос: кто же этот Иннокентий, поставленный рядом с Лениным? По большевистским святым Иннокентий, это — большевик Дубровинский. Чем знаменит? Особенно ничем. Но был «примиренцем» между большевиками и меньшевиками, заболел (в результате этого?) нервным расстройством и покончил самоубийством. В Москве никто ничего зря не напишет, тем более Эренбург. Но непонятно (а интересно), зачем ему понадобилась рядом с Лениным эта фигура?

Сразу после появления «Оттепели», в эмиграции некоторые пи-

сали о ней, как о доказательстве наступающей московской весны. Это было как раз то, для чего Эренбург писал повесть. Но нет ничего неправдоподобней, как представить себе Эренбурга в роли безрассудного романтика, пошедшего на штурм коммунистической Бастии. Гораздо правдоподобнее представить, что и эту повесть Эренбург писал не только с разрешения, но и по заданию. Правда, задача была деликатная: сыграть в либерализм, приподняв слегка «железный занавес». Эренбург это и сделал.

Как он построил «Оттепель»? Очень схематично. Конструкция напоминает «задачу о бассейнах» из Евтушевского. По одной трубе в бассейн вливается столько-то воды, по другой выливается столько-то, по третьей и т. д. При чем читатель видит, как Эренбург с своими трубами всё время балансирует, чтоб вода из бассейна окончательно не ушла.

Что Эренбургу было разрешено защищать? Судя по повести, тенденцию подлинного искусства, спасая его от халтуры. И человеческие чувства (в частности, любовь). Для первого Эренбург провел в бассейн две трубы. Одна — прекрасный, но выброшенный за борт советской жизни, голодящий художник Сабуров. Вторая — талантливый халтурщик художник Пухов, так определяющий свое отношение к искусству: — «Рафаэля теперь не приняли бы в Союз Художников». — «Халтурят все, ничего в этом нет исключительного, репа, пожалуй, нужнее искусства, но никто не пишет репу с большой буквы». — «Соколовский как-то заговорил с Пуховым об испанской живописи. Пухов усмехнулся: 'Я писал белых кур, а теперь изображаю жизнерадостную гражданку, которая держит в руке шоколадный набор, конечно, самый дорогой. Чрезвычайно важно, чтобы были переданы все сорта конфет. А вы хотите, чтоб я думал о Г'ойе'...» — «За идеи не платят, с идеями можно только свернуть себе шею. В книге полагается идеология. Есть — и хорошо. А идеи у сумасшедших». Кто знает Эренбурга, тот узнаёт, что Пухов выплел отчасти по собственному образу и подобию. Это, конечно (с некоторыми поправками) Эренбург-Пухов, что становится особенно ясным, когда вместе с пуховско-эрнбурговским цинизмом автор выпускает на палитру и свой старый неизжитый сантиментализм и несмотря ни на что свою подлинную любовь к настоящему искусству. Послушайте, как пишет о Пухове Эренбург: — «о Пухове спорят, пишут, восхищаются, но никто не знает, что у него внутри пусто, ничего за душой нет. Он поэтому и смеется над всеми. Если он повесится, не будет ничего удивительного». — «Меня в искусстве нет, это, к сожалению, факт. Или мне не дали ни на копейку таланта или дали на пятачок, а я его проиграл в первой подворотне...» — «Знаешь что (говорит Пухов Сабурову, увидев его прекрасные пейзажи)

— зависть поганое чувство, но я тебе завидую...» — «Под утро, подымаясь в гору по скользкой улице, подгоняемый злым ветром Пухов думал: Сабуров живет отвратительно... с этим еще можно при-мириться. Но никто ведь не знает его работ. Он сказал, что я первый художник, который к нему пришел. В Союзе его считают не-нормальным. В общем, это правда, нужно быть шизофреником, чтобы бы так работать, не уступить, делать то, что он чувствует... Да, это глупо звучит, но это факт, я *ему завидую*. Я могу вернуться в Москву, покорпеть, полебезить, мне устроят выставку, я получу пре-мию, повсюду будет: «о, Пухов!», «ах, Пухов!» и *всё-таки я буду завидовать этому шизофренику...* Но если я даже сойду с ума, я уже не напишу таких картин, как Сабуров, нет — и таланта мало, и раз-базарил всё... Вы этого хотели, Владимир Андреевич? Хотел. Зна-чит, мы в расчете...»

Мы подписываемся обеими руками подо всем, что пишет Эрен-бург в защиту искусства в СССР. Но почему голос автора тут ве-рен и внутренно искренен? Не потому ли, что старый сантименталь-ный циник Эренбург вдруг заговорил о себе? Это ведь он лебезит в Москве и получает премии и ордена с восклицаниями «о, Эрен-бург!», «ах, Эренбург!», но этот усталый акробат знает всему цену и завидует не таким же как он, разжиревшим, неренообразным «лау-реатам», а другим, тем кто *остался художником*: — шизофреникам. Кто они? Может быть повесившаяся Цветаева, поэзию которой Эренбург так любил? Может быть расстрелянный Бабель, вещи ко-торого Эренбург преувеличенно сравнивал с вещами Льва Толсто-го? А может быть оставшиеся в Париже, Алданов и Бунин? Приве-денные слова Пухова-Эренбурга об искусстве еще не самые жесто-кие. Жесточек сказано дальше, когда Пухов, после посещения Сабу-рова, возвращается домой. «Пухов подошел к окну: снег, ничего кроме снега... В комнате было тепло, но он почувствовал где-то внутри такой холод, что взял в передней пальто, накинул его на себя. *A согреться не мог*. (Курсив наш, но мы можем отдать его Эренбургу, он здесь у места). И этот образ внутреннего холода по-вторяется Эренбургом не раз: «Почему, когда мы встречаемся, мы часто сидим и молчим? Кажется, что наши сердца *промерзли на-сквозь*» (курсив наш).

У меня нет места подробно говорить, как в «Оттепели» Эрен-бург вступается за «право» человека на личные чувства и, в част-ности, на любовь. Для этого Эренбург дает четыре схемы любви: Коротеев и Лена, Савченко и Соня, Соколовский и Вера, Пухов и Танечка. И всё это, увы, несчастные, полуначавшиеся, несостояв-шиеся, надрывные романы. При чем причина несчастья всех четырех любовей одна и та же и показана она ясно, как дважды два четыре.

Оказывается, у нас на родине люди онемели, разучились говорить о своих естественных личных чувствах. Как только начнут — тут же срываются на слова о строительстве, о международном положении, о заводах, о школах, о хозяйственных неполадках, о чем угодно, но не о *своих* чувствах. Судя по «Оттепели» вся Россия больна каким-то всеобщим параличом личных чувств. И если об этом свидетельствует Эренбург — кому и карты в руки — этому можно верить.

В чем же корень несчастий? В «Оттепели» он налицо. Он показан в типе бюрократа-коммуниста из народа — Журавлева. Это — власть страны. Но Журавлев даже не робот, это властивущий пень. Но пень, на котором стоит строй. Эренбург атакует Журавлева со старой позиции Маяковского: атака на мещанство. Но когда Маяковский орал о мещанах, у него была опора даже в партийной среде. Теперь предпрятие Эренбурга полностью безнадежно, ибо никакого «немещанства» у власти нет, от Журавлева до Хрущева рукой подать. И Эренбург это явно чувствует, поэтому, живописуя Журавлева, он всячески заговаривает читателю зубы, оглядывается по сторонам, вздрагивает и даже одобрительно похлопывает Журавлева по плечу, но вдруг — вероятно, не выдержав — плюет ему прямо в физиономию. И надо сказать, что даже в казенной раме портрет Журавлева Эренбургу удался: «Журавлева нельзя называть негодяjem, он любит работать. Воевал, видно хорошо. Непонятно... Он не подлец, а какой-то недоделанный полуфабрикат человека» (курсив наш). Так мимоходом касается Эренбург большой и не только русской темы восстания полуфабрикатов на людей. И осторожненько продолжает: «Машину легко разобрать, заменить негодные части. А как быть с человеком? Год назад я бы сказал, что Журавлев полезный работник. Правда, я и тогда видел изнанку, но старался не задумываться. Человек он всё-таки нехороший, у меня сейчас такое ощущение, как будто я вылез из выгребной ямы... Нужны другие люди... Романтики нужны... Если в человеке есть благородство, он не сбьется, выйдет на большую дорогу. Но что делать с другими? Просвещать мало. Нужно воспитывать чувства... Но как воспитывать чувства? Наверное трудно. Вырастить виноград в Крыму не шутка... А нужно взять дичок молодого Журавлева и привить ему совесть: виноград в Якутии...»

Виноград в Якутии — это старый Эренбург времен Хулио Хуренито. Неважно что тут же Эренбург начинает изливаться о каких-то изумительных людях нашей страны. Слова сказаны, образ дан и он запомнится. Кого же Эренбург пытается противопоставить этому «винограду в Якутии»? Жизнь издевается над Эренбургом. В живописи ему, глашатаю абстрактного искусства, сейчас в Москве приходится отстаивать левитановские пейзажи. А в плане человеческо-

общественном, он в «Оттепели» неожиданно указывает на кого? На... старую интеллигенцию: на врача Веру Григорьевну, на инженера Соколовского и учителя Пухова. Кое-кому из них Эренбург сует в руки партийный билет. Но читатель прекрасно понимает суть дела. Она в том, что люди подобные старой интеллигенции не могут создаться в государстве Хрущева и Булганина, они только доживают там.

Тема о коммунистах Журавлевых, вероятно, настолько назрела в СССР, что даже Эренбург не боится сказать устами своих героев: «Надоели они людям, ох, как надоели!». Но раз надоели людям — то-есть, народу — то от них надо как-то освобождаться? Но как? Эренбург — на мой взгляд — разрешает эту задачу превосходно. Журавleva никто побороть не может: он хитер, ловок, скользок как угорь, беспощаден как волк, он сидит, правит и все кругом беспомощны. Что же делать? Эренбург указывает путь избавления. Как библейский Бог-Саваоф на филистимлян Эренбург насыщает на Журавлева стихийную силу: *бурю*. «Буря началась за час до рассвета и была необыкновенной силы... Журавлев вскочив, не мог со сна понять, что происходит, ему казалось *будто кто-то ломится в дверь* (курсив наш). Буря росла. Казалось, была в ней слепая страсть, гнев, отчаяние — валит деревья, швыряет по сторонам столбы, стропила, доски, срывает крыши, кружит злосчастных людей, будто не люди это, а щепки, подымает с земли сухой, едкий снег и с хохотом, с присвистом мечет его в глаза человеку. Потом люди говорили: «Ну, и буря... Никогда такого не было...» Как только Журавлев выбежал на улицу, он сразу понял — беда!»

Я не знаю, хотел этого Эренбург или нет, но эту бурю, опрокидывающую карьеру Журавлева, уничтожившую его власть и бросившую его в нети (буря разнесла хибарки рабочих, что явилось причиной гибели Журавлева), я совершенно естественно воспринимаю, как угрозу стихией народного возмущения, сметающего тех, кто «надоели людям, ох, как надоели!». Именно такая трактовка этой символической бури при чтении возникает сама собой и не только у меня. А у советского читателя, живущего «под Журавлевыми» она, вероятно, еще законнее и естественней. В выполнении деликатного заказа Эренбург явно просчитался. Недаром напала и нападает на него казенная критика. Но за Эренбурга волноваться нечего. Не повезло с повестью для Маленкова, он для Хрущева напишет иначе.

Роман Гуль

СПРАВКА О КНИГАХ М. ВОЛОШИНА

От одного из наших читателей мы получили следующую библиографическую справку об изданных книгах М. Волошина: 1) «Стихотворения». Изд. «Гриф». Москва. 1910, 2) «Анно Мунди Ардентис». Изд. «Зерна». Москва. 1916, 3) «Иверни». Избр. стихотворения. Изд. «Творчество», Москва. 1918, 4) «Демоны глухонемые». Изд. «Камена». Харьков. 1919, 5) «Верхарн. Судьба. Творчество». Переводы. Изд. «Творчество». Москва. 1919, 6) «Стихи». ГИЗ. Москва. 1922.

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 39 Н. Ж. в напечатанные стихи М. Волошина, к сожалению, в присланный текст вкрались опечатки. В стихотворении «На вокзале» на стр. 139, 15-я и 16-я строки сверху должны читаться: «Так спят они по вокзалам — Вагонам, платформам, залам». В стихотворении «Красногвардеец», стр. 140, 11-я строка сверху должна читаться: «Не видя буржуинным спорам» и 16-я строка сверху должна читаться «На ухо заломив картуз». РЕД.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

- А. А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. *Впечатления русского юриста в Америке.* Изд. Объед. Русск. Прис. Адвокатуры во Франции. Париж. 1954.
 Е. З. ДОЛИНИН (Моравский). *В вихре революции.* Изд. «Друг». Детройт. 1954.
 Н. ВОДНЕВСКИЙ. На рассвете. Стихи и рассказы. 1954.
 Полк. ЕЛИСЕЕВ. Ген. Э. А. Миствулов. Н. И. 1953.
История войск. гимна кубан. каз. войска и наш полк. Н. И. 1950.
 Б. Н. СЕРГЕЕВСКИЙ. *Прошлое русской земли.* Краткий историч. очерк. Изд. «Россика». Сан Франциско. 1954.
 Ю. ТРУБЕЦКОЙ. *Двойник.* Стихи. Изд. «Рифма». Париж. 1954.
 Проф. А. Д. БИЛИМОВИЧ. *Марксизм.* Изложение и критика. Сан Франциско. 1954.
 BOOKS BY RUSSIANS AND ON RUSSIA by N. Martianoff. N. Y. 1954.
 LE DIT DE LA CAMPAGNE D'IGOR. Traduction de E. D. Konovalov. Paris, 1954.
 SOVIET ECONOMIC POLICY ON POSTWAR GERMANY. Research Program on the USSR 1954.
 JAHRBUCHER FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS. Band 1. Heft 3. Munchen, 1953 (248-365).
 TAIS S. LINDSTROM. Tolstoy en France (1886-1910). Préface par J. M. Carré. Institut d'Etudes Slaves de l'Université de Paris. 1952.
 MILES L. COLEAN. Renewing our Cities. The Twentieth Century Fund. N. Y., 1953.
 THE ROGUE WITH EASE, a novel by M. K. Argus. Harper and Brothers. N. Y., 1953.
 THE MONGOLS AND RUSSIA by George Vernadsky. Yale University Press. 1953.

- JACQUES CROISE. *Sortie de Secours*. Roman. Libr. Plon. Paris. 1953.
- DINAMICS OF ART by A. P. Ushenko. With a forward by Stephen C. Pepper. Indiana University Press. Bloomington, Indiana. 1953.
- SOVIET THEATRES (1917-1941). A Collection of Articles by J. Hirniak, S. Orlovsky, G. Ramensky, B. Volkov and P. Yershov. Edited by M. Bradshaw. Research Program on the USSR. N. Y. 1954.
- BORIS NOLDE. *La formation de l'Empire Russe. Etudes, notes et documents*, v. II. Institut d'Etudes Slaves. Paris. 1953.
- JOSEF LOBODOWSKI. *Zlota Hramota. Inst. Literacki*. Pariz. 1954.
- UCRAINE IN FOREIGN COMMENTS AND DESCRIPTIONS from the VI to XX century by V. Sichynsky, N. Y. 1954.
- THE MOSKOW KREMLIN its History Architecture and Art Treasures by Arthur Voyce. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1954.

От Института по Изучению Истории и Культуры СССР

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА №№ 1, 3. Мюнхен. 1954.

БЮЛЛЕТЕНЬ ИНСТИТУТА №№ 3, 4-5. Мюнхен. 1954.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ИНСТИТУТА, сост. в Нью Иорке 20-22 марта 1953. Мюнхен. 1953.

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА №№ 4, 6, 7. Мюнхен. 1953.

СССР СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. Труды Конференции Института. Мюнхен. 1953.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ И СССР за 1919-1952 гг. Мюнхен. 1953.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР. Мюнхен. 1953.

К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в СССР. Сборн. статей. Мюнхен. 1953.

М. КОЛОСОВ. Коммунистическая партия и советская армия. Мюнхен. 1954.

Инж. К. А. КРЫЛОВ. Ход летних и осенних работ в СССР в 1953 г. Мюнхен. 1954.

От Издательства им. Чехова

ХОСЕ ОРТЕГА и ГАССЕТ. Восстание масс. Н. И. 1954.

БОРИС ШИРЯЕВ. Дань прошлому. Н. И. 1954.

ФРЕДЕРИК АЛЛЕН. Большие перемены. Н. И. 1954.

Д. МОРДОВЦЕВ. Железом и кровью. Н. И. 1954.

И. БУНИН. Петлистые уши. Н. И. 1954.

С. МАЛАХОВ. Беглецы и Отец. Пьесы. Н. И. 1954.

АЛЕКСАНДР ЭРТЕЛЬ. Смена. Роман. Н. И. 1954.

ВЛ. СОЛОВЬЕВ. Три разговора. Н. И. 1954.

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВ. Пути советского империализма. Н. И. 1954.

Прот. А. ШМЕМАН. Исторический путь православия. Н. И. 1954.

В. АЛЕКСЕЕВ. Россия солдатская. Н. И. 1954.

СТИВЕН КРЕЙН. Алый шеврон мужества. Н. И. 1954.

К. ПЕТРУС. Узники коммунизма. Н. И. 1953.

ДЖОН ГЮНТЕР. По Соединенным Штатам. Н. И. 1953.

ПРАВОСЛАВИЕ В ЖИЗНИ. Сборник статей под ред. С. Верховского. Н. И. 1954.

А. ТОЛСТАЯ. Отец. Т. I и II. Н. И. 1953.

С. ПУШКАРЕВ. Обзор русской истории. Н. И. 1953.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

*CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.*

предлагает следующие книги:

В долл.

<i>М. А. Алданов</i> — Ключ	404 стр.	3.00
<i>П. А. Бурышкин</i> — Москва купеческая	350 стр.	3.00
<i>Глеб Глинка</i> — На перевале	414 стр.	3.00
<i>Великий Князь Гавриил Константинович</i> — В Мраморном дворце	412 стр.	3.00
<i>Н. Н. Евреинов</i> — История русского театра (С древнейших времен до 1917 г.)	413 стр.	3.00
<i>В. П. Зилоти</i> — В доме Третьяковых	347 стр.	2.75
<i>Епископ Иоанн Сан-Францисский</i> (Шаховской) Время веры	410 стр.	3.00
<i>Сергей Маковский</i> — Портреты современников ..	413 стр.	3.00
<i>Владимир Набоков</i> — Другие берега	270 стр.	2.25
<i>Хосе Ортега и Гассет</i> — Восстание масс. Пере- вод с испанского	200 стр.	2.00
<i>Ю. Сазонова</i> — История древне-русской лите- туры. Том I.	411 стр.	3.00
Том II.	412 стр.	3.00
<i>Священник Александр Семенов-Тян-Шанский</i> — Отец Иоанн Кронштадтский	380 стр.	3.00
<i>Анри Труайя</i> — В горах. Перевод с французского.	163 стр.	2.00
<i>Алексей Хомяков</i> — Избранные сочинения, под редакцией проф. Н. Арсеньева	415 стр.	3.00
<i>Винстон С. Черчилль</i> — Сумерки войны. Вторая мировая война. Кн. 2. Перевод с англ.	312 стр.	2.75
<i>Винстон С. Черчилль</i> — Падение Франции. Вторая мировая война. Кн. 3. Перевод с англ.	350 стр.	2.75
<i>о. Георгий Шавельский</i> — Воспоминания послед- него протопресвитера русск. армии и флота Том I.	415 стр.	3.00
Том II.	413 стр.	3.00
<i>Борис Ширяев</i> — Неугасимая лампада	408 стр.	3.00

*Эти книги, как и многие другие самого разнообразного содер-
жания, можно получить в русских книжных магазинах*

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

КНИГА 38-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. П. Ершов — Нинель. В. Набоков — Другие берега. СТИХИ: Георгий Иванов — Дневник. Стихи А. Величковского, И. Одоевцевой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. Гофман — Клевета о Достоевском. В. Марков — Мысли о русском футуризме. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Неведомская — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой. Е. Брешковская — 1917-й год. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Тыркова — Ф. И. Родичев. Е. Кускова — Трагедия М. Горького. Б. Вышеславцев — Ответ моим критикам. М. Карпович — Комментарии. БИБЛИОГРАФИЯ: М. Карпович — Our Secret Allies: The Peoples of Russia by E. Lyons. Н. Тимашев — Soviet Law and Soviet Society by C. Guins. Роман Гуль — Н. Клюев. Полное собрание сочинений. М. Коряков — The Five Seasons by Karl Eska. В. Коварская — Russian Icons, Introduction by Ph. Schweinfurth. Ю. Мак Лейн — Soviet Russian Literature by G. Struve. Ю. Сазонова — М. Осоргин. Письма о незначительном.

КНИГА 39-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. Игорь Гузенко — Падение титана. Петр Ершов — Нинель. Алексей Ремизов — Тонь ночи. СТИХИ: Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, М. Толстой, И. Легкой, А. Величковского, Ю. Одарченко. С. Маковский — К стихотворениям М. Волошина. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов — Застигнутый исчезну. С. Тарасов — Возможный автор «Слова о полку Игореве». ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Л. Дадина — М. Волошин в Коктебеле. Е. Каннак — С. Ковалевская и М. Ковалевский. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Выдумки о ранней революционности Ленина. Д. Иванцов — Агрономы на производстве. М. Вишняк — О Вышинском. Б. Двинов — Пораженчество и власовцы. М. Карпович — Комментарии. БИБЛИОГРАФИЯ: М. Гофман — По поводу академического издания сочинений Пушкина. Петр Ершов — Б. Зайцев. Чехов. С. Юрсов — И. Одоевцева. Оставь надежду навсегда. Глеб Глинка — Еп. Иоанн Сан-Франциский. Время веры. Г. Забежинский — Л. Алексеева. Лесное солнце. А. Гольденвейзер — А. Марголин. Основы государственного устройства США. Г. Аронсон — Глеб Глинка. На перевале. Вера Коварская — J. Croisé. Sortie de secours. М. Карпович — Марк Вишняк. Дань прошлому. Мих. Коряков — А. Ренников. Минувшие дни.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1955-м году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня

